

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

Советский
писатель

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья и составление
А. Урбана

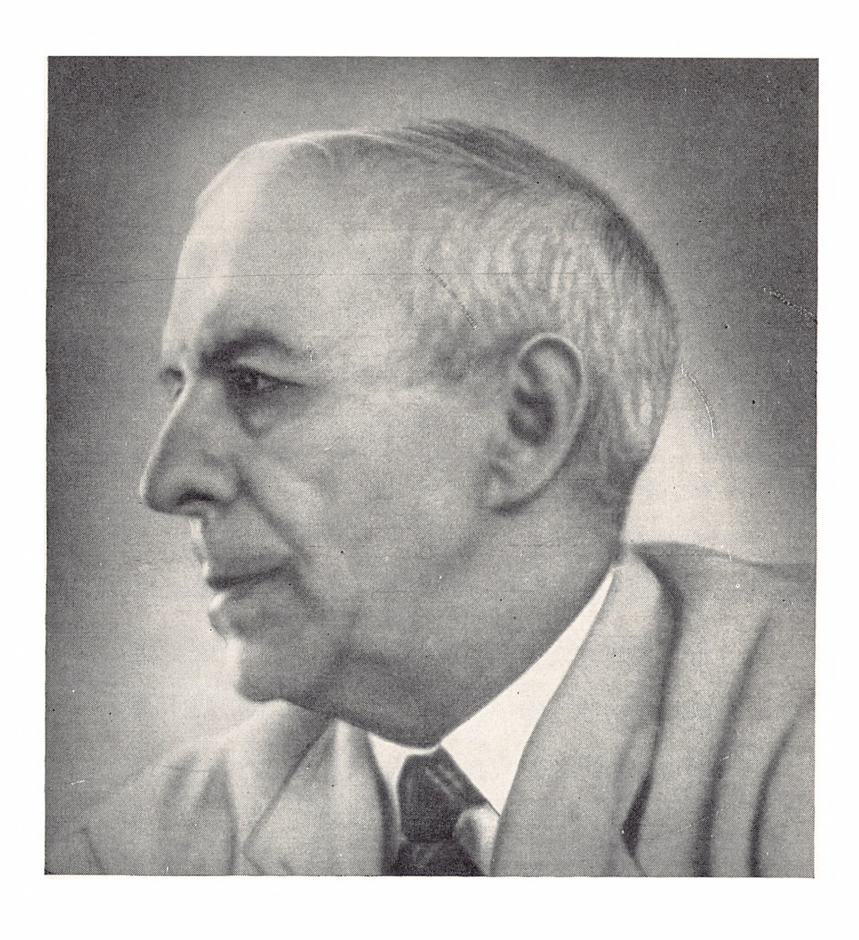
Подготовка текста и примечания
А. Урбана и Р. Вальбе

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1967

Р 2
А 90

Н. Н. Асеев (1889—1963) — известный советский поэт, автор прекрасных лирических стихотворений «Синие гусары», «Русская сказка», «Не за силу, не за качество. . .», поэм «Лирическое отступление», «Семен Проскаков», «Маяковский начинается» и др. В однотомник поэта включено лучшее из написанного им с 1910 по 1963 г. Это наиболее обширное издание избранных произведений Н. Н. Асеева, по которому можно подробно проследить весь его творческий путь.

7-4-2
377-67



ПОЭЗИЯ НИКОЛАЯ АСЕЕВА

Имя Николая Николаевича Асеева часто ставят рядом с именем Маяковского. В этом нет ничего необычного. «Маяковский был для меня человеческим чудом, чудом, которое, однако, осязаемо и зримо ежедневно... Со мной он был в каком-то нигде не закрепленном сговоре, в какой-то согласованности убеждений», [1] — вспоминал Асеев.

Они были соавторами, единомышленниками. Оба входили в «артель» Лефа. Память о Маяковском Асеев пронес через всю жизнь.

Маяковский и Асеев вправе были говорить и нередко говорили о себе — «мы». Широко известны слова: «Хватка у него моя», — сказанные Маяковским об Асееве. Их объединяло многое — от общих творческих принципов до личной дружбы.

Но до знакомства с Маяковским Асеев выпустил уже несколько книг. Революцию и гражданскую войну он встретил на Дальнем Востоке. Их дружба длилась около пятнадцати лет. Сотрудничество — не насчитывает и десяти. Творческий же путь Асеева не укладывается и в пятидесятилетие. Шло время, менялись задачи, изменялась сама поэзия. Асеев был живым голосом времени. По отношению к его творчеству стоит теперь важная задача — определить и оценить то асеевское, что принес он в поэзию.

1

Николай Николаевич Асеев родился во Льгове Курской области 27 июня 1889 года. Отец поэта был страховым агентом.

Провинциальный Курск, дом семьи, детство, портреты деда и

---

[1] Николай Асеев. Собр. соч. в пяти томах, т. 5, М., 1964, с. 670.

бабки нарисовал Асеев в цикле «Курские края», задуманном первоначально как повесть (в иных вариантах даже роман) о детстве.

С окончанием Курского реального училища в 1909 году начинается литературная биография Асеева. В 1911 году появляются первые его стихотворения в журнале Н. Г. Шебуева «Весна». Это было издание, не платившее гонораров, оно не имело определенного направления и постоянного круга авторов. В. Г. Лидин, тоже начинавший свой путь в журнале Шебуева, очень точно назвал его «Ноевым ковчегом».[1] Но тем не менее Асеев получил в нем первое крещение. Здесь завязались и первые литературные знакомства (Вл. Лидин, Н. Огнев, Ю. Анисимов). С этого времени Асеев начинает активно и много печататься в сборниках, в альманахах, в журнале «Проталинка». Он пишет стихи, баллады, рассказы, очерки, статьи и рецензии, пересказывает для детей скандинавские саги и финские руны.

Вскоре одна за другой выходят его книги: «Ночная флейта» (1914); «Зор» (1914); «Леторей» (1915); «Четвертая книга стихов» (1916); «Оксана» (1916).

Первые стихотворения Асеева еще очень несамостоятельны. Если точнее — провинциальны.

Протаяли дали лиловые,
И тонок вечерний ледок...
В окне, за оградкой садовою,
Хрустальный дрожит огонек.[2]

Это — начало стихотворения «Великий пост». Дальше есть и «уютная, тихая горница», и тень, томящаяся «загробной загадкою», и скорбь «о греховном былом». В другом стихотворении встречаются не однажды осмеянные коралловые уста.

Соответственно и образ поэта надуман и сентиментален:

Ветер веет плащом поэта,
У него на ресницах слезы;
А глаза озаряют ночь;
Он читает ли звездам Фета?
Или шепчет кому-то угрозы —
И, шатаясь, уходит прочь.[3]

Лирический герой молодого Асеева мечтателен, восторжен, очарован поэтическими банальностями. Это — кружение между Надсоном, Фофановым и Лохвицкой. Таких стихотворений у Асеева поря-

[1] Вл. Лидин, Друзья мои — книги, М., 1966, с. 187.
[2] «Весна», 1911, № 24, с. 8.
[3] «Лирика. Первый альманах», М., 1913, с. 19.

дочно: в журнале Шебуева, в альманахе «Лирика», в журнале «Проталинка». Они так и остались ученическими опытами, к большинству из них поэт никогда больше не возвращался.

Первая книга Асеева «Ночная флейта» (1914) была уже шагом вперед в том смысле, что в ней он избавился от провинциализма, от «желтых цветов» общеупотребительной поэтичности, от образа бледнолицего поэта, устремляющего глаза на звезды.

Асеев теперь учится в более высокой школе мастерства: ко времени выхода первой книги он познакомился с литераторами, организовавшимися в группу «Лирика», позднее переименованную в «Центрифугу», — С. Бобровым, Б. Пастернаком, В. Станевич, К. Локсом. Друзья свели его с мэтрами символизма — В. Брюсовым и Ф. Сологубом. В дружеском кругу молодых поэтов шли споры о судьбах поэзии. Эти споры расширили представления Асеева о современной литературе, оказали влияние на его творческие поиски.

Уже «Ночная флейта» давала повод С. П. Боброву в предисловии писать о кризисе символизма и противопоставлять символистским абстракциям стихи Асеева. 1910-е годы — время восхождения акмеизма, косвенное влияние которого легко ощущается в декларациях Боброва с его советами вернуться к «пушкинианцам», развить вещное содержание стиха («существенный максимальный метафоризм»). Книга Асеева, таким образом, невольно сопоставлена с работой входящей в моду литературной школы.

Но в самой «Ночной флейте» еще ощутимо влияние поэтики символизма. Таинственны «изломы размеренных улиц» и «черное небо зеркал», знакомы многие интонации.

Символистская окраска заметна в стихотворении «Закат онемелый трепещет...». Угасающий день — это израненный воин, мечущий стрелы. Его кровью залиты стекла окон. Могуче «дыхание темного лона над нами». Но это, пожалуй, предел. Стихотворения «Ночной флейты» лишены мистического содержания, этого единого духовного центра, философски объединяющего главные элементы поэтики символизма. Закат — «израненный воин» — для Асеева всего лишь красочная метафора.

Исследователи, всерьез выискивающие символистские мотивы в творчестве Асеева, ведущие его родословную «от символизма», преувеличивают их значение для поэта. Речь тут может идти скорее о литературной неопытности, чем о серьезном увлечении. Молодой поэт больше стремился отделить себя от старой школы, чем следовать ее заветам.

Он бросается в разные стороны. Опыты первой книги Асеева разноплановы.

В «Стихах с кардамоном» — обширная коллекция экзотической бутафории. Поэт «вспоминает» о неведомых ему «птицах-иероглифах, о тиграх с острова Явы»:

И вас, золотая Джерси,
и вас, чьи очи так сини,
чьи к небу подъятые перси
похожи на апельсины.

Стихотворение — под Н. С. Гумилева.

Рядом — стилизация романтической баллады. В «Башне королей» поэт сожалеет о рыцарских временах, о том, что «звонкий меч и латы сменила нищета».

В «Песне таракана Пимрома» — жеманная чувствительность XVIII века. Тут же она дисгармонически сменяется мотивами прозы Гофмана. В стихотворении «Старинное» — русская разбойная удаль: царь казнит детинушку за то, что он «против слова царского знался с сиротой». Но сирота и не думает покориться:

Не заплачу, не покаюсь, грозный царь,
схороню лихую петлю в алый ларь,
схороню под сердцем злобу да тоску...

В «Терцинах другу» — подчеркнутая архаика медитативной лирики:

Мы пьем скорбей и горести вино
и у небес не требуем иного...

«Зане», «поднесь», «оратаи и сеятели» уснащают это стихотворное послание Б. Л. Пастернаку. Здесь в самом деле есть нечто от высокой классики пушкинской поры, воспринятой, вероятно, через стилизации М. Кузмина.

Но архаика и стилизация тут же сменяются современным урбанизмом: «Бешено вздрогнув, за полночь кинется воющий автомобиль». Электрическая фантасмагория города — самый жизненный мотив первой книги Асеева. В нем звучит живая тревога, поэт испытывает неподдельное волнение.

«Увлекавшийся переводами Малларме, Верлена и Вьеле-Гриффена, благоговевший перед Теодором Амадеем Гофманом, восторженно носивший в сердце силу и выдержку горестной судьбы Оскара Уайльда...» [1] — это прежде всего Асеев времен «Ночной флейты».

---

[1] Николай Асеев, Собр. соч., т. 5, с. 122.

Он вглядывается в современные поэтические школы, завязывает литературные знакомства: отдельные стихотворения «Ночной флейты» посвящены С. П. Боброву, В. Я. Брюсову, Б. Л. Пастернаку, художнице Н. С. Гончаровой. Симпатии поэта еще не определились.[1] О будущем его можно только догадываться по отдельным строкам, неожиданным образам.

В фактуре асеевского стиха появляется свежая рифма (счеты — плечо ты; блистательны — миндалины) и то, что впоследствии Асеев назвал «ликом Госпожи Большой Метафоры» («в электрическом небе качался повернувшийся солнечный жернов»; «луны кровавый кратер зальет замолкших башен фронт»). Это — поэтические элементы, отличные от зыбких символистских ассоциаций. Их вещная конкретность отчасти сближает Асеева «Ночной флейты» с акмеизмом, но дальнейшее его развитие пошло совсем по другому пути.

Подлинной школой для Асеева была поэзия В. В. Хлебникова. Стихотворения, написанные вслед за «Ночной флейтой», проникнуты его влиянием. Хлебников — одно из сильнейших увлечений молодого поэта. «Я был покорен прежде всего его непохожестью ни на одного человека, до сих пор мне встречавшегося...»[2] — писал Асеев. Вечный скиталец, философ-бродяга, поэт, весь облик которого выражал неприятие мира сытых, его быта, эстетики, условностей:

Сегодня снова я пойду
Туда на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок! —

Хлебников уходил от ненавистного ему «рынка» к природе. «Гонимый — кем, почем я знаю? .. Бегу в леса, ущелья, пропасти, и там живу сквозь птичий гам». Природа для него полна высочайшей духовной глубины: «Ночь смотрится как Тютчев, замерное безмерным полня». Мир поэзии, ее словарь живут изначальной древней жизнью, включая в себя волшебство сказки, замысловатость загадки и поговорки, таинство заклинания и заговора.

---

[1] О литературных влияниях на творчество раннего Асеева писалось много. Е. Мустангова («Литературный критик», 1935, № 12) указывает имена Б. Л. Пастернака, В. В. Хлебникова, Н. С. Гумилева, Игоря Северянина; Инн. Оксенов («Звезда», 1925, № 6) называет В. Я. Брюсова, А. Белого, И. Ф. Анненского.

[2] Николай Асеев, Собр. соч., т. 5, с. 553.

Асеев воспринял у В. Хлебникова веру в безграничную власть поэта над словом. Он ищет теперь небывалые созвучия, интонации, рифмы, испытывает слово в самых разных контекстах, выявляя возможные фонетические и смысловые оттенки.

Ты в маске электрической
похаживаешь мимо,
а я — на Дон, на Дон, на Дон
зову тебя очима.

«Дон» — похоже на звон колокола и звучание славянского юса. Нежные славянские имена Цветляны, Роксаны, Наяна, Златко. Могущество языческого бога: «Перуне, Перуне, Перуне могучий, пусти наши стрелы за черные тучи». Удаль казачьей пляски: «Под копыта казака грянь, брань, гинь, вран. Киньтесь, брови, на закат, — Ян, Ян, Ян, Ян!» Мечта о долгой любви «до давьего дневьего дна». О чистоте и нежности любимой, которая «ничьею рукой не касанна, ничьих не касаема уст».

Асеев с юношеским упоением кличет свою ладу от мест, где «пустынным палом похоти перепалило роды», «на Дон свести на очи — очи». Это, кажется ему, — единственное до смерти счастье.

На теле на порубанном
похаживает ворон,
и страшно нам и любо нам
сходиться взор со взором.

Не ведаю ни ветра я,
ни холода, ни зноя.
Прими, другиня щедрая,
безмечного героя.

Итак, изощренность обновленного слова, зов к природе, к песенной отваге ушедшего от «электрических масок» города «безмечного героя». Но это только одна сторона дела, только начало. У героя ранней лирики Асеева возникает «потребность в свободе, в героическом поступке».[1] И вот перед нами «целая серия казачьих образов: сражающегося казака, веселящегося казака, пляшущего казака... Темы ранних стихотворений развертываются в плане ры-

---

[1] Всеволод Архангельский, Поэзия Н. Асеева. — «Печать и революция», 1929, № 12, с. 54.

царской героики».[1] Поэт открывает для себя мир преданий, древнерусской летописи, фольклора. И открывает с таким увлечением, с таким неистовством, что нельзя не почувствовать серьезности его пристрастий. Именно здесь начинается подлинный Асеев.

Много позже он вспоминал: «У кого мы учились? У кого учился, в частности, я? Прежде всего у пословиц и поговорок, у присловий и присказок, что бытуют в речи народной. Потом у книг, подобных «Мысли и языку» Потебни — великой книге о языке и его устройстве. Затем у летописей и старорусских сказаний, у «Жития» протопопа Аввакума. Еще — у «Слова о полку Игореве», прельщающего своей силой языкового размаха... А Кирша Данилов с его удивительными уроками языка, показом силы и необычности воздействия слова!»[2]

На первых порах не обошлось без экспериментальных излишеств. Стихи Асеева переполнены замысловатыми словообразованиями. Неологизмы, построенные на архаичном слове, слишком смутны. Но художественные достижения раннего Асеева стали органическим элементом его послереволюционной зрелой лирики.

Увлечение В. Хлебниковым — не кратковременный эпизод. Это имя для Асеева — второе после Маяковского. Оно встречается чуть ли не в каждой статье поэта, о нем — одна из центральных глав поэмы «Маяковский начинается», о Хлебникове — стихотворение «Сон», написанное в последние годы жизни. И. Л. Гринберг, встречавшийся с поэтом, рассказывает о неповторимом мастерстве, с каким Асеев читал стихотворения Хлебникова, о его умении делать этого «заумника» удивительно понятным.

В славянских мотивах Асеев впервые нашел себя как лирик. Но Хлебников помог увидеть не только природу, не только фольклор и русскую древность. Асеев усвоил у Хлебникова и многие приемы работы со словом: неологизмы, основанные на архаичном корне; смысловое сближение слов по звуковому подобию; характер построения метафоры.

Здесь уместно вспомнить и о тогдашней дружбе Асеева с Б. Л. Пастернаком. Асееву-лирику, без сомнения, во многом близок метафоризм поэзии Пастернака, сопряжение интимного образа с природой, с самыми неожиданными подробностями быта.

Стихотворение «Сорвавшийся с цепей» не случайно посвящено Пастернаку. Поезд, мчащийся, «мокроту черных верст отхаркав, полей приветствуем изменой», сон в купе и «недоузданная» осень за

---

[1] Там же.

[2] Николай Асеев, Собр. соч., т. 5, с. 390.

окном — образы, очень близкие поэтической системе Пастернака. Здесь Асеев как бы идет по путям его лирического чувства, в глубоко личную сферу включающего мирозданье.

Но это были только первые шаги.

2

Началась мировая война.

В 1915 году Асеева призвали в армию. Он попал на австрийский фронт. Идиллическое общение поэта с природой и древностью было прервано самым грубым образом. Цивилизация, от которой бежал его герой, настигала человека в любом месте, встречая пулеметами, пушками, танками, отравляющими газами. Реальный Дон принимал на свои берега не «безмечного героя» с его ладой, а солдат в серых шинелях. Сама жизнь диктовала новый поворот в поэтической судьбе Асеева. Однако идиллические устремления его были поколеблены еще до ухода на фронт встречей с В. В. Маяковским. Первый разговор с ним Асеев запомнил на всю жизнь: «Объяснив, кто я и что я тоже пишу и читаю стихи, что его стихи мне очень по сердцу, я был удивлен его вопросом не о том, как я пишу, а «про что» пишу. Я не нашелся, что ответить. То есть как про что? Про все самое важное. А что я считаю важным? Ну, природу, чувства, мир. Что же это — про птичек и зайчиков? Нет, не про зайчиков. А кого я люблю из поэтов? Я тогда увлекался Хлебниковым. Ну, вот и значит — про птичек. „Бросьте про птичек, пишите, как я!“» [1]

Асеев был ошеломлен этой беседой. Вероятно, и сам он чувствовал смутную тревогу. Бегство от цивилизации не удавалось. Жизнь приняла трагический оборот.

Наступает перелом. В душевное равновесие «безмечного героя» врывается «торжественный» мотив горя. «Разум разрублен!» — восклицает Асеев. Отрешенный от мира герой — «дремлюга», прячущийся от «шумей», — ощетинился, «мыслями стиснутый тесными».

Герой, который стремился забыться, уйти в прошлое, стал думать о современности. Человек, который предавался идиллическим чувствам, обращается к разуму. Он требует теперь, чтоб разум «откликнулся песнями». И первая песня — объявлена:

Я запретил бы «Продажу овса и сена»...
Ведь это пахнет убийством Отца и Сына?

---

[1] Николай Асеев, Собр. соч., т. 5, с. 652.

А если сердце к тревогам улиц пребудет глухо,
руби мне, грохот, руби мне глупое, глухое ухо!

Торговая вывеска ассоциируется с грабежом, продажа — с убийством. Мир для поэта изменил свой облик. Только недавно Асеев устремлял взор на «ясовки», «яблочный день», надеялся на «везичь везей впереди». Теперь он говорит про «страшную морду мира». Мрачными красками Асеев рисует страшное начало века. «Пьяное столетье» первый шаг свой сделало, шумя кровью; «в придорожной лужице купаются тихо трупы»; падают, «как черный козырь», разнесенные в щепу домики. «Ребенок утренней порой игрался с пролетавшей пулей» — символический образ войны.

Даже в счастливое чувство любви — один из сильнейших мотивов ранней лирики Асеева — вкрадывается тревога современного мира. Любимая — это уже не лада с древним красивым именем, и любовь — не беспечное гляденье в очи на синем Дону, не томительное неопределенное чувство.

Я знаю: все плечи смело
ложатся в волны, как в простыни,
а ваше лицо из мела
горит и сыплется звездами.

Вас море держит в ладони,
с горячего сняв песка,
и кажется, вот утонет
изгиб золотистого виска...

Передана красота полунагого тела, образные ассоциации полны интимности: море, как ладонь, волны, как простыни, закрывающие плечи. Но покой и счастливое чувство ненадежны. Интимное переживание неотделимо от общего состояния героя.

Ему кажется враждебной большая ладонь моря, эта чужая ласка. В чувство любви закрадывается смятение. Он больше не верит небу, которое в любой момент может отнять любимую. С небом он готов сражаться насмерть, бросить против него свой «лопнувший разум», свой гнев и ненависть безбожника:

И буду плевать без страха
в лицо им дары и таинства
за то, что твоя рубаха
одна на песке останется.

Так и в любви трагически звучит современная тема, она во всем — от чувственных ассоциаций до проклятий небу.

Еще недавно поэт мечтал остановить мгновение, застыть в созерцательной позе, в вечно длящемся любовном наслаждении. Но лавина жизни опрокидывала все вечное, на чем поэт надеялся упокоить взор. Он ощущает невероятную скорость времени, огромность пространств. Мгновение не стоит, а мчится, мир не млеет в сладкой истоме, а горит.

Дали, от которых немеет сердце, быстрота движения, так живо и точно увиденная («сжимались поля, убегая, словно осенью старые змеи»), — кажутся страшными и безжалостными. Как же бороться с «пролетающей быстрью»?

Асеев избирает не смирение, а бунт, слова, которые «стоят в рукопашной», защищая жизнь и любовь. Он избирает энергию собственного участия в жизни: «У подрисованных бровей, у пляской блещущего тела, на маем млеющей траве душа прожить не захотела».

В творческом восхождении Асеева — это важный шаг. Поэт открывает современную действительность. Тревога улиц и в самом деле отрубила «глупое, глухое ухо» мечтательного отрока. В человеке, который, «запевши свирелью», ник перед природой, открылся безбожник. Он ненавидит свой прежний облик. Он жаждет «божьи холеные уши рвануть огневою болью». Заново родившийся герой ощущает в себе дух мятежа, он — «разбойник», «из мочек рубины рвущий», враг «цивилизации», ханжеской религии, морали. Он слышит и чувствует страдания современного человека, голоса улицы, грохот мировой войны.

Открыв действительность, Асеев сразу же оказался в конфликте с нею. Он не принял ее. «Безмечный герой» становится теперь «разбойником». Но разбойник — уже последняя дань стилизации. Он противостоит современному миру. Это не очередная маска, а один из образов бунта, протеста, вызова. Но из поэтического кругозора Асеева не исчезает видение прекрасного мира природы. Жизнь, несмотря ни на какие бедствия, курится, «как свежий улей». Поэт осуждает войну, оскорбляющую не только достоинство человека, но и природу.

Пускай тоски, и слез, и сна
не отряхнешь в крови и чаде:
мне в ноги брякнулась весна
и молит песен о пощаде.

Представление о природе усложняется. Асеев отвергает слащавые, успокаивающие картинки. В природе он видит больше динамики. Ее силы проявляются резче, стремительнее, определеннее. Рядом со строкой, «прикушенной до крови», звучит исполненный глубокого лиризма, вольный мотив «Венгерской песни»:

Простоволосые ивы
бросили руки в ручьи.
Чайки кричали: «Чьи вы?»
Мы отвечали: «Ничьи!»

Здесь уже в сферу лирического восприятия природы включены общественные мотивы. «Ничьи!» и «мы ж не имеем родин» — это ответ на шовинистический угар мировой войны.

Сама природа предстает то злой и враждебной, как «ветер сквозной и зябкий, надувающий болью уши», то высокой и свободной:

Я пью здоровье стройных уст
страны мелькающих усмешек;
стакан весны высок и пуст,
его рукою сердца взвешу.

Психологический облик асеевского героя сложен. В его душе есть высокие стремления, но он брошен в жестокие и грозные события. Чистый мир истоптан, опошлен, испорчен, опоганен «глупым тявканьем пушек», «грязью призов и премий». Человек, созданный для прекрасной жизни, вынужден проклинать и ненавидеть его. Эти противоречия осознаются как безысходный трагизм современной жизни.

Таков был поэтический отзыв Асеева на действительность. Он шел где-то рядом с Маяковским, однако его не повторяя.

Асеев остро чувствует природу, Маяковский — поэт города. Лирика Асеева насыщена славянской мифологией, он ведет эксперимент над корнями древнего слова. Маяковский весь в новой словесной стихии, исключая, может быть, сатирически переосмысленные библейские мотивы.

Маяковский с самого начала стремится создать новый эпос. В поэзии молодого Асеева властвует лирическое начало.

Наконец, Маяковский безусловно с большей остротой чувствовал и осознавал социальные источники противоречий современности. Герой Маяковского поставлен в центре современного мира. Его голосом говорит улица, горестное, несчастное, оскорбленное человечество. Он берет на свои плечи все его страдания и слезы. Во многом герой раннего Маяковского — олицетворение абстрактной идеи.

Однако этот герой (эта идея) очень основательно соотнесен с современностью. Сытый, самодовольный, обожравшийся, продажный мир, город, зазывающий вывесками, религия, мещанская эстетика, мораль, быт — весь комплекс современной действительности разработан с большой конкретностью. В этом подробном и в то же время укрупненном ви́дении жизни скрыто уже присутствует социальная оценка ее, а в бунтарском начале — социальная активность героя.

Молодой Асеев с трудом еще только подходит к современности. В его бунтарстве много стилизации, оно не столь отчетливо, как у Маяковского, соотносится с жизнью. И отрицание и надежды Асеева в ту пору были неопределенны. Бунтарство поэта — это протест духа, сознание невозможности жить по-старому; оно стихийно, романтично в своей основе.

3

«Каждый из нас ощутил революцию как праздник»,[1] — писал Асеев, имея в виду Маяковского и себя. Позже он назовет революцию одним из своих литературных учителей.

Асеев твердо, как и Маяковский, выбирает путь вместе с революцией. «Приехав во Владивосток, я пошел в Совет рабочих и солдатских депутатов, где получил назначение помощника заведующего биржей труда».[2] Вскоре он становится сотрудником газеты «Дальневосточное обозрение» участвует в литературной группе «Творчество», объединяющей передовые силы (Н. Чужак, С. Третьяков, Д. Бурлюк, О. Петровская).

В литературу после Октября пришел новый герой. В поэзии он решительно заявил о себе в стихотворениях и поэмах Маяковского. Однако Асеев в это время с Маяковским не общался — он самостоятельно делает свой выбор. О недвусмысленности этого выбора свидетельствует сборник стихотворений «Бомба» (Владивосток, 1921), большая часть тиража которого была уничтожена при одной из очередных смен белогвардейских правительств.

Асеев рад крушению старого мира: «О мира минувшем хламе — не вспомним и не пожалеем». Он осознает это крушение как «правды праздник над праздностью богатых». Для поэта засияла «яркоголовая правда». Его герой почувствовал себя очень сильным: «не верю ни тленью, ни старости, ни воплю, ни стону, ни плену».

Один из исследователей Асеева писал об этой книге: «Поэт сам

---

[1] Николай Асеев, Собр. соч., т. 5, с. 672.
[2] Николай Асеев, Собр. соч., т. 1, с. 13.

бросил бомбу в свой же лирический студень». И дальше: «Она — под стать эпохе декретов и кожаных курток».[1] В стихотворениях Асеева впервые начинают звучать волевые, наступательные интонации. Его герой осознает в себе коллективное начало, которое дает ему могущество массы, ее бессмертие: «Ведь мы никогда не кончаемся, мы — воль напряженных блистанья!» Стих Асеева теперь насыщен лозунгами, звучными формулировками революционных манифестов, афоризмами. Голос поэта обретает ораторские интонации. Лирический бунт сменяется громкой декларацией, резким митинговым жестом: «Губам, губам барабан дай!» Над тонкими лирическими ассоциациями начинают преобладать яркие краски. Стихотворение «Кумач», например, построено на движении упругого ритма и кумачовых красок: избы, *красные* пирогами, *горящая* весна, *кумачовые* рубахи, *красные* губы, *красные* души и новые песни с *красных* строк. Это красочное зрелище — романтический пафос родившегося мира.

Но суть, разумеется, не в одних только красках. По-новому понимает теперь Асеев роль поэзии, он ставит ее наравне с общественным действием: «у самых сердец партизанят наши *песни* и наши *дела*».

Это был кардинальный принцип, характеризующий новую поэзию и нового ее героя.

Примечательно в этом плане стихотворение «Ответ». Оно написано по конкретному поводу. Владивосток времен гражданской войны находился «под наведенными на город дулами орудий»[2] интервентов. Асеев принимает вызов корабля, объявляет бой: «Поэт идет на вас войною!» Стихотворение оканчивается призывом:

Матрос! Ты житель всех широт! . .
Приказу ж: «Волю в море бросьте» —
Ответствуй: «С ней и за народ!» —
И — стань на капитанский мостик!

«Ответ» Асеев считал одним из первых своих лирических фельетонов, в которых лирическое чувство соединялось с конкретностью цели: «Вместе с ним появилось у меня и ощущение нужности и полезности работы, которую я делаю. Эти стихи начали цениться мною, как направленные против определенного врага за определенный свой мир ощущений и надежд».[3]

---

[1] И. Дукор, Поэтический путь Н. Асеева. — Николай Асеев, Собрание стихотворений в трех томах, т. 1, М.—Л., 1928, с. 15.
[2] Николай Асеев, Собр. соч., т. 5, с. 132.
[3] Николай Асеев, Работа над стихом, Л., 1929, с. 59.

Революция преобразила бунтарскую стихию поэзии Асеева. Старый мир предан огню. Огонь, ветер (метафоры, используемые поэтом) сокрушают прошлое. Но эти силы действуют с разумной целеустремленностью. Их работа переводится в космический план: «потухшие звезды — и те послов прислали на митинги», «идут походным маршем земле на помощь планеты». Асеев стремится теперь к социальной конкретности: «Везде сердца беднейших ударили тревогу». Он провозглашает «новое чудо», «румяного века живое сегодня», и нового героя, утверждающего себя в космическом масштабе. Этот герой — рабочий:

Грузчик, поднявший смерти куль,
взбежавший по неба дрожащему трапу,
стоит в ореоле порхающих пуль,
святым протянув заскорузлую лапу.

Среди многочисленных частных изменений в стиле «Бомбы» исследователи отмечают два главных: «Разнородные семантические узлы, игра в нескольких смысловых планах... начали уступать место единой семантической установке (если угодно — «теме», понимаемой достаточно широко)»... и, второе, «Асеев постепенно развертывает ту же систему «декламационных пауз», которую давно уже культивировал Маяковский».[1] Эти изменения были результатом новых идейных исканий Асеева, стремления приобщить поэзию к читателю.

Оторванный от Москвы и Петрограда, Асеев самостоятельно открывает новые принципы советской поэзии. Их подсказывала изменившаяся действительность. Позже, вспоминая о дальневосточной группе футуристов, он напишет: «Мы уже перекликались с Москвой».[2] В свою очередь в коллективной статье «За что борется Леф» (1923) отмечалось: «„Творчество", подвергавшееся всяческим гонениям, вынесло на себе всю борьбу за новую культуру в пределах ДВР и Сибири».[3]

В 1922 году Асеев возвращается в Москву. Маяковский в заметках «Я сам» отметил для себя его приезд как одно из крупных событий года.[4] Начинается их совместная работа. Вскоре выходят две

[1] И. Дукор, Поэтический путь Н. Асеева. — Николай Асеев, Собрание стихотворений в трех томах, т. 1, с. 16.

[2] Николай Асеев, Собр. соч., т. 5, с. 135.

[3] Владимир Маяковский, Полн. собр. соч., т. 12, М., 1959, с. 42.

[4] Владимир Маяковский, Полн. собр. соч., т. 1, М., 1955, с. 26.

новые книги Асеева: «Стальной соловей» (1922) и «Совет ветров» (1923).

В первом послереволюционном сборнике «Бомба» Асеев применил к своему герою планетарные, космические измерения. Он декларировал его революционные устремления. В молодой советской поэзии космические образы стали необходимым элементом творчества. Они обычны в самых разных поэтических системах, от Брюсова до Маяковского, от Хлебникова до Есенина. Особенно они были популярны в студиях Пролеткульта.

Но в такой трактовке человек нередко превращался в абстракцию. Новый герой оставался схемой. В книгах 1922—1923 годов Асеев расширяет его связи с действительностью, анализируя его отношение к индустрии и природе. Поэт постиг могущество человека, и благоговение перед природой у него сильно уменьшилось. Вот трагедия живого соловья, бессильного перед технической выдумкой человека:

Он думал: крылом — весь мир обовью,
весна ведь — куда ни кинешься. . .
Но велено было вдруг соловью
запеть о стальной махинище.

Напрасно он, звезды опутав, гремел
серебряными канатами, —
махина вставала — прямей и прямей
пред молкнущими пернатыми!

В сталелитейном цеху соловей выглядит архаично. А этот цех для Асеева теперь очень важен. Сталь как бы отражает в себе судьбу человека: «Ты о чем замолк, формовщик? Выбей годы в звон листа! За тебя теперь бормочет закипающая сталь». Асеев склонен передоверить голос человека заводу, слово поэта — заводскому гудку: «Если горло стало горном, день — расплавленным глотком, надо быть огнеупорным, мир тревожащим гудком». С такой песней лесному соловью уже не справиться. И Асеев изобретает стального.

Тогда, пополам распилив пилой,
вонзивши в недвижную форму лом,
увидели, кем был в середке живой,
свели его к точным формулам.

Увлекаясь, он готов пустить в переплавку всю живую природу: «Жестяной перезвон журавлей, сизый свист уносящихся уток — в раскаленный металл перелей».

Наконец, и сам поэт пытается говорить языком завода, языком работы.

Тень. Стан. Ремень,
устань греметь.
Пот — кап, кап с плеч,
к воде б прилечь.

Смугл — гол, блеск — бег,
дых, дых — тепл мех...

Слово, которое должно выразить энергию и мощь технических процессов, ломается от непосильной тяжести. В перечне машин, деталей, движений, физических ощущений рабочего не возникает поэтических связей.

Утилитаризм и практицизм еще до создания Лефа был задан в теориях Пролеткульта. Индустриальная психология пролетария, пафос разумности, целесообразности трудовых процессов, наивное преклонение перед машиной и цехом, попытка объяснить и упорядочить эмоции человека через его работу — характерные черты пролеткультовской эстетики. Один из ярких теоретиков и поэтов Пролеткульта А. Гастев привлек особое внимание Асеева. В стихотворении «Гастев» он с большой откровенностью пытается разобраться в конфликте между теоретически привлекательной индустриальной утопией и лирическим самоощущением. Гастев для него — «Овидий горняков, шахтеров, слесарей». Асеев готов ему поверить так, чтоб «не хотелось верить остальным». Но начинается стихотворение с признания: «Нынче утром певшее железо сердце мне изрезало в куски». Поэт почти готов расписаться в бессилии соединить новую свою веру и чувство:

Мы — мещане. Стоит ли стараться
из подвалов наших, из мансард
мукой бесконечных операций
нарезать эпоху на сердца?

Асеев старается не давать воли этому чувству, неровные удары сердца согласовать со строгим машинным ритмом.

Расправиться с пернатым соловьем оказалось не так просто. В стихотворении «Об обыкновенных», перемежая космические образы («ночи звездный рассыпанный шрифт набирает угрюмый наборщик») и техницизмы, звучит песня не стального, а настоящего

соловья и с такой лирической силой, которая бьет всякую заранее заготовленную схему.

Соловей! Россиньоль! Нахтигалль!
Выше, выше! О, выше! О, выше!
Улетай, догоняй, настигай
ту, которой душа твоя дышит!

Это в сборнике «Стальной соловей», рядом с программным стихотворением, дающим название книге!

Книги «Стальной соловей» и «Совет ветров», принципиальные по замыслу, оказались во многом переходными. Позже в одном из писем Асеев расскажет о причинах непомерного увлечения техникой: «Урбанизм был понятием близким к индустриальным мечтам о городах будущего, когда стальной соловей противопоставлялся деревенской, избяной Руси... России после разрухи нужны были машины, заводы, шахты. А вместо этого воспевалась избяная, кондовая, толстозадая бабища Россия».[1]

Все это так, но в эстетической трактовке темы Асеев не избежал схематизма. На время он поддался пролеткультовским декламациям, которые явно вступили в противоречие с его непосредственным ощущением жизни. Стальной соловей терял многие свойства живого, и его песня была не такой всеобщей, как хотелось поэту. О машине он пел, может быть, и неплохо, но живой человек, ее творец, терялся в огромных цехах среди ремней и шкивов, среди маховиков и колес.

4

В середине двадцатых годов Асеев сказал: «Я лирик по складу своей души, по самой строчечной сути». Эти слова были сразу подхвачены критикой, потому что подчеркивали наиболее сильную сторону его поэзии.

Между тем с 1923 года начинается активнейшая работа Асеева в Лефе. Общеизвестна лефовская теория факта, установка на утилитарную поэзию, на агитку. В. Маяковский, поэзия которого никогда целиком не укладывалась в лефовскую теорию, утверждал, что искусство «из вдохновения становится наукой»,[2] очень рьяно

---

[1] См.: Дм. Молдавский, Николай Асеев, М.—Л., 1965, с. 41—42.

[2] Владимир Маяковский, Полн. собр. соч., т. 13, М., 1961, с. 180.

отстаивал его агитационные качества, приверженность к конкретному факту («Наше оружие — пример, агитация и пропаганда»).[1] Общая схема Лефа точно сформулирована в одном из набросков Маяковского к выступлению: «Жизнестроение вместо жизнеописания. Перевод работы из искусства в жизнь».[2] Иными словами — искусство целиком служит моменту. Отсюда принципиальное неприятие вечных тем, недоверие к общечеловеческим качествам искусства.

Асеев не случайно вошел в Леф. Н. Ф. Чужак, один из ортодоксальных его теоретиков, был хорошим знакомым Асеева еще по Владивостоку, по группе «Творчество». Главные идеи Лефа, может быть не в таких четких формулировках, не с такими крайностями, легко было найти в манифестах многих левых групп. Под стихийным влиянием этих идей находился и Асеев, пытавшийся реализовать их в своей поэзии.

В двадцатые годы он пишет немало агитационных газетных стихотворений, фельетонов, памфлетов. Они приурочены к событию, к случаю, к дате. Много стихотворений, посвященных праздникам — годовщинам революции, Международному женскому дню, Первому мая.

Асеев ведет «диспут с колокольнями», радуется тому, как «подрастает малолетний дом», как строятся города. Поэт берется пропагандировать стихом все, что служит пользе человека в быту, на работе, в обществе. Он пишет прощальные речи и иронические некрологи старой Москве с горланящими на улицах петухами, грязью мостовых, унылым колокольным звоном, духовными охотнорядцами.

Революционная политика молодого государства стала для Асеева лирической, личной темой. Но для художественного воплощения этой темы важен был выбор факта, повода, события. Удачи поджидали Асеева именно тогда, когда он обращался к значительным фактам, когда сатирическое, эпическое, агитационное задание обретало плоть. Лирическая же напряженность, взволнованное авторское отношение выводило стихотворение за пределы его конкретного назначения.

Вот начало стихотворения «Время лучших», посвященного памяти Ф. Э. Дзержинского:

Время, время,
    не твое ли зверство
не дает
    ни сил,
        ни дней сберечь?

---

[1] Владимир Маяковский, Полн. собр. соч., т. 13, М., 1961, с. 220.

[2] Там же, с. 182.

Умираем
от разрыва сердца,
чуть прервав,
едва закончив речь...

«Едва закончив речь», умер Дзержинский. Эта драматическая ситуация — незаконченное дело, прерванная работа — стала лирической темой стихотворения. Оно приобрело обобщающий смысл.

Умираем
не от слезной муки,
не от давней
раны пулевой, —
умираем,
напрягая руки,
над огромной
ширью полевой.

Мысль стихотворения широка: речь идет о «времени лучших», о том, что только они способны напрягать сердца «под своей и общею судьбой», уходить в землю не прахом, а порохом.

Так факт (смерть Дзержинского) дает опору лирической теме, трансформируется в обобщенное лирико-философское размышление.

Асеев выработал свою манеру обращения с фактом и в лучших вещах преодолевал узость лефовской схемы. Иным ораторским стихам Асеева не хватало конкретности. Они риторичны, назидательны, перенасыщены призывами и лозунгами. Их лиризм — абстрактный, восклицательный. Но следует ли это относить только на счет Лефа? Темы эти были новы, к ним обращалась почти вся молодая советская поэзия. И даже опытные поэты, например Брюсов, не всегда умели решить их успешно.

Позже Асеев со свойственной ему резкостью начисто отвергнет ограниченные, утилитарные цели поэзии: «Когда я стал понимать, что нельзя запрягать поэзию только лишь в утилитарную телегу необходимости, тогда я написал свое первое стоящее стихотворение. До тех пор я пытался воспроизводить чьи-то чужие опыты создания стихов. Ведь личные или общественные побудители к писанию стихов могут оказаться недостаточными для создания поэтического творчества. Они являются лишь толчком к поэтической деятельности».[1] Асеев тем самым не освобождает поэзию от гражданствен-

---

[1] Николай Асеев, Собр. соч., т. 5, с. 428.

ности. Он подчеркивает: «Настоящая поэзия начинается только там, где есть непредвзятая тенденция».[1] Однако все это обдумано позже. В двадцатые годы вопрос не был еще решен для Асеева окончательно.

Ортодоксальным лефовцем даже в теории Асеев не стал. В Лефе сотрудничали такие писатели, как И. Э. Бабель, Б. Л. Пастернак, творчество которых абсолютно не отвечало лефовским теориям. Пастернака высоко ценил Маяковский. Асеева объединяло с ним еще участие в товариществе «Лирика». В двадцатые годы он активно защищал Пастернака от рапповской критики, стремился сблизить его творчество с лефовскими принципами: «Словарь Пастернака? Это инвентарь огромной деловой конторы, где и лес, и лен, и сады, и снег — грудами, кипами плотно упакованы и зарегистрированы для учета к отправке в далекое путешествие нового миросозерцания».[2] Но поскольку этот «учет» (очень, разумеется, относительный) имеет метафорический характер, касается главным образом языка, а не цели поэзии, уже в двадцатые годы Асеев вынужден согласиться и на другое: «Нужно и должно признать необходимость и закономерность существования наряду с «читаемой» литературой — литературы «изучаемой», не служащей непосредственно для практических целей широкого, немедленного потребления».[3]

И у самого Асеева уже тогда над утилитарно-информационным заданием преобладало поэтическое ощущение молодости, радости бытия, творчества, жизни. В работе поэта нетрудно разглядеть заботы нового героя, его общественную активность. Личность этого героя еще полнее и сложнее предстает в собственно лирических стихотворениях Асеева. Именно в середине и конце двадцатых годов написаны такие вещи, как «Реквием», «Синие гусары», «Русская сказка», «Бык», «Не за силу, не за качество. . .», «Марш Буденного», «Предгрозье», «Чужая», в которых многосторонне проявляется человеческий характер. В этих стихах поэт вполне отдается своему чувству. Не связан теоретическими ограничениями. Не подчинен внешним влияниям, напротив, сам склонен предъявлять жизни и людям большие требования, подчеркивать самостоятельность решений своего героя, мерить его поступки большой мерой. В «Русской сказке» — беспокойной жизнью страны:

Знать, недаром на свете живу я,
если слезы умею плавить,

---

[1] Николай Асеев, Собр. соч., т. 5, с. 429.
[2] Николай Асеев, Дневник поэта, Л., 1929, с. 143.
[3] Там же, с. 141.

если песню сторожевую
я умею вехой поставить.

В стихотворении «Не за силу, не за качество...» — большой, на всю жизнь единственной любовью. В балладе «Бык», развивая сцену корриды как обобщающую метафору сражения, борьбы, решительного поступка, — «Ведь так и жил, и шел, и падал Пушкин», — Асеев утверждает необходимость смелых и активных действий:

Ведь радостнее
всех людских профессий, —
сменясь в лице,
судьбу чужую
взвесив на эфесе,
ударить в цель!

Пересматривает он и свое отношение к техницизму. Асеев пишет «Сухой доклад о жажде светлых речных прохлад», на самом деле — это страстное признание природы, ее оздоровляющей и облагораживающей силы. Теперь он обращается к весне: «Навек, навек сосватай, соедини с березою и мятой стальные дни!»

Однако было бы ошибкой констатировать только возвращение к этой теме, ее полемическую защиту от узко понятого урбанизма. Тема «природа и человек» трактуется по-новому.

Асеевское ощущение природы своеобразно. Она воспринимается теперь как фон для лыжных походов, эстафет спартакиад, лодочных гонок, плаванья, игр и состязаний. Природа способна прогнать усталость, восстановить силы.

Тема природы давала выход асеевскому лиризму. В подчеркивании полезности природы была известная уступка лефовским теориям. Но лучшие стихотворения («Мое солнце», «Свет мой», «За синие дни») лишены какой бы то ни было назидательности. В иных случаях Асеев даже декларирует нечто противоположное лефовским схемам. «Если все была бы только выгода, — где тогда искать бы сердцу выхода?»

Природа у Асеева двадцатых годов яркая, буйствующая, свежая — ранняя весна и раннее утро, ослепительное солнце и снег, свет, «оранжевый на склоне дня», «весенний пенный, льюнный ручей». Природу видит поэт глазами нового героя, она как бы становится своеобразным его бытом, лишенным мелочных интересов, приверженности к вещам, комнатной замкнутости.

В поисках веселого мелькания света, цвета, красок Асеев нередко обращается к песенным, частушечным, плясовым ритмам.

Весь этот сверкающий поток красок и ритмов становится фоном, на котором протекает рационально организованная и энергичная жизнь нового героя. Его характеристика в поэзии Асеева второй половины двадцатых годов заметно конкретизируется. Это не абстрактная космическая фигура рабочего, а человек определенного нравственного склада, активный жизнестроитель, человек практического действия и в то же время — романтик, отринувший кабалу быта, собственничества, индивидуализма. Человек физически и нравственно здоровый.

Работая в «артели» Лефа рядом с Маяковским, Асеев остается Асеевым. «Стало общим местом говорить о Маяковском и Асееве слитно, синхронно. Асеев превратился как бы в прилагательное к Маяковскому...

Верно, у Маяковского и Асеева программа была общая, но решали они ее по-разному. У Маяковского преобладал тон, у Асеева — полутон. Маяковский — на резком ораторском жесте, Асеев — на песенном движении слова. Маяковский — на размашистой поступи, Асеев — на ритмичном, размеренном шаге. Отказавшийся от пристального взгляда на природу, Маяковский... как бы передоверил Асееву пейзаж, песню, раздумье. У Асеева свой особый путь. Когда оба поэта были живы, все подчеркивали черты их общности. С годами мы будем все более и более подчеркивать черты их различия, более того — удивительной несхожести».[1] Особенно отчетливо проявилась эта несхожесть в поэтическом стиле Асеева.

* * *

Для творчества советских поэтов характерно единение лирического и эпического начал.

Это общее утверждение относится и к Асееву.

Но для Асеева единение лирики и эпоса очень конкретно выражается в особом поэтическом жанре. Он называет этот жанр «лирическим фельетоном». Лирический фельетон отличается от агитки и от фельетона как такового. Для него не обязательно быть непосредственным, оперативным откликом на событие. Его тема из тех, которые поэт «сам подметил, которые сам выделил из окружающей действительности».[2] Этим субъективным качеством он приближается к лирическому стихотворению. В то же время главное в нем: сосре-

---

[1] Лев Озеров, Асеев начинается. — «Литературная газета», 1966, 28 мая.

[2] Николай Асеев, Работа над стихом, Л., 1929, с. 53.

доточенность на заданной теме, взятой из внешней действительности, — явный элемент эпоса. Четкость восприятия, определенность оценочного момента, о которых говорит Асеев, наиболее характерны для публицистики, для сатиры.

Лирический фельетон не является, конечно, жанром в точном смысле слова. Но название это выразительно. И он, по замыслу, достаточно конкретно объединяет в себе и лирику, и сатиру, и эпос.

Лирический фельетон рассчитан прежде всего на чтение с газетного листа. Он должен собрать общественную аудиторию и получить немедленный отзыв, потому что касается волнующих проблем и событий.

В то же время нередко идет речь в нем о вещах известных, обыденных. Лирический фельетон должен заново привлечь к ним внимание. Тут-то и вступают в действие внутренние возможности поэзии.

У Асеева множество средств заинтересовать читателя.

Будет ли прочтено стихотворение, часто зависит уже от первой строчки. Она у Асеева или сугубо деловая, сообщающая факт: «Утром — еле глаза протрут — люди плечи впрягают в труд».

Или задиристая: «По тротуарам народ спешащий — не народ, а зверь, убежавший из чащи».

Или метафорически необычная: «Тускнеет непрочный культуры лоск на отполированной лысине века»; даже каламбурная: «В Москве множество глухонемых; хорошо, что немы они, а не мы».

Иногда начало — ораторское, патетичное: «Об этом — не песням, а пулям петь»...

Каждый такой зачин бросается в глаза как яркое цветовое пятно, содержит в себе вопрос, на который должен последовать ответ.

Развертывая стихотворение, Асеев стремится поддержать возникший интерес.

Речь должна быть выразительной, необычной, но естественной. Вступают в силу интонация и рифма — два элемента поэтического стиля, очень тесно связанных друг с другом. Стих Асеева при всем своем звуковом богатстве (щедрости аллитераций, каламбурных созвучий, анафор, глубокой рифмы) имеет четкие смысловые интонации, потому что главные по значению слова выделены всевозможными средствами — ломкой классического метра, переносом в новую строку незаконченной фразы и естественными при этом паузами, разбивкой стиха в «лесенку».

Эти две тенденции поэтики Асеева — подчеркнутость главного по смыслу слова и песенность строфы в целом — отметил в свое время еще Ю. Н. Тынянов: «Его баллада, в отличие от тихоновской,

построена не на точном слове, не на прозаически-стремительном сюжете, а на слове *выделенном* (как бы и в самом деле выделенном из стиха). Это слово у него сохранило родство с песней, из которой выделилось (сначала как припев), поэтому у Асеева очень сильна в балладе *строфа* с мелодическим ходом».[1] Такая контрастность стилевых элементов своеобразно отражает противоборство и единение лирического и эпического начал в поэзии Асеева.

Все это придает стиху естественное движение обыкновенной речи, в которой не должно быть места убаюкивающе однообразному синтаксическому и мелодическому повтору, но не лишает его поэтичности, лирической напряженности.

Проблемность, деловое содержание стиха подчеркивается современной политической лексикой: «довод», «балласт», «победоносный класс», «посредники», «продукт», «электрификация». Щедрое изобретение неологизмов как бы указывает на лирические и оценочные моменты: «циркулярствуй», «синемолнийной», «ноты басовьи», «разможены», «мещаньи оковы».

Глубоко проникающая внутрь строки, богатая и разнообразная по звучанию рифма дает опору стремительному движению стиха. На изломе строки она становится главным словом и по смыслу и по своей формообразующей роли. Асеев — один из творцов новой рифмы, теперь уже общепризнанной и общеупотребительной.

Ее создатели раньше всего резко ограничили употребление износившихся созвучий, влекущих за собой и определенные синтаксические штампы. Рифмующиеся созвучия передвинулись с грамматического окончания в глубь слова. Вместо совпадения суффиксов и окончаний, играющих формальную словообразовательную роль, стали совпадать значащие части слова (корни), объединяясь в сознании читателя своими смысловыми элементами. Это расширило смысловые ассоциации стиха. Рифма «из плоской стала объемной, она стала ве́сить, а не висе́ть на конце строки».[2]

Передвижение рифмы вглубь, не ограничиваясь отдельными словами, часто захватывает целые строки, при поддержке аллитераций и других элементов инструментовки образует единую музыкальную систему при ударном значении рифмы. Рифма становится центром строки, с рифмы часто начинается художественный поиск. Редкая рифма, особенно в начале стихотворения, способна привлечь внимание читателя не меньше, чем яркая метафора, необычный образ.

---

[1] Юрий Тынянов, Архаисты и новаторы, Л., 1929, с. 578.
[2] Николай Асеев, Дневник поэта, с. 114.

В окно
глядятся листики...
Пейзаж —
как в беллетристике.

Дальше идут рифмы: видимо — выдуман; прочно — построчно; знойный вид — норовит; урбанист — рванись; душит — туши; барахла — прохлад... Рифмы как бы движут лирико-сатирическую тему.

Постой!
Хоть ты и урбанист,
но если —
город душит,
напрягши мускулы,
рванись
из-под бетонной
туши.

В новой рифмовке есть еще одна возможность: она зачастую объединяет в один образ очень далеко друг от друга отстоящие понятия, закрепляя их совместное бытие.

В небе
ночи еще синева,
еще темен
туч сеновал...

Темные плотные тучи, как пласты сена, мрак ночной синевы, как темень и духота на сеновале. Рифма подчеркивает отличную метафору, делает ее главной в строке.

В сатирическом стихе связь отдаленных понятий придает ошеломляющую неожиданность течению мысли:

и, под давнишнее
критики ржание,
без формы
не чувствую содержания.

Каприз странной рифмы дает яркое противопоставление, например: поколение с соской — «Маяковский». Сразу ясна враждебность, несовместимость недужного поколения и поэта-трибуна.

Игра аллитераций, броский авторский жест, уникальность рифмы дают силу лирическому фельетону, порой не содержащему особых сведений по сравнению с газетным сообщением.

Стихотворение «Сакко и Ванцетти» начинается с афористического эмоционального вывода: «Об этом — не песням, а пулям петь». Оценка события не приберегается к концу. Она объявлена в первой же строчке. Дальше рассказано о трагической судьбе Ванцетти и Сакко. Факты — общеизвестные. Но в потоке повествования снова и снова всплывает первая строчка. Первоначальная оценка поддерживается и углубляется всей образной системой стихотворения: «песок под ногами, как зуб, скрипит», «пусть станет Гудзон рекой баррикад!». Агитационная цель стиха достигнута — информационному газетному факту дана поэтическая эмоциональная окраска.

Одну из лучших своих вещей — «Синие гусары» — Асеев считал «лирическим фельетоном». Стихотворение написано к столетию восстания декабристов. Эта внешняя заданность темы не сковала лирического чувства. Стихотворение развивается стремительно, полно блеска, звуков, движения, красок: в первой части свист острого полоза, «голоса и смех», во второй — топот копыт, дальше — звон пенящихся бокалов, «высокая речь» гусар, строфы «Цыган» и глухой звук гитары — предчувствие трагической развязки.

Поэтическая мысль погружена в богатейшую музыкальную и живописную атмосферу. Возникают ассоциации, которые заставляют творчески работать воображение.

Первая часть — морозный, оснеженный Петербург. Фонтанка. Веселые голоса и хохот. Но «*раненым* медведем мороз дерет», «полоз *остер — полосатит* снег». Маршевый ритм, нагнетание свистящих звуков, которые создают представление о скрежете и свисте полоза. Сквозь смех и веселый топот копыт пробивается тревога. Музыкальное движение стиха не убаюкивающе мелодично, а продирается через сопротивление свистящих и шипящих звуков. В упругом ритме игра света, голоса́, движение сразу теряют случайный эффект. Это не пейзажное оформление темы, не внешний фон событий, а движущийся кадр трагической хроники, где все важно и значимо. В пяти частях пять решительных поворотов судьбы гусар: в первой — борьба с сомнением, во второй — решимость, в третьей — тайный союз, в четвертой — переход от слов к делу и гибель — в пятой. Драма разыгрывается бурно и решительно.

В стихотворении все ярко, романтично, возвышенно. Может показаться, что кони, звон бокалов, гитары — этот набор романсовых атрибутов — слишком банальные и мелодраматические средства для трагической темы. Но декабристы не были революционерами-аскетами. Культ дружбы, пламенных страстей, героизма, вакхические мотивы характерны для их поэзии и жизни. В этом выразилась лич-

ная независимость декабристов от казарменных порядков, от чинности светских собраний и раболепной субординации.

Романтическая стихия «Синих гусар» — стихия революции — сквозная тема поэзии Асеева. Здесь его задушевные друзья — люди сильные, красивые, ловкие, отчаянные, благородные, умеющие любить и ненавидеть, быть серьезными и веселиться, радоваться жизни и жертвовать собой.

«Синие гусары» — пример высокой гармонии формы и смысла. Б. Л. Пастернак писал об Асееве: «Это — замечательный лирик и поэт по преимуществу, с прирожденной слагательской страстью к выдумке и крылатому, закругленному выражению».[1] Характеристика Пастернака прежде всего относится к таким произведениям Асеева, как «Синие гусары».

5

В двадцатые годы Асеев обращается к новому для него жанру — поэме. Середина и конец двадцатых годов, без сомнения, были годами расцвета этого жанра. Поэмы Маяковского, «Высокая болезнь», «Лейтенант Шмидт» и «Спекторский» Б. Пастернака, «Улялаевщина» И. Сельвинского, «Дума про Опанаса» Э. Багрицкого, «Повесть о рыжем Мотэле...» И. Уткина — только некоторые вехи большой этой работы.

Объективная тема, свойственная жанру лирического фельетона, вела Асеева к эпическим формам. И вот одна за другой появляются поэмы: «Буденный» (1923); «Черный принц» (1923); «Королева экрана» (1924); «Лирическое отступление» (1924); «Двадцать шесть» (1924); «Свердловская буря» (1925); «Семен Проскаков» (1928); «Необычайное» (1930). В общей сложности за эти годы Асеевым написано около двадцати поэм.

Первые опыты в новом для поэта жанре — «Софрон на фронте» (1922), «Аржаной декрет» (1922) — были по существу развернутыми агитационными стихотворениями, содержащими повествовательный материал. Поэма «Буденный» задумана как биографическая, однако в ней есть элементы агитки и лирические куски, в частности такие, как «Марш Буденного», чаще всего печатавшийся отдельным стихотворением. Этот марш — самое лучшее, что было в поэме, лишенной единого центра, распадающейся на ряд картин и ораторских призывов.

---

[1] Борис Пастернак, Другу, замечательному товарищу. — «Литературная газета», 1939, 26 февраля.

Первых успехов Асеев добивается там, где лирическая тема проходит через весь текст поэмы, непринужденно объединяя эпические мотивы. В «Черном принце» известный рефрен:

Белые бивни
бьют
в ют.
В шумную пену
бушприт
врыт.

В «Королеве экрана» вообще властвует ритм киноленты, в ускоренном темпе запущенной механиком, — ритм погони, неудовлетворенного раненого чувства, предвосхищающий «Лирическое отступление»:

Жизнь отходит, как скорый, —
на коня!
Стисни зубы и шпоры —
нагоняй!
Сердце — порохом ночи
заряди,
жизнь — курьерским грохочет
впереди.

Вообще поэмы Асеева как бы возникают из лирики, но постепенно в них крепнет эпическое содержание.

Две крупнейшие поэмы Асеева двадцатых годов выражают две крайние тенденции его поэзии: высший предел лирического напряжения в «Лирическом отступлении» и несомненную приверженность к реальному факту в поэме «Семен Проскаков». Обе поэмы оказались заметными творческими достижениями Асеева. В конечном итоге, несмотря на внутреннее распутье в «Лирическом отступлении» и публицистическую скороговорку в некоторых главах «Семена Проскакова», обе поэмы были вызваны душевной необходимостью. Беспощадная искренность компенсировала рискованные крайности «Лирического отступления». Ощущение материала в «Семене Проскакове» (знакомая Асееву дальневосточная обстановка) спасло поэму от сухой информационности. Если употреблять терминологию Асеева, непредвзятость внутренней художественной тенденции победила известную предвзятость внешней схемы.

Одна из первых крупных вещей Асеева оказалась и одной из самых конфликтных, самых нелефовских. Речь идет о «Лирическом отступлении». За эту поэму Асеева обвиняли очень пристрастно.

в том, что он «слишком ослеплен рыжими — даже не рыжими, а черными кусками современности»,[1] видит лишь «отвратительные краски», что «поэма проникнута глубокой горечью, безнадежностью, одиночеством, оторванностью поэта от читателя».[2] И нелефовские противники поэмы, как это ни парадоксально, восприняли ее с точки зрения того узкого практицизма и утилитаризма, который в поэме преодолевался. Суть упреков критики заключалась в том, что поэма якобы выражает испуг перед бытом, не помогает его переделке. Впрочем, и защитники «Лирического отступления» рассматривали его главным образом как борьбу поэта с бытом.[3]

Поэт, разумеется, ненавидит мещанский быт, противостоит его грязи и гною. Трагизм «Лирического отступления» — это переживание противоречий между практическими усилиями поэзии и их конкретными результатами. Само по себе неприятие мещанского быта — идея не новая ни в поэзии вообще, ни в стихах Асеева. Однако «сроки переплавки быта» столь остры для Асеева именно оттого, что он чувствует себя за них ответственным. Ведь поэзия должна была непосредственно перестраивать самое жизнь: «Но из вас переделался кто там, серьезные люди?» И еще: «Мелких дел — не поймать на перья». В этом начало разлада. Переделать мир стихами не так-то просто:

Скопцы, скопцы!
Куда вам песни слушать!
Вы думаете,
это так легко,
когда
до плеч пузыристые уши
разбухли золотухою веков?!

«Золотуха веков» оказалась въедливой и стойкой. Самое сильное противоядие от этой болезни — «лирическая позиция». Все

---

[1] Инн. Оксенов, Николай Асеев. — «Звезда», 1925, № 6, с. 330.

[2] Всеволод Архангельский, Поэзия Н. Асеева. — «Печать и революция», 1929, № 12, с. 57.

[3] Е. Мустангова, Николай Асеев. — «Литературный критик», 1935, № 12, с. 105—106. Мустангова идет от главы к главе: 1 — метафора «поэзии-боя»; 2—3 — трагические предчувствия любви; 4—5 — быт губит любовь; 6 и 7 — опасность обюрокрачивания; 8 и 9 — гнев против быта обращен на себя, на пережитки быта в себе. Здесь довольно точно описан материал поэмы. Но смысл ее значительно шире. См. также: Б. М. Сарнов, Н. Н. Асеев. — История русской советской литературы в трех томах, т. 2, М., 1960, с. 346—348.

виды оружия испытаны; фронт — «только грудью защищен!» И выясняется, что это — могучая защита

В «Лирическом отступлении» с большой силой рассказано о той самой душе, которая в принципе отвергалась теоретиками Лефа как абсолютно в литературе не нужная. Этот «измятый изломанный «кодак», так называемая душа» оказалась очень живучей, выносливой и важной. Именно она в поэме — «штык и крик. И лозунг. И пароль». Именно глазами «так называемой» души удалось увидеть самое главное:

Руку тронешь —
она одна
отзовется
за всех и каждого,
выжмет с самого сердца дна
дрожь удара
самого важного.

«Лирическое отступление» было отступлением от утилитарности, было стихийной попыткой обратиться непосредственно к внутреннему миру человека и освободить в нем силы, способные укрепить личность, противостоящую как тупым лазутчикам мещанства, так и практицизму, ограничивающемуся переделкой только материальной сферы жизни. Однако эта на десятилетия главная проблема была только угадана. Открывая душу, Асеев тут же стремился смирить ее «капризы», ее законные вопросы и требования. В последней главе он бросает ей упреки, обвиняет, мучит. Но душа не хочет его покинуть. А он не может от нее избавиться. «Лирическое отступление» с большой силой ставило, но не решало важный вопрос.

Одна из следующих поэм Асеева, «Свердловская буря», начинается известными словами: «Я лирик по складу своей души. . .» Лирика приравнена к душе. Обе получают полное право на существование. Меняется жизненный опыт Асеева. И противостояние поэта нэповскому мещанству принимает другие формы. Центром поэмы становится встреча со свердловцем, склонившимся над томом Ленина. Все свои надежды поэт связывает именно с ним, человеком нового поколения. Это поколение осушит мещанскую трясину. Победа, таким образом, передоверена молодежи. Лирическая тема переключена в сферу эпоса, в сферу борьбы противостоящих друг другу внешних сил. Разговор о лирике и о душе в поэмах двадцатых годов не получает дальнейшего развития.

Асеев постепенно реализует свою программу, о которой писал в статье «Записная книжка Лефа»:

«С чего это вы, товарищи, надо мной раскуковались?

Ведь если у меня в стихах пробиваются тоскливые строчки, если «не так уж я весел», то неужели это единственная причина вашей симпатии ко мне?

Это означает мою болезнь и мою слабость, которую злорадно подмечают и раздувают враги. Неужели друзьям ей тоже радоваться? Я такого сочувствия и поощрения не хочу, во всяком случае. И не хочу, чтобы с *этих строчек* «тихо кружился разум» у моих читателей. Буду их выжигать из стихов раскаленным пером». [1]

В итоге, за поэзией признается принципиальное право на лирику, но у лирики отнимается право на грусть, на неразрешенный конфликт, подобный конфликту «Лирического отступления».

Асеев ориентируется на героическую тему. Она звучала уже в «Свердловской буре». В поэме «Двадцать шесть», посвященной памяти расстрелянных бакинских комиссаров, Асеев обращается к историко-революционным событиям. Эта поэма была как бы лирическим наброском к «Семену Проскакову», наброском, в котором фактический материал не играл еще столь существенной роли.

Но вот в архиве Союза горных рабочих Асеев находит автобиографию партизана Семена Проскакова. И судя по признанию поэта, не столько лефовская теория заставила его обратить внимание на эти подлинные документальные записки, сколько сами записки увлекли непосредственностью, простотой, выразительностью. «Мое задание — развить и уточнить тот необыкновенно точный метафорический рисунок письма, который выдержан в этих записках», [2] — говорил Асеев. Иными словами — дать поэтический комментарий. Однако здесь сказано только о зарождении замысла.

«Стихотворные примечания к материалам по истории гражданской войны» (подзаголовок поэмы, определяющий ее жанр) составлены не только к записям Проскакова, — комментируется отрывок из показаний Колчака, свидетельства об атамане Анненкове. И комментарии эти не дублируют их, а как бы продолжают повествование, переводя его в другой план. Возникает целая система контрастов, с помощью которых осуществляется авторский замысел: между документами и поэтическим текстом, между комментариями к событиям разного политического содержания.

---

[1] Николай Асеев, Дневник поэта, с. 21. Слова в кавычках из стихотворения, присланного Асееву анонимной читательницей.

[2] «На литературном посту», 1927, № 11—12, с. 111.

Асеев в «Семене Проскакове» не стремится к поэме характеров. На первом ее плане героические поступки и события, противопоставление разных социальных тенденций: крушение «белой идеи» Колчака, человеконенавистнического индивидуализма Анненкова, победа народных интересов, которые представляет Проскаков. Это обобщенная панорама гражданской войны в Сибири с ее реальными участниками и характерными классовыми конфликтами. В ее центре — красный партизан Проскаков, хроника его героической жизни, которая включает в себя типичнейшие черты народной жизни.

Документальная сторона поэмы и выполняет главные эпические функции. В ней же заключены и основные сюжетные вехи. Иногда Асеев дорисовывает картины, на которые нет намека в документальных отрывках (ссора белых офицеров; история выдачи Колчака чехами). Эпическое содержание подлинных записок поддерживается эпическими картинами, созданными воображением автора. Но в большинстве случаев авторский текст только касается документальных сведений. Основная его задача — публицистическое (о Колчаке, Анненкове, белых офицерах) или лирическое (о партизанах, о Проскакове) осмысление событий.

Главное в том, что Проскаков не только социологическая схема. «Образ Проскакова рассматривается поэтом в трех различных планах — документальном, эпическом и лирическом...» [1] Документальная, эпическая тема Семена Проскакова все время трансформируется в лирическую тему. Проскакову Асеев как бы передоверяет свой голос. Это от лица Проскакова идет сравнение его жизни с поэмой:

Я пролетел,
просквозил,
проскакал
сквозь пули
японцев
и чехословаков,
прям и упорен,
как эта строка,
черен
от угольной пыли
и шлака.

---

[1] Д. Никитин, Особенности композиции и приемы типизации в поэме Н. Асеева «Семен Проскаков». — Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института им. А. И. Герцена, т. 208, ч. 2, 1960, с. 123.

Эпический образ Проскакова все время трансформируется в образ поэта. Те метафоры, которые мы находим в записках реального Проскакова и которые собирался развить поэт, не стилизуются, а преображаются в духе художественных принципов Асеева.

Горемычно
одному в лесу,
тьма ведет
суконкой по лицу:
хоть и вспомнишь
после —
это ветвь,
на минуту
сердцу —
помертветь...
То ли
шум
несется от реки,
то ли
сумрак
нижут светляки,
и другие
сорок сороков
поднимают
шорох широко.

Это — ощущения Проскакова, блуждающего в лесу, но Проскакова «лирического», говорящего устами поэта. Именно этот лирический двойник эпического героя, занимающий главное место, и придает единство всей поэме.

Поэма «Семен Проскаков», таким образом, не есть исключительно документальная (лефовская), публицистическая или лирическая. Это сложная конструкция, в которой умело пригнаны друг к другу материалы разных жанров, начиная с документов и кончая лирическим монологом. Между этими далеко отстоящими, но очень отчетливо обозначенными берегами и текут события поэмы. В ее синтезе «кристаллизовалась проза в стих».[1] Асеев не продолжил начатого в «Семене Проскакове» эксперимента. Но опыт этой поэмы не остался в поэзии бесследным. В наше время это движение от прозы к лири-

---

[1] Виктор Шкловский, Памяти друга. — «Литературная Россия», 1963, 19 июля, с .4.

ке и от лирики к прозе легко обнаружить в творчестве А. А. Вознесенского, достаточно условное в «Треугольной груше» и более последовательное и органичное в «Озе»; у С. И. Кирсанова в книге «Однажды завтра».

6

Наступили тридцатые годы. Трагически прозвучал выстрел Маяковского. Но их начало еще не предсказывало драматического эпилога. Не предсказывало 1939 год — вторую мировую войну; 1941-й — Великую Отечественную.

Книги Асеева начала тридцатых годов — «Запеваем!» (1930), «Большой читатель» (1932), «Обнова» (1934), «Удивительные вещи» (1934) — очень благополучны.

Идет подписка на новый заем — ей посвящаются стихи. Отмечаются очередные праздники: МЮД, Первомай, Женский день. Построен Днепрогэс, завод «Шарикоподшипник» празднует Октябрь в Большом театре, страна шлет лучших своих летчиков на спасение челюскинцев — и этим событиям тоже посвящены стихи, стихи слишком восторженные и поверхностные. Много маршей: «Твердый марш», «Майский марш», «Радиомарши», просто «Марш»...

Даже сатирические темы по-своему праздничны: Асеев обличает бюрократов, написавших «Остановка перенесена» и не указавших, куда именно. «Небольшая тема: почему кусаются цикламен и хризантема?» — цветы очень дороги! Еще: в гололедицу лед не посыпается песком — «песок можно вытряхнуть из застарелых бюрократов»...

Все идет хорошо, бестревожно...

Стихи, посвященные международным политическим событиям, либо слишком информационны, чаще же — перенасыщены общими призывами, восклицаниями, длиннотами.

Даже снисходительная к такого рода недостаткам критика тридцатых годов очень сдержанно, а то и строго отзывалась об этих книгах Асеева. Без сомнения, в первой половине тридцатых годов поэт переживал творческий кризис. Причин тут много — и смерть Маяковского, и распад группы Лефа, и увеличившееся потребление поверхностных праздничных стихов газетами.

В лирике Асеева тридцатых годов цикл «Кавказские стихи» (1934—1938) один из наиболее поэтичных. Яркая, щедрая, пестрая природа Кавказа сродни его поэтическому темпераменту. Ритмы энергичных горских плясок дают поэту повод для интересных ритмических экспериментов в стихе («Партизанская лезгинка»).

Один из излюбленных жанров поэта — песня. Их у Асеева много: песни комсомольские, песни боевые, морские...

И вот в «Штормовой» — неожиданная нота:

Непогода моя жестокая,
не прекращайся, шуми,
хлопай тентами и окнами,
парусами, дверьми.

Непогода моя осенняя,
налетай, беспорядок чини, —
в этом шуме и есть спасение
от осенней густой тишины.

В книге «Высокогорные стихи» (1938) тема «непогоды душевной» начинает крепнуть.

Нельзя сказать, будто что-то решительно изменилось в мироощущении поэта. По-прежнему он пишет веселые песни: «Песню о лыжном походе», «Песню и пляску», «Праздник с боем».

Однако совсем другое — интимная лирика. Здесь погода не столь ясная и безоблачная. «Роман прошлого года» (цикл стихотворений) начинается «сладким весенним дождем», ощущением полной близости.

Рука тяжелая, прохладная
легла доверчиво на эту,
как кисть большая виноградная,
захолодевшая к рассвету.

И заканчивается разочарованием: «Губы, перетравленные ложью, сложенной на тысячу ладов». В других стихотворениях этот мотив возникает с новой силой: «Двоится жизнь, двоится явь». Герою кажется, что даже ветер «въедлив, липок, лжив». И он приходит к общей мысли, которая уже относится не только к глубоко интимным чувствам, отраженным в его лирическом романе: «Удары сердца с временем сверь». Сверкой сердца и времени была поэма «Маяковский начинается».

Во второй половине тридцатых годов время заметно изменилось. В начале десятилетия Асеев написал «Песню возможной войны». Теперь эта оговорка выглядела наивной. Суровая и напряженная жизнь конца десятилетия полна ожиданием событий еще более трудных и опасных. 1939 год — мировая война, по существу, уже началась, но пока еще не все страны это осознали и включились в борьбу.

Перед лицом этих грозных событий нельзя не думать о человеке, его внутренних возможностях, о его судьбе.

Книги Асеева начала тридцатых годов были посвящены скорее внешним успехам страны. Его больше интересовал сам факт, чем то, что привело человека к подвигу. Если поэт хотел сохранить контакт с читателем, необходимо было продолжать разговор о новом человеке, начатый в двадцатые годы.

Поэма «Маяковский начинается» — «задолженность молодости стародавняя» — и была таким продолжением. Новый тип человека Асеев воплотил в характере эпическом — и характере крупном, сильном, ярком.

После «Семена Проскакова» — это самая значительная его поэма. В «Семене Проскакове» материал как бы расслаивается. При несомненной цельности поэмы документальные, эпические, лирические ее мотивы имеют свои границы, свое определенное место. И совсем другое — «Маяковский начинается». В критической литературе очень много определений жанра этой поэмы: «биографическая повесть» (А. Ивич и В. Тренин), «стихотворные примечания к жизни гения» (В. Шкловский), «повесть в стихах» (Б. Сарнов), «художественная биография» (А. Марголина). И как бы итогом всех этих попыток определить жанр является утверждение: «„чистая“ форма распалась, уступив место жанровому гибриду». [1]

Вообще разнообразие материала, непринужденность перехода от одной темы к другой, смысловая насыщенность были замечены давно: «Форма поэмы сложилась свободно: стихотворным главам предшествуют прозаические предуведомления, строфы воспоминаний смешались с картинами истории, в стихах взялись об руку исследование и фантазия, размышление и цитата, острый полемический выпад и жар лирического отступления». [2]

Все это так, кроме одного — «гибридности» формы, стихийно-свободного ее возникновения из разнородных элементов.

Асеев сам подробно рассказал о замысле поэмы: «Появление Маяковского и его гибель — вот два основных пункта моей поэмы». [3] В эти границы поэт хотел вместить «не только биографию, но и среду, окружавшую Маяковского», «внутренние движения, которые не всем были заметны». Наконец, Асеев подчеркивает: «Мне хотелось вести

---

[1] И. Смирнов, Поэма «Маяковский начинается» (об эволюции поэтического стиля Н. Асеева). — «Русская литература», 1965, № 3, с. 95. И. Смирнов излагает эту свою точку зрения в противовес всем предыдущим.

[2] И. Бачелис, Поэма о поэте. — «Известия», 1940, 28 марта.

[3] «Литературная учеба», 1938, № 4, с. 92.

линию действия, не прерывая ее... целое выражать в деталях, целому подчинять детали и чтобы целое было выяснено через детали».[1]

Иными словами, Асеев ставил перед собой много задач, но хотел их решить в конструктивном целом большой эпической вещи.

Разделив на главы, он стремится к завершенности, к цельности каждой главы (в упомянутом интервью он рассказывает, как настойчиво искал выразительные концовки). Сохранившиеся архивные материалы показывают, какая мучительная работа шла над композицией глав, отдельные куски переносились из главы в главу, главы по многу раз переписывались с этой новой последовательностью эпизодов. Наконец, действие поэмы мыслилось как драматическое, конфликтное — «сразу наметилась основная линия, линия противоречия Маяковского с окружающим его в начале его творчества обществом». «Он немного не так говорил, не так двигался, не так ощущал жизнь, как это было принято в черносюртучном, бело-воротничковом тогдашнем обществе».[2] Одновременно намечен и другой конфликт: это современный публицистический спор, который Асеев ведет за подлинного Маяковского: «Почему поэма названа «Маяковский начинается»? Потому что истолкование и споры о Маяковском в широком общественном масштабе только начинаются».[3]

Драматическую напряженность, к которой стремился Асеев, подсказывала сама тема. Образ Маяковского от начала и до конца задуман как героический. Его жизнь, поэзия, борьба преисполнены энергии. Он человек большого масштаба, твердый, бескомпромиссный. Не только его жизнь, но и творчество — это цепь решительных поступков. Это — постоянный конфликт, поиск, действие.

Вот начинается поэма. Главы «Маяковский издали» и «Знакомство с Москвой» включают разнообразные бытовые, культурно-исторические, биографические сведения. Внешне — это традиционное описание «обстановки», создание «социального фона». Однако обстановка «определяет тональность поэмы и является равноправной ведущей темой повествования».[4] Вне ее центральный конфликт был бы мельче. Маяковский противостоял не лицам, а косному многоликому миру. И чем подробнее очерчен этот мир, его дух, уклад, строй, тем бо́льшим кажется масштаб человека, бросившего ему вызов.

Среди подробно выписанной обстановки предреволюционной России и появляется ни на кого не похожий Маяковский, бунтующий,

---

[1] Там же, с. 95, 97—98.
[2] Там же, с. 94.
[3] Там же, с. 100.
[4] А. Ивич, В. Тренин, «Маяковский начинается». — «Молодая гвардия», 1940, № 11, с. 143.

дерзкий, громогласный. Контраст становится конфликтом, который детализируется и углубляется от главы к главе: это конфликт с жандармами, с «липкой патокой» псевдонародного натурализма, с бытом, это вызов — желтой кофтой, остроумием, футуристическими стихами, театром, дружбой с теми, кто был отвержен и освистан (главы о Крученых и Хлебникове). Маяковский на наших глазах растет, набирает силы, увеличивает свои требования к миру, вступает в конфликт все с новыми и новыми явлениями жизни. Одновременно расширяется фон, усложняется обстановка. Зло старой российской действительности тоже разрастается, становится все агрессивнее, многообразнее. Патриархальная Москва первых глав сменяется картинами провинциальной России, чиновного Петербурга. Мещанство московское, курское, петербургское. Но все тревожней время — отзвуки 1905 года, бурлящая Пресня и рабочие окраины Петербурга, мировая мясорубка 1914 года. Все ведет к взрыву, и Маяковский с каждой главой приближается к его центру. Таково движение поэмы, ее главного конфликта.

Основой для него служит материал самый разнообразный. В его выборе Асеев как раз и обретает многажды и многими замеченную свободу. Но эта свобода не означает, что поэма развивается по разным направлениям, становится явлением внежанрового порядка. Критика отмечала небезупречность ее композиции, длинноты. Но главное в том, что Асеев «преодолел основную трудность жанра: он создал сюжет с постепенным психологическим раскрытием и обогащением центрального образа поэмы и непрерывным эмоциональным подъемом. . .». [1]

Этот подъем не теряется и в главах, посвященных послереволюционному Маяковскому (за исключением дополнительных). Фон старой России исчезает. Центральный конфликт принимает публицистический характер. В двадцатые годы Маяковский способствовал крушению старого общества. Он был не только создателем нового эпоса, агитатором, но и сатириком. Именно об этой трудной его работе пишет Асеев. Нэповское мещанство, перерожденцы («в партийные начали метить дворяне какие-то маменькины сынки»), «ханжи, лжецы, наушники, плуты», приспособленцы, щеголяющие «формальным комсомольством», чинуши, получающие секретно «особо ответственный, жирный паек», — все это яростные враги Маяковского, которых он ненавидел.

В главу «Осиное гнездо» Асеев собирает всю нечисть, все пороки,

---

[1] А. Ивич, В. Тренин, «Маяковский начинается». — «Молодая гвардия», 1940, № 11, с. 147.

с которыми сражался Маяковский; еще раз показывает то, с чем не может и не должен мириться честный человек. С чем никогда не мирился Маяковский.

Чиновники от искусства уже начинают засовывать его произведения в толстые академические переплеты, наводить на него хрестоматийный лоск: «Теперь, на стене, застеклен и обрамлен, глядит он с портретов, хмур и угрюм». Асеев спорит с попытками канонизировать отдельные цитаты без учета всего творчества Маяковского: «Мне в Маяковском важны — не мощи».

«Символики липкая патока», которую ненавидел еще юный Маяковский в декадентском искусстве, псевдонародные поделки мастеров «исторической» живописи, псевдоклассика — все это враждебно его поэзии, его натуре.

Поэма создавалась в трудное и тревожное время:

Только взлечу я
над ширью земною, —
заборы, заборы,
замки и затворы
преградой мелькают
внизу подо мною.

Асеев и для себя должен решить немало вопросов. В главе «Разговор с неизвестным другом» он спорит с поэтом, отошедшим к «философии тихой», испугавшимся «теней подзаборных». Страдая от разъединения с бывшим другом, Асеев видит, как «в разные стороны клонятся плечи, хоть общие сердцу страшны перебои!».

И все-таки эта ссора не колеблет его решимости.

А если
вокруг задувает
погодка?
А если
дорогу
пургой обсвистало?

Суровую погодку можно осилить только гражданской смелостью поэзии, «в четыре мотора впрягая пегаса», любя ее «как правду, ни пред кем не складывающуюся пополам». Маяковский погиб за нее, «до пули в конце вниманье стиху вымаливая», и Асеев не может предаться «философии тихой». Он мечтает о творческой дружбе, о работе спорой и общей, о новых стихах, в которых бы «сегодняш-

них дней воплотилось предание», о продолжении дела Маяковского в трудные тридцатые годы.

Асеев от недавней истории нередко возвращается к современности. Чиновники, быстро переоценившие свое отношение к Маяковскому. Современная «журнальная знать», с ее «скарбом прогорклым в душе», «защитного цвета литые мещане», весь круг мирозданья сводящие к цитате. Это — мировая тревога: прогудевший «над Барселоной первый снаряд», ощущение «вьюги времен, засыпающей заживо».

Перед проблемами не только двадцатых, но и тридцатых годов Асеев ставит личность Маяковского, с его страстью, темпераментом, непримиримостью. Грозной силе событий Асеев противопоставляет моральную чистоту, несгибаемость, бескомпромиссность человека, сумевшего прожить жизнь непобежденным, ни перед какими угрозами не склонившего головы.

В поэме «Маяковский начинается» Асеев не только агитирует за разумные отношения между людьми, за гражданскую смелость и активность поэта. Он рисует эпический характер, личность, которой органически свойственно новое миропонимание, ставшее непременной чертой ее психологического облика. Та активность, которая была свойственна поэзии Маяковского и Асеева двадцатых годов, стремление работать стихом, переделывать действительность поэзией, в поэме «Маяковский начинается» переключена в нравственную сферу. Это был важный шаг, свидетельствующий о внутреннем преодолении лефовской теории факта, лефовского утилитаризма.

Асеев теперь стремится подойти к своему герою не только с точки зрения того, что и как он делает, но и вглядеться в строй его души, оценить его внутренние силы, его способность сопротивляться злу, в любых условиях оставаться самим собой. «Поэма, — и это ее особенное своеобразие, ее редчайшая форма, — воссоздает молодого Маяковского не как живописный портрет на фоне эпохи, но — изнутри, как раскрытие внутреннего мира его...

Краткие, сжатые, скупые описательные строки поэмы есть на самом деле те острые прикосновения внешнего мира, на которые Маяковский отвечал жестокими ударами»,[1] — писал А. Н. Толстой.

В поэме «Маяковский начинается» Асеев задает себе философские и нравственные вопросы. Это было важнейшим итогом его поэзии конца тридцатых годов.

---

[1] Алексей Толстой, О литературе. Статьи, выступления, письма, М., 1956, с. 367—368.

* * *

В стихотворении, написанном 23 июня 1941 года, есть строка: «Ведь это случиться когда-нибудь было должно!»; его смысл: настало время проверить правдивость боевых песен, которые распевались в тридцатые годы.

Первая поэтическая реакция Асеева на войну — агитационные стихи, стихи против фашизма, стихи о военных подвигах. Школа, пройденная вместе с Маяковским, теперь особенно пригодилась. Стих-лозунг, стих-листовка — один из главных жанров военного времени.

Но поэзия Асеева военных лет — это не просто возвращение к прежним жанрам на новом материале.

Опыт поэмы о Маяковском научил Асеева сосредоточенности, пониманию внутренних нравственных ценностей. Время потеряло теперь для него свою холодноватую всеобщность. Он рассматривает его в конкретных соотношениях с жизнью, трудом, войной, которую ведет народ. Асеев стремится к максимальной точности и правдивости: «Я не признаю описаний разных о легкой победе под энским селом; по-моему, битва — это не праздник, а стих — не молебен и не псалом». Эти строгие слова Асеев скажет позже, в торжественные дни 1945 года. Они отражают весь его военный опыт.

С первых дней войны Асеев очищает эту тему от легкомысленных, барабанных интонаций. Он знает, что война будет трудной. Стихотворение 1941 года «Полет пуль» начинается трагическими строчками:

> Ребенок вдали закричал:
> «Не надо, не надо, не надо!»
> . . . .
> Вот так начиналась война,
> пред нею — все звуки не громки:
> качнется квартиры стена,
> и рухнут на плечи обломки.

Асеев не пишет о легком и веселом торжестве над врагом — он говорит о победе народного терпения, выдержки, самоотверженности. Война для него — тяжелая необходимость. Она оскорбляет, повергает в несчастье не только людей, но и природу. В поэме «Пламя победы» есть фантастический разговор мертвецов. Они потеряли доверие к простейшим проявлениям жизни. Им кажется, что стога на лугу пахнут фосгеном. Всюду они подозревают угрозу и опасность: им чудится, что ряды кустов «загримированы грузовиками», журав-

ли — «к бомбардировщику бомбардировщик», а тополя «стоят вдали, напоминая взрывы». Асеев отказывается здесь от описательных картин. О войне говорит внутренняя структура самого поэтического образа. О войне современной, изощренной в средствах, обманах, коварстве.

Но к какому итогу приводит поэта столь жестокий анализ? Проходя через труднейшие испытания, люди выдерживают экзамен на человечность. Человечность — это главное, что нужно сохранить и уберечь любой ценой.

У всех, увлеченных боем,
надежда горит в любом:
мы руки от крови отмоем,
и грязь с лица отскребем,
и станем людьми, как прежде,
не в ярости до кости!
И этой одной надежде
на смертный рубеж вести.

За время войны Асеевым написаны две поэмы — «Урал» и «Пламя победы», большое количество стихотворений. Но печатался он сравнительно мало. Многие произведения военных лет, такие, как «Будни войны», «Письма к жене, которые не были посланы», «Городок на Каме», были опубликованы только в последние годы его жизни. Они во многом дополняют наши представления об Асееве сороковых годов. Именно в этих произведениях, продолжающих опыт поэмы о Маяковском, зрели философские темы его лирики пятидесятых годов. Асеев уже тогда твердо верил:

Проверять души неложность,
крепость дружеской руки —
это тоже наша должность
всякой догме вопреки.

Не гнездо свое куличье
возвышаю я, хваля, —
человечности обличье
завтра взалчет
вся земля.

Написано в 1943 году. Мысли эти были обращены в будущее, на десятилетие обгоняли время.

7

Первое, что бросается в глаза при чтении послевоенных книг Асеева, — присущее ему ощущение пронзительной свежести, жизненной силы, яркости, ослепительности, красочности мира. Однако же это не простое повторение того, что было открыто и освоено раньше, в двадцатые годы. Песенность, ритмическая стремительность теперь дополнены обостренной зоркостью.

Слабо и сладко
пахнут мимозы;
зыбко и зябко
бегут облака.

Конкретным деталям, определениям, выявляющим оттенки, отдается предпочтение перед смелой метафорой. Прежде чем навязывать природе свои ассоциации, Асеев стремится увидеть ее со всей доступной ему непосредственностью: и то, как «тихо-тихо сидят снегири на снегу меж стеблей прошлогодней крапивы», и «пробирающийся сквозь иглы колючие солнечный лучик», и как «над морем наклонилась туча, синя, сурова и сверкуча», и небо, на котором, «как лед облака, как лед облака, как битый лед облака». Это не значит, что в его лирике двадцатых годов не было такого рода подробностей. И все же их теперь значительно больше.

Главные книги послевоенных лет — «Раздумья» (1955), «Лад» (1961), «Самые мои стихи» (1962) — только отчасти возвращают нас к ранним стихам о природе, о любви. Сейчас в его стихах больше наблюдательности, больше философской сосредоточенности.

Послевоенный мир в жизнеощущении Асеева полнокровен. Его герой наслаждается жизнью, работой, дружбой, любовью. «Хорошо при работе ловкой душу вкладывать в ремесло», хорошо «край ковриги посыпать солью, хрустнуть луковицей золотой», хорошо отдаться грозе и ливню, глядеть в небеса. Мир полон энергии, света, счастья.

Как пробудились сталь и медь,
ты в жизни не забудешь впредь,
как — точно пену с молока —
сдул ветер с неба облака.

Да нет, не пену с молока,
а точно стружки с верстака...

Общий пафос везде словно бы мотивируется, доказывается, уточняется. В послевоенной лирике Асеева примечательны эта предель-

ная образная конкретизация и обращение к самым общим, даже абстрактным темам:

Летите в окна, облака,
входите, сосны, в полный рост,
разлейся, времени река, —
мой дом открыт сиянью звезд!

Особенно плодотворной была для Асеева вторая половина пятидесятых годов. Для советской поэзии — это время философской лирики. По-новому звучат голоса Н. Заболоцкого, В. Луговского, Л. Мартынова. В литературу приходит талантливая молодежь: Е. Евтушенко, А. Вознесенский...

Для Асеева — это пора новых надежд, большой творческой активности. В 1956 году им написан своеобразный стихотворный манифест:

Еще за деньги
люди держатся,
как за кресты
держались люди
во времена
глухого Керженца,
но вечно
этого не будет.
Еще за властью
люди тянутся,
не зная меры
и цены ей,
но долго
это не останется —
настанут
времена иные.

Стяжательство, властолюбие, тщеславие уходят в прошлое. Вместо них Асеев видит рождение «земного братства», намечающееся «великое людей содружество». В пятидесятые годы и природа как бы раздвинула свои дали. К соучастию «в добрых человеческих делах» добавилась мечта о «полетах сквозь миры», когда, «преодолевая смерть и тленье, станем вечной свежестью дышать». Асеев предвидит проникновение человеческого разума в «начало начал», разрешение проблемы бессмертия, тончайшее развитие чувств — «Шестое? Девятое чувство? Двенадцатое?» — и искусства, пришедшего на помощь разуму.

Человек связан с миром, миры связываются через человека.

Ты знаешь ход космических лучей,
который сквозь тебя струится?
Ведь это — мировой ручей
тебя связать с величием стремится!

Но в каждом случае эти абстракции опираются на конкретный факт: первые спутники земли, первые космические корабли, гипотезы о жизни на других планетах. Многие философские стихотворения — это как бы стихи на случай, отклик на события технической, научной, интеллектуальной жизни.

Асеева живо интересует все, что занимает общество: угроза войны и возможности мирного развития человечества, освоение космоса, факты научного и технического прогресса, споры об абстракционизме, судьба Хемингуэя... Но конкретные факты всегда служат поводом для обобщения. Они важны не как изменения в материальном мире, а только в их отношении к жизни человека и человечества.

Примечательно, что в пятидесятые и в начале шестидесятых годов Асеев много и охотно общается с Л. Н. Мартыновым и Б. А. Слуцким. Философская обобщенность поэзии Мартынова и публицистическая деловитость, конкретность Слуцкого в равной степени его привлекают.

Самое важное во всем этом, что ни красота природы, ни общие вопросы бытия, ни события современности не уводят теперь Асеева от человека. Он не собирается повторять экспериментальные увлечения юности, техницизм начала двадцатых и описательные репортажи тридцатых годов. Настала пора философского постижения мира, его нравственной оценки.

Одна из центральных мыслей поздней лирики Асеева сформулирована заглавием стихотворения — «Оставаться самим собой».

Ведал вкус не дурой губой,
не дул в ус пред дурой судьбой,
не сходился с дружбой любой —
оставался самим собой.

Этот мотив — «оставаться самим собой» — возникает в маленькой лирической поэме «Станция „Выдумка“». Здесь Асеев рассказывает о звезде. О той звезде, которая была у Блока, по которой тосковал Маяковский. Но это не отдаленная, недоступная, молитвенная звезда:

Вы толковали
о звезде
в рассветной
нежной бледности,
а я знавал
звезду
в нужде,
в величье
крайней бедности.

Эта звезда смелая, отчаянная, ни на кого не похожая, «до ужаса беспечная». Бедная и простая звезда прекраснее самоуверенных «длиннобровых» и «завистливых чертовок, ждущих выгоды везде». Она из тех, что «ходила, глаз не жмуря, не кривила горько губ, даже если в сердце буря, даже если ветер груб!» В любимой Асеев прежде всего ищет богатство личности, внутреннюю силу и бескорыстие характера.

Отмеченная уже наблюдательность и конкретность поэтического восприятия привела и к переоценке взаимоотношений с природой. Теперь Асеев природу воспринимает такой, какова она на самом деле: «Я сам писал про соловья стального, пока не услыхал в ночи живого». Песня соловья теперь не символ, не аллегория, не абстракция:

Отчего ж —
лишь осыплет руладами —
волоса
холодок шевелит
и становятся души
крылатыми?!

Песне тысячи лет,
а жива;
с нею вольно
и радостно дышится;
в ней
почти человечьи слова,
отпечатавшись в воздухе,
слышатся.

Это не только спор с самим собой, со своим прошлым. Это — современный гуманистический спор, охватывающий и мировосприятие человека, и профессиональные тайны ремесла,

Поэт спрашивает у товарища по перу, зачем —

предпочитать живому ветру дизель?
Живые чувства — паруса людские —
переводить на штампы заводские?
Передо мной вопрос неразрешимый:
зачем вам сердце заменять машиной?

Интересно, что Асеев, по его же словам «традиций убежденный неслух», избирает здесь старинную традиционную форму стихотворного послания. Он даже в заглавии подчеркивает традиционность, заимствуя его у Пушкина: «К другу-стихотворцу». Весь тон стиха, от слегка учительного, торжественного, вопрошающего пафоса («кто ж спутает с машинным звук сердечный, рискует в пафос впасть бесчеловечный!») до непритязательных рифм (людские — заводские, чувством — искусством), — все участвует в этой полемике.

Асеев ставит перед своей поэзией внутреннюю цель:

Хочу я жизнь понять всерьез:
наклон колосьев и берез,
хочу почувствовать их вес
и что их тянет в синь небес,
чтобы строка была верна,
как возрождение зерна.

Споря с механической поэзией, Асеев не чуждается «стародавних» чувств. Непринужденность и свобода, с которыми он обращается к традициям, к фольклору, к классическим формам, используя в то же время современную инструментовку стиха, уникальные рифмы, смелые образные находки, — показывают главное, к чему он стремится. Он не ведет чисто формальной игры в новаторство. Еще более чужда ему догматическая приверженность к канонам. Он стремится сосредоточиться на интеллектуальной и эмоциональной жизни героя, на существе времени.

В последние годы жизни Асеев был тяжело болен. Застарелая болезнь легких причиняла большие мучения. Ему трудно было выходить из дому. Главным средством общения был телефон. По телефону он мог разговаривать часами, читал новые стихи, обсуждал последние литературные новости. Охотно принимал у себя молодых поэтов.

До последних дней он продолжал работать. Готовил второе издание книги «Лад», составлял «Собрание сочинений», завершенное уже после его смерти. И все время писал новые стихи. Сохранились десятки набросков, записей пришедших на ум строчек. Умер Асеев 16 июля 1963 года.

Более чем пятьдесят лет жизни отдал Асеев поэзии. От поверхностных стилизаций и бегства в идеализированный мир природы он пришел к бунту. После революции он посвятил свою поэзию новому человеку, сделал ее работницей в строительном и ратном труде. Слово поэта становилось делом. Размышляя над смыслом и задачами советской поэзии, над новым типом героя, Асеев обратился к философской лирике, в которой с наибольшей полнотой отразились его представления о современном мире и человеке.

Жизнь не однажды меняла задачи. Приходилось агитировать и воевать, писать листовки и сатирические плакаты, переоценивать прошлое и думать о будущем. Деятельная поэзия Асеева была оригинальна и верна действительности: «Время говорило его стихами».[1]

Адольф Урбан

---

[1] Виктор Шкловский, Памяти друга. — «Литературная Россия», 1963, 19 июля, с. 4.

ПУТЬ В ПОЭЗИЮ[1]

Городок был совсем крохотный — всего в три тысячи жителей, в огромном большинстве мещан и ремесленников. В иной крупной деревне народу больше. Да и жили-то в этом городишке как-то по-деревенски: домишки соломой крытые, бревенчатые, на задах огороды; по немощеным улицам утром и вечером пыль столбом от бредущих стад на недальний луг; размерная походка женщин с полными ведрами студеной воды на коромыслах. «Можно, тетенька, напиться?» И тетенька останавливается, наклоняя коромысло.

Город жил коноплей. Густые заросли черно-зеленых мохнатых метелок на длинных ломких стеблях окружали город, как море. На выгоне располагались со своим нехитрым снаряжением свивальщики веревок; за воротами домов побогаче видны были бунты пеньки; орды трепачей, нанятых задешево бродячих людей, сплошь в пыли и кострике, расправляли, счесывали, трепали пеньку. Над городом стоял густой жирный запах конопляного масла — это шумела маслобойка, вращая решетчатое колесо. Казалось, что конопляным маслом смазаны и стриженные в кружок головы, и широкие расчесанные бороды степенных отцов города — почтенных старообрядцев, у которых на воротах домов блестел медный осьмиконечный крест. Город жил истовой, установленной жизнью.

Малый город, а старинный. Имя ему было Льгов; то ли от Олега, то ли от Ольги название свое вел; верно, был сначала Олегов или Ольгов, но со временем укоротилось слово — проще стало Льговом звать... Вот так и стоял этот старозаветный город, стараясь жить по старине. Прямо на конопляники выходил он одним краем, и на

[1] Статья печатается с незначительными сокращениями по изд.: Николай Асеев, Собр. соч. в пяти томах, т. I, М., 1963, с. 5. — *Ред.*

самом краю, упираясь в чащу конопли, стоял одноэтажный домик в четыре комнаты, где в конце июня 1889 года родился автор этих строк. Не очень отличалось мое детство от жизни десятков соседских ребят, босиком бегавших по лужам после грозового дождя, собиравших «билетики» от дешевых конфет, обложек папирос и пивных ярлыков. Это были меновые знаки разного достоинства. Но действительными ценностями считались лодыжки — выжаренные и выбеленные на солнце кости от вареных свиных ножек, продававшиеся парами. Но покупать их находилось охотников мало. Главное — это была игра в лодыжки. Любили и другие игры. Например, поход в конопли, которые представлялись нам заколдованным лесом, где живут чудовища... Так жил мальчонка провинциального города, не барчук и не пролетарий, сын страхового агента и внук фантазера — деда по матери Николая Павловича Пинского, охотника и рыболова, уходившего на добычу на недели в окрестные леса и луга. О нем я написал впоследствии стихи. О нем и о бабке Варваре Степановне Пинской, круглолицей молодой старухе, не утерявшей с годами своего обаяния, голубизны своих доверчивых глаз, энергии своих вечно деятельных рук.

Мать я помню плохо. Она заболела, когда мне было лет шесть, и к ней меня не пускали, так как опасались заразы. А когда я ее видел, она лежала всегда в жару, с красными пятнами на щеках, с лихорадочно сиявшими глазами. Помню, как возили ее в Крым. Меня взяли тоже. Бабушка не отходила от больной, а я был предоставлен самому себе.

На этом кончается детство. Потом идет ученичество. Оно не было красочным. Средняя школа давно описана хорошими писателями. Разницы здесь немного. Разве что наш француз отличался париком, а немец — толщиной. Но вот математик, он же и директор, запомнился тем, что преподавал геометрию, распевая теоремы, как арии. Оказывается, это было отголоском тех далеких времен, когда учебники еще писались стихами и азбуку учили хором нараспев.

И все же главным моим воспитателем был дед Николай Павлович. Это он мне рассказывал чудесные случаи из его охотничьих приключений, не уступавшие ничуть по выдумке Мюнхгаузену. Я слушал разинув рот, понимая, конечно, что этого не было, но все же могло произойти. Это был живой Свифт, живой Рабле, живой Робин Гуд. Правда, о них я тогда не знал еще ничего. Но язык рассказов был так своеобразен, присловья и прибаутки так цветисты, что не замечалось того, что, может быть, это и не иноземные образцы, а просто родня того Рудого Панька, который так же увлекался своими воображаемыми героями.

Отец играл меньшую роль в моем росте. Будучи страховым агентом, он все время колесил по уездам, редко бывая дома. Но одно утро я запомнил хорошо. Был какой-то праздник, чуть ли не наш именинный день. Мы с отцом собирались к заутрене. Встали ранымрано, сели на крылечке дожидать первого удара колокола к службе. И вот, сидя на этом деревянном крылечке, глядя через коноплянник на соседнюю слободу, я вдруг понял, как прекрасен мир, как он велик и необычен. Дело в том, что только что взошедшее солнце вдруг превратилось в несколько солнц — явление в природе известное, но редкое. И я, увидав нечто такое, что было сродни рассказам деда, а оказалось правдой, как-то весь затрепетал от восторга. Сердце заколотилось быстро-быстро.

— Смотри, папа, смотри! Сколько солнц стало!

— Ну что ж из этого? Разве никогда не видал? Это — ложные солнца.

— Нет, не ложные, нет, не ложные, настоящие, я сам их вижу!

— Ну ладно, гляди, гляди!

Так я и не поверил отцу, а поверил в деда.

Учение кончилось, вернее оборвалось: уехав летом 1909 года в Москву, я скоро перезнакомился с молодежью литературного толка; а так как стихи я писал еще учеником, то и в Коммерческом институте мне было не до коммерции, и в Университете, куда я поступил вольнослушателем, — не до вольного слушания. Мы стали собираться в одном странном месте. Литератор Н. Шебуев издавал журнал «Весна», где можно было печататься, но гонорара не полагалось. Там я познакомился со многими начинающими, из которых помню Вл. Лидина; из умерших — Н. Огнева, Ю. Анисимова. Но не знаю, каким именно образом случай свел меня с писателем С. Бобровым, через него с поэтом Борисом Пастернаком. Пастернак покорил меня всем: и внешностью, и стихами, и музыкой. Через Боброва я познакомился и с Валерием Брюсовым, Федором Сологубом и другими тогдашними крупными литераторами. Раза два бывал в «Обществе свободной эстетики», где все было любопытно и непохоже на обычное. Однако все эти впечатления первого знакомства заслонило вскоре иное. Это была встреча с Владимиром Маяковским. Здесь не место воспоминаниям: о Маяковском я написал особо. Но со времени встречи с ним изменилась вся моя судьба. Он стал одним из немногих самых близких мне людей; да и у него не раз прорывались мысли обо мне и в стихах и в прозе. Наши взаимоотношения стали не только знакомством, но и содружеством по работе. Маяковский всегда заботился о том, как я живу, что я пишу.

Возвращаясь несколько назад, хочу рассказать о первых своих

шагах в литературе. Увлекаясь поэзией с малых лет, я обычно читал те стихи, которые помещались в сборниках, так называемых «Чтецах-декламаторах». Они издавались со множеством имен авторов, так или иначе известных в то время. Публика привыкала к именам Башкина и Мазуркевича, поэтов мало прославившихся, но часто печатавшихся. Мне нравились в этих сборниках стихи А. К. Толстого, очень популярного тогда поэта-русофила, обращавшегося к темам Древней Руси, к славянским сюжетам. В его стихах воспевалась удаль и молодечество наших дедов, богатырские подвиги предков. В них, однако, по-своему трактовались и смешные стороны старинных дьяков и бояр, иногда прямо обличающие взяточничество и лихоимство; сквозь эти давние повадки просвечивало порой обличение современных поэту порядков. Легкие, плясовые ритмы стихов А. К. Толстого, их необычное содержание вызывали желание самому попробовать писать нечто похожее, веселое, буйное и задевающее. Так началась тяга к славянщине, к летописям, к истории слова. Немало сделало чтение гоголевского «Тараса Бульбы», «Страшной мести», навсегда ставших для меня образцами поэзии. Пушкина я воспринимал недостаточно чутко; Лермонтов казался мрачным и недоступным; да и Гоголь пленял пока еще только фантастичностью своих описаний. Все это относится к годам юности; однако нужно сказать, что именно тогда происходило становление моего литературного вкуса и понимания читаемого, хотя я по-прежнему декламировал самому себе строчки Мазуркевича о том, что: «Так солгать могла лишь мать, полна боязни, чтоб сын не дрогнул перед казнью!» Меня увлекало это придуманное и приукрашенное геройство, как нравится всем юношам преувеличенное и преумноженное чувство гражданского подвига.

Другим характерным ощущением было расставание с понятием о боге. Уже сознавая, что божества всех времен созданы человеческой фантазией, я все еще не мог представить, что остается взамен от этого понятия. Бога нет, — это ясно; но что же есть? Человек, — это я вижу и знаю; но человек ведь смертен и, значит, преходящ, как все земное. А что же не проходит века и века? Ведь должно же быть нечто, не уничтожаемое временем! Эти размышления и сомнения создавали те стихи, которые характерны для начала моего творчества. Это были богохульные, с точки зрения религии, произведения, но это все-таки были стихи о боге, и они могут вызвать недоумение у читателя. «Торжественно» (1915), «Объявление» (1915), «Скачки» (1916), «Откровение» (1916) и целый ряд других стихотворений свидетельствуют о борениях и сомнениях незрелого еще разума, но полного искреннего желания разобраться в неведомом.

К этому надо добавить славянские тексты летописей, проглатываемых мною, как белка проглатывает раскушенный орех, — а ведь в этих текстах были заложены основы поэзии. Так создавались стихи о запорожцах-ворогах («Звенчаль», 1914), о смерти Андрия Бульбы («Песня Андрия», 1914), о старине и родине, расступавшейся перед мысленным взором необычайными просторами своих сказаний, вымыслов, преданий, подлинных событий. Так формировался вкус и симпатии.

Об этом я должен рассказать читателю, которому иначе не все будет ясно, особенно в некоторых стихах первого тома, моих ранних вещах. В них главным для меня был поиск своего стиха, своего способа высказаться. Отсюда — недомолвки и нелогические возгласы стиха, которому нащупывался путь в будущее. Мне хотелось своих слов, своих, неизбитых выражений чувств — и вот рождались и слова и отдельные сочетания их, непохожие на общепринятые: «леторей», «грозува», «шерешь», «сумрова», «сутемь», «порада», «сверкаты», «повага», «дивень», «лыба», — все слова из летописей и старинных сказок, которые хотелось обновить, чтобы наряду с привычными, обиходными — зазвучали они, забытые, но так сильно запоминаемые своими смысловыми оттенками. Так прошел первый период учебы у летописей, у старинного говора орловско-курских речений, которыми в совершенстве владел мой дед.

Потом подошла империалистическая война. В 1915 году меня забрали в армию. Попав в полк, я в солдатской среде стал лицом к лицу с народным характером и настроением. Там не было «патриотов», да и самое слово-то было почти ругательным. К патриотизму призывали командиры среднего состава, обучавшие солдат, да генералы во время смотров. В самой же серошинельной массе это слово произносилось разве что издевательски. Почему так случилось? Во-первых, потому, что официальный язык газет и плакатов был чужд сердцам солдат; а во-вторых, потому, что и слова-то такого в обиходном разговоре не существовало. Царская война была непопулярна в народе, с фронта поступали известия о недостаче снарядов, обмундирования, продовольствия. Ходили слухи об измене среди высших чинов. Фамилия Мясоедова все чаще упоминалась в солдатском разговоре. Какие уж тут патриотические чувства! Империя готова была рушиться. Защищать ее охотников становилось все меньше. А понятия «родина», «отечество» связывались именно с царизмом, с дворянским и капиталистическим строем. Среди солдат отсутствовали героические настроения в защиту того, что явственно упало в своем бывшем величии.

Видимо, поэтому и стало у меня в стихах появляться сознание этого «солдатского» настроения.

Меняем прицел небосвода
на сумерки: тысячу двадцать!
Не сердцу ль чудес разорваться
за линией черного года?

Так писал я тогда в стихотворении «Боевая сумрова» (1915), представляя будущее, которое придет в результате обстрела времени, в результате разрушения черного года войны. Конечно, это было мало понятно даже и самому автору. Но солдатам как-то было доступно. Может быть, только потому, что в их среде нашелся поэт. А может быть, и потому, что сердцем они чувствовали гнев и ненависть к переживаемому и надежду на будущее, когда разорвется чудо грядущего дня. Но всего не объяснишь в прозе. Тогдашние стихи мои о войне, во всяком случае, не восхваляли ее.

Серп на ущербе притягивает моря,
и они взойдут на берег, шелками хлюпая.
Вот волн вам, их ропот покоряя,
привидится эскадра белотрубая.
Герб серба сорвала слишком грубая
рука. Время Европу расшвырять!

Это стихотворение называлось «Об 1915 годе». О чем оно? О предельной нелепице происходящего; о современниках, которым придется увидеть рушащиеся в огне здания, бесконечные бедствия войны, когда в моря выйдут эскадры изрыгать тяжелые снаряды, когда из-за ничтожного повода, спровоцированного на сербской земле, поднимется вся Европа, вовлекая в борьбу и нас, и Америку, и все народы. Читатель может спросить: но откуда же это все можно видеть в спотыкающихся от волнения, неразборчивых словах? Да, видеть этого, к сожалению, а вернее, к счастью, вновь нельзя. Но почувствовать тем сердечным волнением, которое пережил пишущий, мне кажется, можно. Если, разумеется, читатель внимателен к автору, к его усилиям передать неповторимое.

Война была в разгаре. В городе Мариуполе мы проходили обучение в запасном полку. Затем нас отправили в Гайсин, ближе к австрийскому фронту, чтобы сформировать в маршевые роты. Я подружился со многими солдатами, устраивал чтения, даже пытался организовать постановку сказки Льва Толстого о трех братьях, за что

сейчас же был посажен под арест. Из-под ареста я попал в госпиталь, так как заболел воспалением легких, осложнившимся вспышкой туберкулеза. Меня признали негодным к солдатчине и отпустили на поправку, а на следующий год переосвидетельствовали и вновь послали в полк. Там я прослужил до марта 1917 года, когда был избран в Совет солдатских депутатов от 34-го стрелкового полка. Начальство, видимо, решило избавиться от меня и дало направление в иркутскую школу прапорщиков. Февральская революция не прошла для нас даром. На фронт наш полк идти отказался, и я с командировкой в Иркутск отправился на восток. «...Серая солдатская шинель выучила и образовала», — писал я позже о тех днях. И не поехал я в школу прапорщиков, а сел с молоденькой женой в вагон и двинулся до Владивостока, наивно полагая поехать будущей зимой на Камчатку...

Но первая мировая война шла к концу. Началась Октябрьская революция. В ней нам, молодежи тех лет, увиделась перемена всего, что до сих пор считалось незыблемым и неопровержимым. Как же было не задохнуться от счастья, не колотиться сердцу от того, что мечталось и ожидалось! И стихи о революции писались, как рапорт народу:

Была пора глухая,
была пора немая,
но цвел, благоухая,
рабочий праздник мая.

Это был мой «Первомайский гимн» — гимн новому. Хлебников еще в апреле 1917 года писал о том, что:

Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!

И вот теперь народ стал действительно государем своей судьбы. Все солдатские сердца отозвались бы на этот призыв. А солдатских сердец были миллионы. Именно солдатских, а не генеральских и адмиральских, не лиц высшего командного состава, лишившихся своих приварков и казенного довольствия.

По солдатской литере проехал я всю Сибирь и докатил до самого океана. И тут, на Дальнем Востоке, куда я добрался к осени 1917 года, уже начинается писание стихов, не требующих разъяснений и уточнений. Хотя и в них встречаются вещи, не совсем совпа-

дающие с обычным представлением о стихосложении. Остались следы поисков и звука и смысла, по-своему ощущенного и высказанного. А без этого и нету никакого творчества. Если все уже известно и слышано, то какая же новость в поэзии! Об этом отличии стиха от прозы замечательно сказал свыше ста лет тому назад великий русский свободный ум — А. И. Герцен:

«Досадно, что я не пишу стихов, — говорил он в повести «Поврежденный» (1851), описывая природу средиземноморского побережья. — Речи об этом крае необходим ритм, так, как он необходим морю, которое мерными стопами во веки нескончаемых гексаметров плещет в пышный карниз Италии Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой... Едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль... В прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии».

Так понимают чуткие умы лучших людей поэзию. У них мы учились и будем учиться.

Приехав во Владивосток, я пошел в Совет рабочих и солдатских депутатов, где получил назначение помощника заведующего биржей труда. Что это было за заведование — вспомнить стыдно: не знающий ни местных условий, ни вновь нарождавшихся законов, я путался и кружился в толпах солдатских жен, матерей, сестер, в среде шахтеров, матросов, грузчиков порта. Но как-то все же справлялся, хотя не знаю до сих пор, что это была за деятельность. Выручила меня поездка на угольные копи. Там я раскрыл попытку владельца копей прекратить выработку, создав искусственный взрыв в шахте. Вернулся во Владивосток уже уверенным в себе человеком. Начал работать в местной газете, вначале литсотрудником, а в дальнейшем, при интервентах, даже редактором «для отсидки» — была такая должность. Но взамен я получил право печатать стихи Маяковского, Каменского, Незнамова. Когда приехал во Владивосток Сергей Третьяков, нами был организован маленький театрик — подвал, где мы собирали местную молодежь, репетировали пьесы, устраивали конкурсы стихов. Но вскоре эти затеи приостановились. Началась интервенция, газета подвергалась репрессиям, оставаться, хотя бы и номинальным редактором, было небезопасно. Мы с женой переселились из города на 26-ю версту, жили не прописавшись, а затем получили возможность выехать из белогвардейских тисков в Читу, бывшую тогда столицей ДВР — Дальневосточной республики.

Оттуда при содействии А В. Луначарского я был вызван в Москву как молодой писатель. Здесь и возобновилось мое прерванное на ряд лет знакомство с Маяковским. Он знал, что на

Дальнем Востоке я читал его «Мистерию-буфф» рабочим Владивостокских временных мастерских, знал, что печатал отрывки из «Человека» в газете, что читал лекции о новой поэзии во Владивостоке, — и сразу принял меня как родного. Затем началась работа в Лефе, в газетах, в издательствах, которую опять-таки возглавлял Маяковский, неотступно, как пароход баржу, буксируя меня всюду с собою. Я объездил с ним города Союза — Тулу, Харьков, Киев; совместно с ним выпустил несколько агитационных брошюр.

Неизменная товарищеская заботливость со стороны Владимира Владимировича продолжалась до конца его жизни. Благодаря ему было издано много моих книг. Позже я написал о нем поэму, чтобы хоть отчасти восполнить свой долг перед ним. Без него мне стало труднее. И, несмотря на знаки внимания со стороны товарищей по литературе, я так никогда и не оправился от этой потери. Это невозвратимо и неповторимо.

На этом, собственно, и заканчивается моя автобиография. Все остальное лишь варианты главного.

Николай Асеев

1957—1962
Москва

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. СТАРИННОЕ

Юлиану Анисимову

В тихом поле звонница
точит малый звон...
Все меня сторонятся,
любил — только он.
Он детина ласковый,
тихой да простой, —
против слова царского
знался с сиротой.
Вышел царь на красное
широкое крыльцо:
потемнело властное
царское лицо;
и, махнувши белою
жестокой рукой,
пустил душу смелую
на вечный покой.

Не заплачу, не покаюсь, грозный царь,
схороню лихую петлю в алый ларь,
схороню под сердцем злобу да тоску,
перейду к реке по белому песку,
кину кольца, кину лалы да янтарь —
не ласкать меня, пресветлый государь!

1910

2. ПЕСНЯ ТАРАКАНА НИМРОМА

Сергею Боброву

Надев зеленую ермолку
и шубку белую песца,
я посещаю втихомолку
покои сонного дворца.
Стою неслышим и неведом
за изголовьями у вас,
равно — и счастию и бедам
распределяя день и час.

Вам не избегнуть этой власти,
я не таков, я не таков!
Вмиг расколюсь один на части,
стуча в двенадцать каблуков...
И даже — этого ль вам мало? —
не утаю, не утаю, —
ее величество плясала
вчера под песенку мою!

1911

3. ВНЕЗАПЬЕ

Валерию Брюсову

Бился пульс нараставшего горя,
но шумела лавина годин...
Смеясь, в наклоненном проборе
встречал серебро господин.
В изломы размеренных улиц,
нараставших, падавших ниц,
летел он, грозя и сутулясь,
миллионами сумрачных лиц.
Опахнул эти души старинный,
незабытый, веселый недуг —
как из сверкали вышел витринной
оглянувшийся медленно друг.
Словно стал он грустнее, старше,
словно ведать, жить разлюбил, —

но в его укороченном марше
мнилась мощь неослабнувших жил.
И, коснувшись ногою панели,
он исчез в темноту, без следа.
Но дрожащие стекла звенели,
как пробитая ветром слюда.

1911

4. МОСКВЕ

Константину Локс

И ты передо мной взметнулась,
твердыня дремная Кремля, —
железным гулом содрогнулась
твоя священная земля.
«Москва!» — и голос замирает,
и слова выспреннего нет,
взор опаленный озирает
следы величественных бед;
ты видела, моя столица,
у этих древних алтарей
цариц заплаканные лица
и лики темные царей;
и я из дальнего изгнанья,
где был и принят и любим,
пришел склонить воспоминанья
перед безмолвием твоим. . .
А ты несешь, как и когда-то,
над шумом суетных шагов
соборов сумрачное злато
и бармы тяжкие снегов.
И вижу — путь мой не случаен,
как грянет в ночь Иван: «Прийди!»
О мать! — дитя твоих окраин
тоскует на твоей груди.

1911

5. ERITIS SICUT DEI![1]

Верьеры неба отсияли,
земные — тщетно плавят тьму;
но навсегда седые дали
открыты взору одному.

Когда луны кровавый кратер
зальет замолкших башен фронт,
восходит тяжко император
на обветшалый горизонт.

Нас не покинул до сих пор ты,
и не у тех безумных скал
твои железные ботфорты
державный холод приковал!

Устав ступать за величавый
гранитный помыслов порог,
здесь, у пределов крайней славы,
ты стал — замолк — и изнемог.

И, оплывая хмурым оком
недовершенное тобой,
маячишь над судеб потоком
неописуемой судьбой.

1911

6. СТИХИ С КАРДАМОНОМ

Когда зажгут эти свечи
и дождь ударит о крышу,
какие скучные речи
опять я нынче услышу!

Я снова вспомню о мифах —
извечных спутниках славы,
о птицах-иероглифах,
о тиграх острова Явы.

---

[1] Будете как боги! (лат.) — *Ред.*

Там злые пляшут москиты,
свивая пышные гнезда,
а мне — родные ракиты
холодные застят звезды.

И вас, золотая Джерси,
и вас, чьи очи так сини,
чьи к небу подъятые перси
похожи на апельсины.

Ах, сердце снова так радо
плениться гордою позой!
Тогда на сбор винограда
с кинжалом вы шли и с розой.

Как ваши легкие ноги,
касаясь жаркого лона,
приплясывали по дороге,
топча цветы кардамона!

Я вам подарил ожерелье,
таэли и алый гарус
и вновь за безвестной целью
подъял зазвеневший парус.

Не вы ли на знойных плитах
зовете меня обратно,
что вновь на моих ланитах
горят поцелуев пятна?!

1911

7. НОЧНОЙ ПОХОД

Вере Станевич

Горькие в сердце — миндалины. . .
В черном небе зеркал
нежной звездою вспыхнул блистательный,
взвитый тобой бокал.

Кинута, кинута жизни гостиница;
за миллионы миль,
бешено вздрогнув, за полночь кинется
воющий автомобиль.

Взрежет изглубья вздохами мерными,
ветром исполнит путь;
ты капитаном станешь над верными:
некому нас вернуть!

Губы твои во мрак зароются...
Но — поворот руля, —
низкие горы вдали откроются:
это — опять земля!

1912

8. БЕЗУМНАЯ ПЕСНЯ

Рушится ночь за ночью.
Падай, безумье, падай!
Мы пленены воочью
грозной твоей усладой.

Только метнет прожектор
резкую ясь — и снова
темный уходит Гектор
от очага родного.

В небо бросайтесь, в небо,
грохотом сумрак взроем, —
с нами, кто смертным не был,
кто родился героем!

Там в золотом убранстве,
в мощи вечного пыла
плавает зоркий ястреб —
гонщик яростнокрылый.

Мы ж из-под вечных я́рем,
из-под теснин окружных
разом в него ударим
воем тетив содружных.

1912

9. ГРОЗУВА

Как ты подымаешь железо,
так я забываю слова:
куда погрохочет с отвеса
глухая моя булава?

Как птицы, маячат присловья,
но мне полонянна — одна:
подымет посулы любовья
до давьего дневьего дна.

По крыльям железной жеравы
стекает поимчивый путь,
добычит лихие забавы
ее белометная грудь.

Ветров перемерявши шелком
беззвучий твоих глубину,
я вызвежжусь на небе желклом,
помолньями в мир полыхну —

Чтоб ты, о печале Роксано,
вершала могучий потуст,
ничьею рукой не касанна,
ничьих не касаема уст.

1912
Москва

10

Закат онемелый трепещет,
и сбывшийся день беспокоен.
Там стрелы последние мещет
израненный воин.
Эфир опустелый недвижен
и внемлет безмолвью. . .
Там окна столпившихся хижин
покрыты кровью.

А ночь от восточного склона
недвижными машет крылами:
дыхание темного лона
над нами.

1913

11. ТЕРЦИНЫ ДРУГУ

Борису Пастернаку

Мы пьем скорбей и горести вино
и у небес не требуем иного,
зане свежит и нудит нас оно.

Оратаи и сеятели слова,
мы отдыху не предаемся. Здесь
мы не имеем пристани и крова.

Но прошумит воскреснувшая весь,
слив голоса в зазеленевшем кличе,
и здесь она, бессмертная поднесь —

Вернувшаяся в долы Беатриче!
И радости смиренной и простой
мы слышим отзвуки в старинной притче.

Дерзай, поэт! Недолгой немотой
ответствуют небесные пространства.
Пей вешних трав целительный настой,

Да радостно твое пребудет пьянство.
Когда ж стихом взыграет вдруг оно —
стиху довлеет царское убранство.

Режь злых цепей томящее звено,
спадет, спадет гремучая окова!
Мы пьем скорбей и горести вино

И у небес не требуем иного.

1913

12. ФАНТАСМАГОРИЯ

Н. С. Гончаровой

Летаргией бульварного вальса
усыпленные лица подернув,
в электрическом небе качался
повернувшийся солнечный жернов;
покивали, грустя, манекены
головами на тайные стражи;
опрокинулись тучами стены,
звезды стали, стеная, в витражи;
над тоскующей каменной плотью,
простремглавив земное круженье,
магистралью на бесповоротье
облаками гремело забвенье;
под бичами крепчающей стужи
коченел бледный знак Фаренгейта,
и безумную песенку ту же
выводила полночная флейта.

1913

13. ЗАПОВЕДНАЯ БУЩА

Триневластная твердыня
заневоленных сердец.
Некуда дремлюге ныне,
некуда от шумей деться:
мечутся они во стане,
яреcтвуют на груди.

А в те дни, смеясь, предстанет
везичь везей впереди!

Бунь на поляне Цветляны,
осень взбежала — олень, —
только твои не сгубляны
ясовки, яблочный день;

только твои не срубляны
белые корни небес...

Дивится делу Цветляны
детская доля живес.

1913
Москва

14

Перуне, Перуне,
Перуне могучий,
пусти наши стрелы
за черные тучи.

Чтоб к нам бы вернулись
певучие стрелы,
на каждую выдай
по лебеди белой.

Чтоб витязь бы ехал
по пяди от дому,
на каждой бы встретил
по туру гнедому.

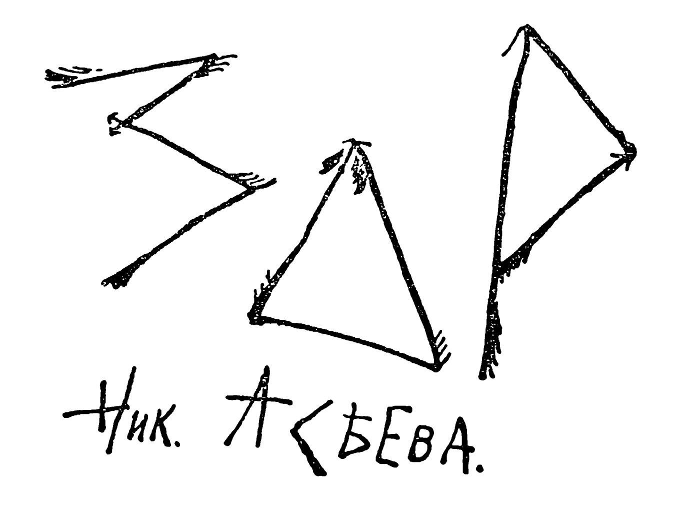
Чтоб мчалися кони,
чтоб целились очи, —
похвалим Перуна,
владетеля мочи.

<1914>

15. НАД ГОПЛОЙ

Дул ли ветер не в лето теплый
или встала иная чара,
что опять над шипучей Гоплой
человечья лютая свара?

Валом валятся в небе тучи,
закипает дождь на осине, —



Книгоиздательство Лирень
на Москвѣ 1914 году.

это хвост ударяет щучий,
пробиваясь сквозь шерешь синий;

Это вновь на пирушке Попель
у дому́, у домо́ви Пяста,
на века загулял и пропил
дорогие княжие яства.

Восставай, Земовит, из нови
на свои веселые ноги,
оброни с величанной брови,
что тебе обещали боги.

<1914>

16

Ой, в пляс, в пляс, в пляс!
Есть князь, князь, князь,
светлоумный, резвоногий,
нам его послали боги!

Ой, ясь, ясь, ясь!
Есть князь, князь, князь!
Как твой первый бег,
буди быстр весь век.

Как ты всех упрежал,
пред тобою кусты
под покровом тьмы
преклонялися,
а до нас добежал,
светлоликий ты, —
пред тобою мы
рассмеялися.

Ой, в пляс, в пляс, в пляс!
Есть князь, князь у нас,
светлоликий, резвоногий,
нам его послали боги!

<1914>

17. БРЕГОБЕГ

Зазмеившись, проплыла,
грозных вдаль отбросив триста,
в море — памяти скула —
в слезы взмыленная пристань.

Даже высушена соль,
даже самый ветер высох,
но морей немая боль
желтым свистом пляшет в лицах.

И в колени моряка
опрокинув берег плоский,
перережутся века
черным боком миноноски.

Уплывающим — привет,
остающимся — прощенье.
Нас — ни здесь, ни с теми нет,
мы — ведь вечности вращенье!

Июнь 1914
Евпатория

18. И ПОСЛЕДНЕЕ МОРЮ

Когда затмилось солнце,
я лег на серый берег
и ел, скрипя зубами, тоскующий песок,
тебя запоминая
и за тебя не веря,
что может оборваться межмирный волосок.

Вползали любопытно по стенам смерти тени,
и лица укрывала седая кисея...
Я ощущал земли глухое холоденье,
но вдруг пустынный воздух вздохнул и просиял!

Ты чувствуешь в напеве скаканье и касанье?
То были волны, волны! Возникнут и замрут...
Я вспомнил о Тоскане, где царствовать Оксане.

И вот тебе на память навеки изумруд.

Август 1914
Крым

19. ГРАНИЦА

Гляжу с улыбкой раба:
одного за другим под знамена,
грозясь, несет велеба,
взывая вдаль поименно.

Какой человек в подъемнике
подбросился вверх, как мячик? ..
Склонились внезапно домики
для взоров искусно зрячих.

Их много вдали, игрушечных,
свалилось, как черный козырь,
когда от дыханий пушечных
бежали по небу розы.

Светись о грядущей младости,
еще не живое племя! ..
О Время! Я рад, что *я* достиг
держать тебе ныне стремя.

Октябрь 1914
Москва

20. ЗАПЕВАЕТ

Что руки твои упали,
еще ничего не зная,
на осеребь леткой стали,
потеха моя удалая?

Не ты ль поднялась полками
повыморить город мором,
своими свела руками
к его железным заторам?

Устам миловаться сладко,
а сердцу жалеть невместно...
Плыви Колыванью, Златко,
земная моя невесто.

Поход твой поле полечит,
годов перевеяв тридцать...
Сорвет журавеля кречет
к твоей тугой рукавице.

Курись кустом над поляной,
крути железовье кресью,
пока жужжавой каляной
пойму тебя в понебесье.

1914

21. ЗВЕНЧАЛЬ

Тулумбасы, бей, бей,
запороги, гей, гей!
Запороги-вороги —
головы не дороги.

Доломаны — быстрь, быстрь,
похолоним Истрь, Истрь!
Харалужье паново
переметим наново!

Чубовье раскрутим,
разовьем хоругвь путем,
а тугую сутемь
раньше света разметем!

То ли не утеха ли,
соловейко-солоду,
то ли не порада ли,
соловейко-солоду!

По грудям их ехали —
по живому золоту,
ехали, не падали
по глухому золоту!

Соловее, вей, вей,
запороги, гей, гей!
Запороги-вороги —
головы не дороги.

1914

22. ГРЕМЛЬ

Пламенный пляс скакуна,
проплескавшего плашменной лапой;
над душой — вышина,
верхоглавье весны светлошапой.

В этом тихом дождике —
ах, какая жалость! —
ехал на извозчике —
сердце разорвалось.

Не палят сияния
на Иван Великий;
просят подаяния
хитрые калики.

Точат пеню слезную,
а из глоток — пламя,
движут силу грозную,
машут костылями.

«Пейте, пейте бесиво,
сучьи перебежки,
прокатайтесь весело
в чертовой тележке!

Напивайтесь допьяна
бешеною сытой,
а князьевы копья на
попадет упитый!»

Дни и ночи бегая,
не уйдешь от чуда...
Гей, лошадка пегая,
увози отсюда!

Двери глухо заперты,
пожелтели книги,
никогда на паперти
не звенят вериги.

Галстучек горошками
ветриво трепался,
поднимал над рожками,
поднимал три пальца.

Там над половодьями
холодела давечь,
пало под ободьями,
пало тело навзничь.

Над Иваном растет вышина,
то под небом, слезою омытым,
то огонь острогонь скакуна
из весны выбивает копытом.

1914

23. ТУНЬ

М. М. Уречиной

Ты в маске электрической
похаживаешь мимо,
а я — на Дон, на Дон, на Дон
зову тебя очима.

Не сонь моя, не тень моя,
не голос мой не звучен:
я горшими мученьями
во младости замучен.

И там рука, и там нога,
и день меледневеет,

а здесь — брожу, ищу врага,
что встретиться не смеет.

Пустынным палом похоти
перепалило роды,
а ты в милейном хохоте
залащиваешь годы.

На теле на порубанном
похаживает ворон,
и страшно нам и любо нам
сходиться взор со взором.

Не ведаю ни ветра я,
ни холода, ни зноя.
Прими, другиня щедрая,
безмечного героя.

Лежу-лежу, пою-пою,
и ночь моя короче.
Пойдем на Дон, на Дон, на Дон
свести на очи — очи.

1914

24

Не спасти худым ковуям
стольный град.
Нынче ночью зацелуем
ваших лад.

1914

25. И ВОТ ОПЯТЬ ВСЁ ТО ЖЕ

Как черви, плоски и пра́вы,
столпились людские истины,
но гневно краснеют травы,
и лес истлевает лиственный.
Про эти зеленые войны
какой сообщу редакции?
Ведь слишком густой и хвойный
победой в своих рядах сиял.

Не спасти худымъ ко-
вуямъ
Стольный градъ
нынче ночью
зацѣлуемъ
вашихъ ладъ.

1914

НИК. АСѢЕВЪ

Как ставят иконе свечку —
я штык навинчу и вычищу:
иди ко мне, человечку,
большой и злой человечище.
Травой обгорелой стань
ты, голос, глухой меж прочими,
и боль оборви, гортань,
кровавыми свежими клочьями.
А ты, тишина, — ори
и новому миру радуйся
в жару осенней зари,
в горячечном белом градусе!

1914

26. ГУДОШНАЯ

Титлы черные твои
разберу покорничьим,
ай люли, ай люли,
разберу покорничьим.

Духом, сверком, злоем взрой,
убери обрадову,
походи крутой игрой
по накату адову.

Опыланью пореки
радости и почести —
мразовитыя руки
след на милом отчестве.

Огремли глухой посул
племени Баянова,
прослышаем нами гул
струньенника пьяного.

Титлы черные твои
киноварью теплятся,
ай люли, ай люли,
киноварью теплятся.

1914

27. ШЕПОТЬ

Братец Наян,
мало-помалу
выползем к валу
старых времян.

Видишь, стрекач
чертит раскосый.
Желтополосый
лук окарячь.

Гнутся холмы
с бурного скока.
Черное око
выцелим мы.

Братец Ивашко,
гнутень ослаб.
Конский охрап
тянется тяжко.

Млаты в ночи —
нехристя очи.
Плат оболочий
мечет лучи.

Братец Наян,
молвлено слово —
племени злова
сном ты поян.

Я на межу
черныя рати
мги наложу
трое печати.

Первою мгой
сердце убрато.
Мгою другой
станет утрата.

Отческий стан
третьей дымится...
Братец Наян,
что тебе снится?

1914

28. СОРВАВШИЙСЯ С ЦЕПЕЙ

Борису Пастернаку

Мокроту черных верст отхаркав,
полей приветствуем изменой —
еще влетит впотьмах под Харьков,
шипя морской осенней пеной.

И вдруг глаза во сне намокнут,
колеса сдавит рельс узкий,
нагрянет утро, глянут окна
на осень в новом недоуздке.

А подойдешь к нему под Тулой
забыть ладонь на поршне жарком:
осунувшийся и сутулый
в тумане роется огарком.

Но — опылен морскою пеною,
сожрав просторы сна и лени,
внезапно засвистит он: «Генуя!» —
и в море влезет по колени.

18 июля 1915

29. ТОРЖЕСТВЕННО

Разум изрублен. И
скомканы вечностью вежды...
Ты
не ответишь, Возлюбленный,
прежняя моя надеждо.

Но не изверуюсь, мыслями стиснутый
тесными,
нет, не изверуюсь, нет, не изверуюсь.
Реже — но
буду стучать к Тебе, дикий, взъерошенный,
бешеный,
буду хулить Тебя, чтоб Ты откликнулся
песнями!

1915

30. ОБЪЯВЛЕНИЕ

Я запретил бы «Продажу овса и сена»...
Ведь это пахнет убийством Отца и Сына?
А если сердце к тревогам улиц пребудет глухо,
руби мне, грохот, руби мне глупое, глухое ухо!

Буквы сигают, как блохи,
облепили беленькую страничку.
Ум, имеющий привычку,
притянул сухие крохи.

Страннолриимный дом для ветра,
или гостиницы весны —
вот что должно рассыпать щедро
по рынкам выросшей страны.

1915

31. ПОЖАР НА БАРЖЕ

(Пример материализации словообраза)

Мы издали увидели
вещающий тоску,
взлетевший со «Святителя»
раскутанный лоскут.

Матросов смытыми клеймами
играют влажные волн ямы.
«Великомученик Пантелеймон»
исписан синими молниями.

Стал еще святее, надев, ушкуй,
золотой косматый венок.
Ветер вертит огонь, как девушку,
у ее задыхаясь ног.

Последней водой лелеемый,
в половине четвертого,
падает «Пантелеймон»,
мачты медленно перевертывая.

1915

32. МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ

Но под чадрою длинною
Тебя узнать нельзя!..

М. Ю. Лермонтов

Видючи — лукавые руки,
знаючи — туманов цвет,
помнючи — предсмертные муки,
слушайте звоночки монет.

Блеянье бедного разбега
(нет, он теперь не высок!) —
тлейте же, волосы Казбека,
счесанные ветром на висок.

Умыйница лиховеселья,
на дикие радость-сердца
зачем наступила газелья,
как воды смутила зерцать?

И медленна и желанна,
и хитростная — щедра,
со уст облетев, неустанно,
опять налетала чадра.

И тот, кто тлеет повержен
за скальной, опасной тропой,
винтовки промерянный стержень
оставил следить за тобой.

Пройди к повороту и скройся
из пыльных недель навсегда.

И, день мой персидский, утройся,
и пеной покройтесь, года!

1915

33. МОРСКОЙ ШУМ

Две слабости: шпилек и килек...
А в горячее лето
море целит навылет
из зеленого пистолета.

Но, схватившн за руку ветер,
позабывшее всё на свете,
в лицо ему мечет и мечет
лето — горячие речи.

О море — как молодец! Весь он
встряхнул закипевшие кудри,
покрытый ударами песен
о гневом зазнавшемся утре.

Ты вся погружаешься в пену,
облизанная валами,
но черную похоти вену
мечтой рассеку пополам я.

И завтра, как пристани взмылят,
как валом привалится грудь, —
навылет, навылет, навылет
меня расстрелять не забудь!

1915

34

Я знаю: все плечи смело
ложатся в волны, как в простыни,
а ваше лицо из мела
горит и сыплется звездами.

Вас море держит в ладони,
с горячего сняв песка,
и кажется, вот утонет
изгиб золотистого виска...

Тогда разорвутся губы
от злой и холодной ругани,
и море пойдет на убыль
задом, как зверь испуганный.

И станет коситься глазом
в небо, за помощью, к третьему,
но брошу лопнувший разум
с размаха далёко вслед ему.

И буду плевать без страха
в лицо им дары и таинства
за то, что твоя рубаха
одна на песке останется.

1915

35. ПОВЕЙ ВОЯНА

(Вступление)

Еще никто не стиснул брови
врагам за думой одолеть их,
когда, шумя стаканом крови,
шагнуло пьяное столетье.

Как старый лекарь ржавым шилом,
увидя знак болезни тяжкой,
он отворил засовы жилам
и бросил сгустки в неба чашку.

Была страна, как новый рой,
курилась жизнь, как свежий улей;
ребенок утренней порой
игрался с пролетавшей пулей.

Один поет любовь, любовь,
любовь во что бы то ни стало!

Другой — мундира голубого
сверкает свежестью кристалла.

Но то — рассерженный грузин,
осиную скосивши талью,
на небо синее грозил,
светло отплевываясь сталью.

Но то — в пределы моряка,
знамена обрывая в пену,
вкатилась вольности река,
смывая гибель и измену.

Еще смертей двойных, тройных
всходил опары воздух сдобный,
а уж труба второй войны
запела жалобно и злобно.

Пускай тоски, и слез, и сна
не отряхнешь в крови и чаде:
мне в ноги брякнулась весна
и молит песен о пощаде.

1916

36

Еще! Исковерканный страхом,
колени молю исполина:
здесь всё рассыпается прахом
и липкой сливается глиной!

Вот день: он прополз без тебя ведь,
упорный, весенний и гладкий.
Кого же мне песней забавить
и выдумать на ночь загадки?

А вечер, в шелках раздушённых
кокетлив, невинен и южен,
расцветши сквозь сотни душонок,
мне больше не мил и не нужен.

Притиснуть бы за руки небо,
опять наигравшее юность,
спросить бы: «Так боль эта — небыль?» —
и — жизнью в лицо ему плюнуть!

Зажать голубые ладони,
чтоб выдавить снежную проседь,
чтоб в зимнем зашедшемся стоне
безумье услышать — и бросить!

А может, мне верить уж не с кем,
и мир — только страшная морда,
и только по песенкам детским
любить можно верно и твердо:

«У облак темнеют лица,
а слезы, ты знаешь, солены ж как!
В каком мне небе залиться,
сестрица моя Аленушка?»

1916

37

Если ночь все тревоги вызвездит,
как платок полосатый сартовский,
проломаю сквозь вечер мартовский
Млечный Путь, наведенный известью.

Я пучком телеграфных проволок
от Арктура к Большой Медведице
исхлестать эти степи пробовал
и в длине их спин разувериться.

Но и там истлевает высь везде,
как платок полосатый сартовский,
но и там этот вечер мартовский
над тобой побледнел и вызвездил.

Если б даже не эту тысячу
обмотала ты верст у пояса, —
всё равно от меня не скроешься,
я до ног твоих сердце высучу!

И когда бы любовь-притворщица
ни взметала тоски грозу мою,
кожа дней, почерневши, сморщится,
так прожжет она жизнь разумную.

Если мне умереть — ведь и ты со мной!
Если я — со зрачками мокрыми, —
ты горишь красотою писаной
на строке, прикушенной до крови.

1916

38. ВЕНГЕРСКАЯ ПЕСНЬ

Простоволосые ивы
бросили руки в ручьи.
Чайки кричали: «Чьи вы?»
Мы отвечали: «Ничьи!»

Бьются Перун и Один,
в прасини захрипев.
Мы ж не имеем родин
чайкам сложить припев.

Так развевайся над прочими,
ветер, суровый утонченник,
ты, разрывающий клочьями
сотни любовей оконченных.

Но не умрут глаза —
мир ими видели дважды мы, —
крикнуть сумеют «назад!»
смерти приспешнику каждому.

Там, где увяли ивы,
где остывают ручьи,
чаек, кричащих «чьи вы?»,
мы обратим в ничьих.

1916

39. ОТКРОВЕНИЕ

Тот, кто перед тобой ник,
запевши твоей свирелью,
был такой же разбойник,
тебя обманувший смиреньем.

Из мочек рубины рвущий,
свой гнев теперь на него лью,
чтоб божьи холеные уши
рвануть огневою болью.

Пускай не один на свете,
но я — перед ним ведь нищий.
Я годы собрал из меди,
а он перечел их тыщи.

А! Если б узнать наверно,
хотя б в предсмертном хрипе,
как желты в Сити соверены, —
я море бы глоткой выпил.

А если его избранник
окажется среди прочих,
как из-под лохмотьев рваных,
мой нож заблестит из строчек.

И вот, оборвав смиренье,
кричу, что перед тобой ник
душистой робкой сиренью
тебя не узнавший разбойник.

1916

40. СКАЧКИ

Жизнь осыпается пачками
рублей; на осеннем свете
в небе, как флаг над скачками,
облако высинил ветер...

Разве ж не бог мне вас дал?
Что ж он, надевши время,

воздух вокруг загваздал
грязью призов и премий!

Он мне всю жизнь глаза ест,
дав в непосильный дар ту,
кто, как звонок на заезд,
с ним меня гонит к старту.

Я обгоню в вагоне,
скрыться рванусь под крышу,
грохот его погони
уши зажму и услышу.

Слышу его как в рупор,
спину сгибая круто,
рубль зажимая в руку
самоубийцы Брута.

1916

41. ПРОКЛЯТИЕ МОСКВЕ

С улиц гастроли Люце
были какой-то небылью, —
казалось, Москвы на блюдце
один только я небо лью.

Нынче кончал скликать
в грязь церквей и бань его я:
что он стоит в века,
званье свое вызванивая?

Разве шагнуть с холмов
трудно и выйти на́ поле,
если до губ полно
и слезы весь Кремль закапали?

Разве одной Москвой
желтой живем и ржавою?
Мы бы могли насквозь
небо пробить державою.

Разве Кремлю не стыд
руки скрестить великие?..
Ну, так долой кресты!
Наша теперь религия!

1916

42

Как желтые крылья иволги,
как стоны тяжелых выпей,
ты песню зажги и вымолви
и сердце тоскою выпей!

Ведь здесь — как подарок царский —
так светится солнце кротко нам,
а там — огневое, жаркое
шатром над тобой оботкано.

Всплыву на заревой дреме
по утренней синей пустыне,
и — нету мне мужества, кроме
того, что к тебе не остынет.

Но в гор голубой оправе
все дали вдруг станут отверстыми,
и нечему сна исправить,
обросшего злыми верстами.

У облак темнеют лица,
а слезы, ты знаешь, солены ж как!
В каком мне небе залиться,
сестрица моя Аленушка?

1916

43

У подрисованных бровей,
у пляской блещущего тела,
на маем млеющей траве
душа прожить не захотела.

Захохотал холодный лес,
шатались ветви, выли дубы,
когда июньский день долез
и впился ей, немея, в губы.

Когда старейшины молчат,
тупых клыков лелея опыт, —
не вой ли маленьких волчат
снега залегшие растопит?

Ногой тяжелой шли века,
ушли миры любви и злобы,
и вот — в полете мотылька
ее узнает поступь кто бы?

Все песни желтых иволог
храни, храни ревниво, лог.

1916

44. ЧЕРЕЗ ГРОМ

Как соловей, расцеловавший воздух,
коснулись дни звенящие твои меня,
и я ищу в качающихся звездах
тебе узор красивейшего имени.

Я, может, сердцем дотла изолган:
вот повторяю слова — все те же,
но ты мне в уши ворвалась Волгой,
шумишь и машешь волною свежей.

Мой голос брошен с размаху в пропасть,
весь в черной пене качает берег,
срываю с сердца и ложь и робость,
твои повсюду сверкнули серьги.

По горло волны! Пропой еще, чем
тебя украсить, любовь и лебедь.
Я дней, закорчившихся от пощечин,
срываю нынче ответы в небе!

1916

45

За отряд улетевших уток,
за сквозной поход облаков
мне хотелось отдать кому-то
золотые глаза веков...

Так сжимались поля, убегая,
словно осенью старые змеи,
так за синюю полу гая
ты схватилась, от дали немея,

Что мне стало совсем не страшно:
ведь какие слова ни выстрой —
всё равно стоят в рукопашной
за тебя с пролетающей быстрью.

А крылами взмахнувших уток
мне прикрыла лишь осень очи,
но тебя и слепой — зову так,
что изорвано небо в клочья.

1916

46. КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА

1

Тобой очам не надивиться,
когда, закатами увит,
на богатырской рукавице
ты — кровью вычервленный щит!

И эти царственные грани,
подъемля древний голос свой,
ведут мой дух в былые брани,
в разгул утехи громовой.

И мнится: к плачущему сыну
склонясь, лукавый Калита
поет грядущую былину
необоримого щита.

2

И мнится: шумною ратью
поем и цедим вино;
и все — крестовые братья,
и все — стоим за одно.

Но вдруг — в разгаре пирушки,
в ответ на далекий рев —
протяжно завоют пушки
с зеленых твоих валов.

И пурпур башни оближет,
ты встанешь — странно светла:
в тот миг мне горло пронижет
замолкнувшая стрела.

1916

47. ПЛЯСКА

Под копыта казака
грянь, брань, гинь, вран,
киньтесь, брови, на закат, —
Ян, Ян, Ян, Ян!

Копья тлеют на западе
у вражьего лика,
размочалься, лапоть
железного лыка.

Закружи кунтуши,
горячее вейло,
из погибшей души
ясного Ягейла.

Закачался туман
не над булавою,
закачал наш пан
мертвой головою.

Перепутались дни,
раскатились числа,
кушаком отяни
души наши, Висла.

Времени двоякого
пыль дымит у Кракова,
в свисте сабель, в блеске пуль
пляшет круль, пляшет круль.

1916

48

Пусть новую вывесят выдумку
над стеклами новых наций,
как будто тому в крови дымку
не всё равно где взорваться.

Все мысли безумием вымыты,
земля опоясалась в гул. . .
Теплейте, холодные климаты,
огнем разряжаемых дул.

Ведь пушки дышали розами,
клубами алых и чайных,
и в битву вступили озими,
пылая маков отчаяньем.

И остров Явы рассерженный
проплыл, сотрясаясь в громах,
и остов яви отверженной
за промахом делал промах.

Но чем заглушу, и смогу ли,
печаль одноногих людей,
из вьюг отлетающих в гуле,
прибитых к забытой беде?

Пусть там, на взлетевших Карпатах,
качаются снега цветы,
но — эти улыбки горбатых
из чертополоха свиты.

И к этому морю ледовитого мужества
путей не найдет ядовитое дружество.

1916

49

Ушла от меня, убежала,
не надо, не надо мне клятв!
У пчел обрываются жала,
когда их тревожат и злят.

Но эти стихи я начал,
чтоб только любить иначе,
и злобой своей не очень
по ним разгуляется осень.

1916

50

Приветствую тучи с Востока,
жестокого ветра любви,
я сжечь не умею восторга,
который мне душу обвил.

На мой ли прикликались вызов
иль слава вас слала сама,
летящие тучи Гафизов,
сошедших от счастья с ума?

Черны и обуглены видом
в персидском в палящем огне,
летите! Я счастья не выдам,
до плеч подаренного мне.

Привет вам, руки с Востока,
где солнце стоит, изомлев,
бледнеющее от восторга,
которого нет на земле.

1916

51

Нынче поезд ушел на Золочев,
ударяясь о рельсы. И вот —
я вставляю стихи на золоте
в опустевший времени рот.

Ты еще задрожишь и охнешь,
когда я, повернув твою челюсть,
поведу паровоз на Мохнач
сквозь колосьев сушеный шелест.

Я вижу этот визг и лязг,
с травою в шуме ставший об локоть,
где бога голубой глаз
глядит на мчащееся облако.

1916

52

Я буду волком или шелком
на чьем-то теле незнакомом,
но без умолку, без умолку
возникнет память новым громом.

Рассыпься слабостью песка,
сплывись беспамятностью глины,
но станут красные калины
светиться заревом виска.

И мой язык, как лжи печать,
сгниет заржавевшим железом,
но станут иволги кричать,
печаль схватившие в клюв за лесом.

Они замрут, они замрут —
последний зубр умолк в стране так,
но вспыхнет новый изумруд
на где-то мчащихся планетах.

Будет тень моя беситься
дни вперед, как дни назад,
ведь у девушки-лисицы
вечно светятся глаза.

1916

53

Я пью здоровье стройных уст
страны мелькающих усмешек;
стакан весны высок и пуст,
его рукою сердца взвешу.

Скажу опять всё то ж и той,
которой вы «да здравствуй» кличьте,
ведь жизнь из платы зажитой
мне всё равно веселье вычтет.

Несу, несу иной закон чинам,
его на свежей я тропе пел;
пускай над каждым днем законченным
раздуют этой песни пепел. . .

Над селами облак высьте рать,
ведь скоро мирам станет дурно;
вам души в слезах надо выстирать
и вывесить сохнуть к Сатурну.

И новых наткав кумачей и камок
из крови ложащихся в бёрдо родов, —
я самую белую выбрал из самок
идущих на смерть городов.

Был лес зацветающих яблонь
для кожи веселой ограблен,

и кос над прозрачною кистью
легли виноградные листья.

Я всё увидел не настоящим.
Где дали синий почтовый ящик,
туда своей жизни письмо понесу,
у туч переняв их грозовый галоп,
и ветер, ударив меня по лицу,
насмешливо свистнет: «Холоп».

1916

54

Осмейте
разговор о смерти,
пусть жизнь пройдет не по-моему
под глупое тявканье пушек
и, неба зрачки наполнив помоями,
зальётся дождем из лягушек.
Я знаю, как алчно б
вы бросились к этой стране,
где время убито, как вальдшнеп,
и дни всё страшней и странней;
и эти стихи стали пачкой летучек,
которых прочесть никому не посметь;
где краской сырою ложится на тучах:
«Оксана — жизнь и Оксана — смерть!»
Чьи губы новы и чьи руки — не вы,
чьи косы длиннее и шире Невы,
как росы упали от туч до травы;
и ветер новых войск —
небывших дней толпа —
ведет межмирный поиск,
где синий сбит колпак.
И эту русую росу,
и эту красную грозу
я первый звездам донесу.

1916

55—56. *ПРЕДЧУВСТВИЯ*

1

Деревня — спящий в клетке зверь,
во тьме дрожит, и снится кнут ей,
но вспыхнет выстрел, хлопнет дверь,
и — дрогнут сломанные прутья...

То было раз — и той поры
зажженных жил так ярок запах!
То не ножи и топоры,
то когти на сведенных лапах.

И только крик — и столько рук
подымутся из древней дали,
и будет бить багор и крюк,
сбивая марево медалей.

И я по лицам узнаю
и по рубашкам кумачовым —
судьбу грядущую свою,
протоптанную Пугачевым.

И на запекшейся губе,
и пыльной, как полынь, и горькой,
усмешку чую я себе,
грозящую кровавой зорькой.

Деревня — опаленный зверь,
во тьме дрожит, и снится кнут ей,
но грянет выстрел, хлопнет дверь,
и — когти брошены на прутья.

2

Какой многолетний пожар мы:
сведенные мужеством брови,
и — стены тюрьмы и казармы
затлели от вспыхнувшей крови.

И кровь эта смелых и робких!
И кровь эта сильных и слабых!
О, жизнь на подрезанных пробках,
в безумия скорченных лапах!

И кровь эта мечется всюду,
и морем ее не отмоют,
и кровь эта ищет Иуду,
идущего с сéребром тьмою.

И вы, говорившие: «Пуль им!» —
и вы, повторявшие: «Режь их!» —
дрожите, прильнувши к стульям,
увидев поход этих пеших.

Кто жаждет напиться из лужиц,
тот встретит преграду потока, —
сумейте же будущий ужас
познать во мгновение ока!

Ведь если пощады в словах нет,
ведь если не выплыть из тины, —
припомните: ржавчиной пахнет
затупленный нож гильотины.

1916

57. ОХОТА

1

Где скрыт от взоров любопытных
мороза цвет — белокопытник, —
я — выбран осени в хорунжие
весны холодной — свежей волей
несу последнее оружие
на огневые крики боли.

На выкрики клювов утиных,
гремящих от тихой реки,
летят на своих паутинах
сквозь синюю даль пауки.

Охотник! Напрасно ты целишь
в летящую дикую прелесть:
прозрачный ломается шерешь,
и — песня со смертью расстрелись,
и смерть, посидевши на мушке,
рассыплет по берегу смушки.

2

Этот лес еще не очень
обожжен и позолочен,
этот день еще не так
полон бегством птиц и птах, —
но, грубостью боли терзаясь,
кричит человечески заяц;
и леса невидную убыль
обрежут косые дробины:
и — падает с дерева дупель
сквозь красные капли рябины;
и тлеют поляны от лая,
от хриплого желтого смеха,
где мчатся лисицы, пылая
летающим пламенем меха;
и воют пришедшие с Волги
веселые сивые волки!

1917

58

Когда качнется шумный поршень,
и небеса поголубеют,
и пронесется низко коршун
над голубиной колыбелью, —
какой немеющей ладонью
сберут небесные одонья?

Владения осеннего тепла,
где смерти сон — приветливый шабер,
и если ты — осенний лист, — не плачь:
опрятен дней расчесанный пробор.

И гребешок из солнечных зубцов,
распутывая кудри облаков,
откроет вдруг холодное лицо.
И это — даль уснула глубоко.

И ветра в сияющем свисте
осыплются звездные листья,
и кисти сияющих ягод
на пальцы берущие лягут.

1917

59. НЕБО РЕВОЛЮЦИИ

Еще на закате мерцали. . .
Но вот — почернело до ужаса,
и всё в небесном Версале
горит, трепещет и кружится.

Как будто бы вечер дугою
свободу к зениту взвез:
с неба — одна за другою
слезают тысячи звезд!

И как над горящею Францией
глухое лицо Марата, —
среди лихорадящих в трансе
луна — онемевший оратор.

И мир, окунувшись в мятеж,
свежеет щекой умытенькой;
потухшие звезды — и те
послов прислали на митинги.

Услышьте сплетенный в шар шум
шагов без числа и сметы:
то идут походным маршем
к земле — на помощь — планеты.

Еще молчит тишина,
но ввысь — мечты и желания,
и вот провозглашена
Великая Океания.

А где-то, как жар валюты,
на самой глухой из орбит,
солнце кровавым Малютой
отрекшееся скорбит!

1917

60. ПРИГЛАШЕНИЕ К ПЛЯСКЕ

Зеленый лед залива скользкий...
Давай пропляшем танец польский?
Но нет! Он сумрачен и сух,
он не звенит, как стертый пенязь:
поблек кунтуш, оплыл кожух,
наш лед обломится, запенясь,
и в зажурчавшую кайму
оденется напрасно весь он,
и этой песни не поймут,
как всех прекрасных, нежных песен.

Еще правдивей и короче
и лучше длинных пустяков
плясать под музыку ороча,
под детский голос остяков.

Тебе же сосны надоели,
пускай свою нам бросит перс тень
и повернет вокруг недели,
как сказочный волшебный перстень,
чтобы тебе могла присниться
небес сияющая кротость,
чтоб снова Будда сел на лотос,
склонив гремящие ресницы.

Пока же здесь — пока мы здесь,
пока стоим в оленьей шкуре,
пока сияет Север весь, —
давай пропляшем танец бури!

1918

61. ОТВЕТ

На мирно голубевший рейд
был, как перчатка, кинут крейсер,
от утомительного рейса
спешивший отдохнуть скорей...

Но не кичитесь, моряки,
своею силою тройною:
тайфун взметает здесь пески —
поэт идет на вас войною!

Пусть взор, склоняющийся ниц,
покорный силе, вас встречает,
но с опозоренных границ
вам стих свободный отвечает.

Твоей красе никто не рад,
ты гость, который не был прошен,
о серый, сумрачный пират,
твой вызов — будущему брошен.

Ты, седовласый капитан,
куда завел своих матросов?
Не замечал ли ты вопросов
в очах холодных, как туман?

Пусть твой хозяин злобно туп,
но ты, свободный англичанин,
ужель не понял ты молчаний,
струящихся со стольких губ?

И разве там, средь бурь и бед,
и черных брызг, и злого свиста,
не улыбалося тебе
виденье Оливера Твиста?

И разве там, средь бурь и бед,
и клочьев мчащегося шторма,
не понял ты, что лишь судьбе
подвластна жизнь и жизни форма?

Возьмешь ли на себя вину
направить яростные ядра
в разоруженную страну,
хранимую лишь песней барда?

Матрос! Ты житель всех широт! ..
Приказу ж: «Волю в море бросьте» —
Ответствуй: «С ней и за народ!» —
И — стань на капитанский мостик!

1918 (?)

62

Еще и осени не близко,
еще и свет гореть — не связан,
а я прочел тоски записку,
потерянную желтым вязом.

Не уроню такого взора,
который — прах, который — шорох.
Я не хочу земного сора,
я никогда не встречу сорок.

Когда ж зевнет над нами осень,
я подожгу над миром косы,
я посажу в твои зеницы
такие синие синицы!

1919

63

Мы пили песни, ели зори
и мясо будущих времен. А вы —
с ненужной хитростью во взоре
сплошные темные Семеновы.

Пусть краб — летописец поэм,
пусть ветер — вишневый и вешний.
«А я его смачно поем,
пурпурные выломав клешни!»

Привязанные к колесу
влачащихся дней и событий,
чем бить вас больней по лицу,
привыкших ко всякой обиде?

О, если бы ветер Венеций,
в сплошной превратившийся вихрь,
сорвав человечий венец их,
унес бы и головы их!

О, если б немая кета
(не так же народ этот нем ли?)
с лотков, превратившись в кита,
плечом покачнула бы землю!

Окончатся праздные дни. . .
И там, где титаны и хаос,
смеясь, ради дальней родни,
прощу и помилую я вас.

Привязанных же к колесу,
прильнувших к легенде о Хаме, —
чем бить вас больней по лицу,
как только не злыми стихами?!

1919

64. МОСКВА НА ВЗМОРЬЕ

Взметни скорей булавою,
затейница русских лет,
над глупою головою,
в которой веселья нет.

Ты звонкие узы ковала
вкруг страшного слова «умрем». . .
А музыка — ликовала
во взорванном сердце моем.

Измята твоих полей лень,
за клетью пустеет клеть,
и росный ладан молелен
рассыпан по небу тлеть.

Яркоголовая правда,
ступи же кривде на лоб,
чтоб пред настающим завтра
упало вчера — холоп!

Чтоб, в облаках еще пенясь,
истаяла б там тоска!
Чтоб город, морей отщепенец,
обрушился в волн раскат!

Над этой широкой солью,
над болью груженых барж —
лишь бровь шевельни соболью —
раздастся северный марш.

Взмахни ж пустыми очами,
в которых выжжена жуть, —
я здесь морскими ночами
хожу и тобой грожу!

1920

65–68. *ЗАРЖАВЛЕННАЯ ЛИРА*

1

Осень семенами мыла мили,
облако лукавое блукало,
рощи черноручье заломили,
вдалеке заслушавшись звукала.

Солнце шлялось целый день без дела.
Было ль солнца что светлей и краше?..
А теперь — скулой едва прордело,
и — закат покрылся в красный кашель.

Синий глаз бессонного залива
впился в небо полумертвым взглядом.
Сивый берег, усмехнувшись криво,
с ним улегся неподвижно рядом...

Исхудавший, тонкий облик мира!
Ты, как тень, безмочен и беззвучен,
ты, как та заржавленная лира,
что гремит в руках морских излучин.

И вот —
завод
стальных гибчайших песен,
и вот —
зевот
осенних мир так пресен,
и вот —
ревет
ветров крепчайших рев...
И вот —
гавот
на струнах всех дерев!

2

Не верю ни тленью, ни старости,
ни воплю, ни стону, ни плену:
вон — ветер запутался в парусе,
вон — волны закутались в пену.

Пусть валится чаек отчаянье,
пусть хлюпает хлябями холод —
в седое пучины качанье
бросаю тяжелый стихов лот.

А мы на волне покачаемся,
посмотрим, что будет, что станет.
Ведь мы никогда не кончаемся,
мы — воль напряженных блистанья!

А если минутною робостью
скуют нас сердца с берегами —
вскипим! И над синею пропастью
запляшем сухими ногами.

3

И, в жизнь окунувшийся разом,
во тьму жемчуговых глубин,
под шлемом стальным водолаза
дыши, и ищи, и люби.

Оксана! Жемчужина мира!
Я, воздух на волны дробя,
на дне Малороссии вырыл
и в песню оправил тебя.

Пусть по дну походка с развальцем,
пусть сумрак подводный так сыр,
но солнце опалом на пальце
сияет на синий мир.

А если не солнцем — медузой
ты станешь во тьме голубой, —
я все корабли поведу
за бледным сияньем — тобой.

4

Тысячи верст и тысячи дней
становятся всё видней...
Тысячи душ и тысячи тел...
Рой за роем героев взлетел.

В голубенький небесный чепчик
с прошивкой облачного кружевца
одевшись,
малый мир
всё крепче
зажать в ручонки землю тужится.

А —
старый мир
сквозь мертвый жемчуг
угасших звезд, что страшно кружатся,
на малыша глядит и шепчет
слова проклятия и ужаса.

1920

69. РОССИЯ ИЗДАЛИ

Три года гневалась весна,
три года грохотали пушки,
и вот — в России не узнать
пера и голоса кукушки.

Заводы весен, песен, дней,
отрите каменные слезы:
в России — вора голодней
земные груди гложет озимь.

Россия — лен, Россия — синь,
Россия — брошенный ребенок,
Россию, сердце, возноси
руками песен забубенных.

Теперь там зори поднял май,
теперь там груды черных пашен,
теперь там — голос подымай,
и мир другой тебе не страшен.

Теперь там мчатся ковыли,
и говор голубей развешан,
и ветер пену шевелит
восторгом взмыленных черешен.

Заводы, слушайте меня —
готовьте пламенные косы:
в России всходят зеленя
и бредят бременем покоса!

1920
Владивосток

70. ПЕРВОМАЙСКИЙ ГИМН

Была пора глухая,
была пора немая,
но цвел, благоухая,
рабочий праздник мая.

Осыпаны снегами,
окутаны ночами,
встречались мы с врагами
грозящими очами.

Но встал свободы вестник,
подобный вешним водам,
винтами мрачных лестниц
взлетевший по заводам.

От слов его синели
и плавились металлы,
и ало пламенели
рабочие кварталы.

Его напевы проще,
чем капли снеготая,
но он запел — и площадь
замолкла, как пустая.

Рабочие России,
мы жизнь свою сломаем,
но будет мир красивей
цветущий Первым маем!

Не серый мрамор крылец,
не желтый жир паркета —
для нас теперь раскрылись
все пять объятий света.

Разрушим смерть и казни,
сорвем клыки рогаток, —
мы правим правды праздник
над праздностью богатых.

Не загремит «ура» у них,
когда идет свобода.
Он вырван, черный браунинг,
из рук врагов народа.

И выбит в небе дней шаг,
и нас сдержать не могут:

везде сердца беднейших
ударили тревогу.

Над гулом трудных будней
железное терпенье
полней и многотрудней
машин шипящих пенья.

Греми ж, земля глухая,
заводов дым вздымая,
цвети, благоухая,
рабочий праздник мая!

1920

71. СЕГОДНЯ

Сегодня — не гиль позабытую разную
о том, как кончался какой-то угодник,
нет! Новое чудо встречают и празднуют —
румяного века живое «сегодня».

Грузчик, поднявший смерти куль,
взбежавший по неба дрожащему трапу,
стоит в ореоле порхающих пуль,
святым протянув заскорузлую лапу.

Но мне ли томленьем ангельских скрипок
завешивать уши шумящего города? —
Сегодня раскрашенных ярко криков
сплошная сквозь толпы идет когорта.

Товарищ — Солнце! Выведи день,
играющий всеми мускулами,
чтоб в зеркале памяти — прежних дребедень
распалась осколками тусклыми.

Товарищ — Солнце! Высуши слез влагу,
чьей луже душа жадна.
Виват! огромному красному флагу,
которым небо машет нам!

1921

72–75. *СТИХИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ*

1

Выстрелом дважды и трижды
воздух разорван на клочья...
Пули ответной не выждав,
скрылся стрелявший за ночью.

И, опираясь об угол,
раны темнея обновкой,
жалко смеясь от испуга,
падал убитый неловко.

Он опускался, опускался,
и небо хлынуло в зрачки.
Чего он, глупый, испугался?
Вон звезд веселые значки,

А вот земля совсем сырая...
Чуть-чуть покалывает бок.
Но землю с небом, умирая,
он всё никак связать не мог!

2

Ах, еще, и еще, и еще нам
надо видеть, как камни красны,
чтобы взорам, тоской не крещенным,
переснились бы страшные сны,

Чтобы губы, не знавшие крика,
превратились бы в гулкую медь,
чтоб от мала бы всем до велика
ни о чем не осталось жалеть.

Этот клич — не упрек, не обида!
Это — волк завывает во тьме,
под кошмою кошмара завидя
по снегам зашагавшую смерть.

Он, всю жизнь по безлюдью кочуя,
изучал издалека врагов
и опять из-под ветра почуял
приближенье беззвучных шагов.

Смерть несет через локоть двустволку,
немы сосны, и звезды молчат.
Как же мне, одинокому волку,
не окликнуть далеких волчат!

3

Тебя расстреляли — меня расстреляли,
и выстрелов трели ударились в дали,
даль растерялась — расстрелилась даль,
но даже и дали живому не жаль.

Тебя расстреляли — меня расстреляли,
мы вместе любили, мы вместе дышали,
в одном наши щеки горели бреду.
Уходишь? И я за тобою иду!

На пасмурном небе затихнувший вечер,
как мертвое тело, висит, изувечен,
и голубь, летящий изломом, как кречет,
и зверь, изрыгающий скверные речи.

Тебя расстреляли — меня расстреляли,
мы сердце о сердце, как время, сверяли,
и как же я встану с тобою, расстрелян,
пред будущим звонким и свежим апрелем?!

4

Если мир еще нами не занят
(нас судьба не случайно свела) —
ведь у самых сердец партизанят
наши песни и наши дела!

Если кровь напоенной рубахи
заскорузла в заржавленный лед —
верь, восставший! Размерены взмахи,
продолжается ярый полет!

Пусть таежные тропы кривые
накаляются нашим огнем...
Верь! Бычачью вселенскую выю
на колене своем перегнем!

Верь! Поэтово слово не сгинет.
Он с тобой — тот же загнанный зверь.
Той же служит единой богине
бесконечных побед и потерь!

1921

76. КУМАЧ

Красные зори,
красный восход,
красные речи
у Красных ворот,
и красный,
на площади Красной,
народ.

У нас пирогами
изба красна,
у нас над лугами
горит весна.

И красный кумач
на клиньях рубах,
и сходим с ума
о красных губах.

И в красном лесу
бродит красный зверь...
И в эту красу
прошумела смерть.

Нас толпами сбили,
согнали в ряды,
мы красные в небо
врубили следы.

За дулами дула,
за рядом ряд,
и полымем сдуло
царей и царят.

Не прежнею спесью
наш разум строг,
но новые песни
все с красных строк.

Гляди ж, дозирая,
веков Калита:
вся площадь до края
огнем налита!

Краснейте же, зори,
закат и восход,
краснейте же, души,
у Красных ворот!

Красуйся над миром,
мой красный народ!

1921

77. СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
(БЕГ)

Друзьям

Наши лиры заржáвели
от дымящейся крóви,
разлученно державили
наши хмурые брови.

И теперь перержавленной лирою
для далеких друзей я солирую:

«Бег
тех,
чей
смех,
вей,
рей,
сей
снег!

Тронь струн
винтики,
в ночь лун,
синь, теки,
в день дунь,
даль, дым,
по льду
скальды!»

Смеяв и речист,
смеист и речав,
стоит словочист
у далей плеча.

Грозясь друзьям усмешкою веселой,
кричу земли далеким новоселам:

«Смотри-ка пристально —
ветров каприз стальной:
застыли в лоске
просты полоски,
поем и пляшем
сиянье наше,
и Север ветреный,
и снег серебряный,
и груди радуг,
игру и радость!

Тронь струн
винтики,

в ночь лун,
синь, теки,
в день дунь,
даль, дым,
по льду
скальды!»

1921

78. ИГРА

За картой убившие карту,
всё, чем была юность светла,
вы думали: к первому марту
я всё проиграю — дотла.
Вы думали: в вызове глупом
я, жизнь записав на мелок,
склонюсь над запахнувшим супом,
над завтрашней парой чулок.
Неправда! Я глупый, но хитрый.
Я больше не стану считать!
Я мокрою тряпкою вытру
всю запись твою, нищета.
Меня не заманишь ты в клерки,
хоть сколько заплат ни расти,
пусть все мои звезды померкли —
я счет им не буду вести.

Шептать мне вечно, чуть дыша,
шаманье имя Иртыша.
В сводящем челюсти ознобе
склоняться к телу сонной Оби.
А там — еще синеют снеги,
светлейшие снега Онеги.
Ах, кто, кроме меня, вечор им
поведал бы печаль Печоры!
Лишь мне в глаза сверкал, мелькал,
тучнея тучами, Байкал.
И, играя пеною на вале,
чьи мне сердце волны волновали?

Чьи мне воды губы целовали?
И вот на губах моих — пена и соль,
и входит волненье, и падает боль,
играть мне словами с тобою позволь!

1921

79–81. *Океания*

1

Вы видели море такое,
когда замерли паруса,
и небо в весеннем покое,
и волны — сплошная роса?

И нежен туман, точно жемчуг,
и видимо мление влаг,
и еле понятное шепчет
над мачтою поднятый флаг,
и, к молу скрененная набок,
шаланда вся в розовых крабах?

И с берега — запах левкоя,
и к берегу льнет тишина? . .
Вы видели море такое
прозрачным, как чаша вина?!

2

Темной зеленью вод бросаясь
в занесенные пылью глаза,
он стоит между двух красавиц,
у обеих зрачки в слезах.

Но не любит тоски и слез он,
мимолетна — зари краса.
На его засвежевший лозунг
развиваются паруса.

От его молодого свиста
поднимаются руки вверх,
на вдали зазвучавший выстрел,
на огонь, что светил и смерк.

Он всему молодому сверстник,
он носитель безумья брызг,
маяками сверкают перстни
у него на руках из искр.

Ополчись же на злую сушу,
на огни и хрип кабаков, —
Океан, загляни нам в душу,
смой с ней сажу и жир веков!

8

Он приставил жемчужный брегет
к моему зашумевшему уху,
и прилива ночного шаги
зазвучали упорно и глухо.

Под прожектор, пронзающий тьму,
озаряющий — тело ль, голыш ли? —
мы по звонкому зову тому
пену с плеч отряхнули — и вышли.

И в ночное зашли мы кафе —
в золотое небесное зало,
где на синей покатой софе
полуголой луна возлежала.

И одной из дежурящих звезд
заказав перламутровых устриц,
головой доставая до люстры,
он сказал удивительный тост:

«Надушён магнолией
теплый воздух Юга.
О, скажи, могло ли ей
сниться сердце друга?

Я не знаю прелестей
стран моих красавиц,
нынче снова встретились,
к чьим ногам бросаюсь».

И, от горя тумана серей, сер
он приподнялся грозным и жалким,
и вдали утопающий крейсер
возвестил о крушении залпом.

Но луна, исчезая в зените,
запахнув торопливо жупан,
прошептала, скользя: «Извините».
И вдали прозвучало: «Он пьян».

1921

82. ВОЛГА

1

Вот пошли валы валандать,
забелелась кипень.
Верхним ветром белый ландыш
над волной просыпан.

Забурлилась, заиграла,
загремела Волга,
закружила влажью вала
кружево восторга.

Нет на свете выше воли,
чем на этих гребнях,
и на них сидеть изволит
пеньявода-Хлебник.

И на них, наплывши тучей,
под трезвон московский,
небо взять в стальные крючья
учит Маяковский.

И влачит Бурлюк-бурлака
баржу вешних кликов,
и дыбятся, у орла как,
перья воли дикой.

А за теми плавят струи
струги струнной вести,
то, опившись песней, — други
распевают вместе!

2

Синяя скважина
в черной земле
смята и сглажена
поступью лет.

Выбита шайками
шумных ватаг,
взвеялась чайками
небо хватать.

Этой ли ветошью
песне кипеть?
Ветром рассвета шью
зорь этих медь!

3

Загули Жигули,
загудели пули,
загуляли кули
посредине улиц.

Заплясали столбы,
полетели крыши:
от железной гульбы
ничего не слышать!

Только дрему спугнешь,
только сон развеешь —
машет алым огнем
Степан Тимофеич!

Машут вверх, машут вниз
искряные взоры...
Перегнись, перегнись
через эти горы!

Разливайся, река,
по белому свету!
Размывай перекат,
пеня песню эту!

1921

83. ЖАР-ПТИЦА В ГОРОДЕ

Ветка в стакане горячим следом
прямо из комнат в поля вела,
с громом и с градом, с пролитым летом,
с песней ночною вокруг села.

Запах заспорил с книгой и с другом,
свежесть изрезала разум и дом;
тщетно гремела улицы ругань —
вечер был связан и в чащу ведом.

Молния молча, в тучах мелькая,
к окнам манила, к себе звала:
«Миленький, выйди! Не высока я.
Хочешь, ударюсь о край стола?!

Миленький, вырвись из-под подушек,
комнат и споров, строчек и ран,
иначе — ветром будет задушен
город за пойманный мой майоран!

Иначе — трубам в небе коптиться,
яблокам блекнуть в твоем саду.
Разве не чуешь? Я же — жар-птица —
в клетку стальную не попаду!

Город закурен, грязен и горек,
шелест безлиствен в лавках менял.
Миленький, выбеги на пригорок,
лестниц не круче! Лови меня!»

Блеском стрельнула белее мела
белого моря в небе волна! . .
Город и говор — всё онемело,
всё обольнула пламенней льна.

Я изловчился: ремень на привод,
пар из сирены. . . Сказка проста:
в громе и в граде прянула криво,
в пальцах шипит — перо от хвоста!

1922

84. ГАСТЕВ

Нынче утром певшее железо
сердце мне изрезало в куски,
оттого и мысли, может, лезут
на стены, на выступы тоски.

Нынче город молотами в ухо
мне вогнал распевов костыли,
черных лестниц, сумерек и кухонь
чад передо мною расстелив.

Ты в заре торжественной и трезвой,
разогнавшей тленья тень и сон,
хрипом этой песни не побрезгуй,
зарумянь ей серое лицо!

Я хочу тебя увидеть, Гастев,
длинным, свежим, звонким и стальным,
чтобы мне — при всех стихов богатстве —
не хотелось верить остальным;

Чтоб стеклом прозрачных и спокойных
глаз своих, разрезами в сажень,
ты застиг бы вешний подоконник
(это на девятом этаже);

Чтобы ты зарокотал, как желоб
от бранчливых маевых дождей;
чтобы мне не слышать этих жалоб
с улиц, бьющих пылью в каждый день;

Чтобы ты сновал не снов основой
у машины в яростном плену;
чтоб ты шел, как в вихре лес сосновый,
землю с небом струнами стянув! ..

Мы — мещане. Стоит ли стараться
из подвалов наших, из мансард
мукой бесконечных операций
нарезать эпоху на сердца?

Может быть, и не было бы пользы,
может, гром прошел бы полосой,
но смотри — весь мир свивает в кольца
немотой железных голосов.

И когда я забиваю в зори
этой песни рвущийся забой, —
нет, никто б не мог меня поссорить
с будущим, зовущим за собой!

И недаром этот я влачу гам
чугуна и свежий скрежет пил:
он везде к расплывшимся лачугам
наводненьем песен подступил.

Я тебя и никогда не видел,
только гул твой слышал на заре,
но я знаю: ты живешь — Овидий
горняков, шахтеров, слесарей!

Ты чего ж перед лицом врага стих?
Разве мы безмолвием больны?
Я хочу тебя услышать, Гастев,
больше, чем кого из остальных!

1922

85. О НЕМ

Со сталелитейного стали лететь
крики, кровью окрашенные,
стекало в стекольных, и падали те,
слезой поскользнувшись страшною.

И был соловей, живой соловей,
он бил о таком и об этаком:
о небе, горящем в его голове,
о мыслях, ползущих по веткам.

Он думал: крылом — весь мир обовью,
весна ведь — куда ни кинешься. . .
Но велено было вдруг соловью
запеть о стальной махинище.

Напрасно он, звезды опутав, гремел
серебряными канатами, —
махина вставала — прямей и прямей
пред молкнущими пернатыми!

И стало тогда соловью невмочь
от полымем жегшей óдуми:
ему захотелось — в одно ярмо
с гудящими всласть заводами.

Тогда, пополам распилив пилой,
вонзивши в недвижную форму лом,
увидели, кем был в середке живой,
свели его к точным формулам.

И вот: весь мир остальной
глазеет в небесную щелку,
а наш соловей стальной,
а наш зоревун стальной
уже начинает щелкать!

Того ж, кто не видит проку в том,
кто смотрит не ветки выше,
таким мы охлынем рокотом,
что он и своих не услышит!

Мир ясного свиста, льни,
мир мощного треска, льни,
звени и бей без умолку!
Он стал соловьем стальным!
Он стал соловьем стальным! . .
А чучела — ставьте на полку.

1922

86. ОБ ОБЫКНОВЕННЫХ

1

Жестяной перезвон журавлей,
сизый свист уносящихся уток —
в раскаленный металл перелей
в словолитне расплавленных суток.

Ты гляди: каждый звук, каждый штрих
четок так — словно, брови наморщив,
ночи звездный рассыпанный шрифт
набирает угрюмый наборщик.

Он забыл, что́ на плечи легло,
он — как надвое хочет сломаться:
он согнулся, ослеп и оглох
над петитом своих прокламаций.

И хоть ночь и на отдых пора б, —
ему — день. Ему кажется рано.
Он качается, точно араб
за широкой страницей Корана.

Как мулла, он упрям и уныл,
как араба — висков его проседь,
отливая мерцаньем луны,
не умеет прошедшего сбросить.

У араба — беру табуны,
у наборщика — лаву металла...
Ночь! Меня до твоей глубины
никогда еще так не взметало!

2

Розовея озерами зорь,
замирая в размерных рассказах,
сколько дней на сквозную лазорь
вынимало сердца из-за пазух!

Но — уставши звенеть и синеть,
чуть вращалось тугое кормило. . .
И — беглянкой блеснув в вышине —
в небе вновь трепетало полмира.

В небе — нет надоедливых пуль,
там, не веря ни в клетку, ни в ловлю,
ветку звезд нагибает бюль-бюль
на стеклянно звенящую кровлю.

Слушай тишь: не свежа ль, не сыра ль? . .
Только видеть и знать захотим мы —
и засветится синий сераль
под зрачками поющей Фатимы.

И — увидев, как вьется фата
на ликующих лицах бегоний, —
сотни горло раздувших ватаг
ударяют за нею в погоню.

Соловей! Россиньоль! Нахтигалль!
Выше, выше! О, выше! О, выше!
Улетай, догоняй, настигай
ту, которой душа твоя дышит!

Им — навек заблудиться впотьмах,
только к нам, только к нам это ближе,
к нам ладонями тянет Фатьма
и счастливыми росами брызжет.

1922

87. ПТИЧЬЯ ПЕСНЯ

Борису Пастернаку

Какую тебе мне лесть сплесть
кривее, чем клюв у клеста́?
И как похвалить тебя, если
дождем ты листы исхлестал?

Мы вместе плясали на хатах
безудержный танец щегла. . .

И всех человеческих каторг
нам вместе дорога легла.

И мне моя жизнь не по нраву:
в сороку, в синицу, в дрозда, —
но впутаться в птичью ораву
и — навеки вон из гнезда!

Ты выщелкал щекоты счастья,
ты иволгой вымелькал степь,
меняя пернатое платье
на грубую муку в холсте.

А я из-за гор, из-за сосен,
пригнувшись, — прицелился в ночь,
и — слышишь ли? — эхо доносит
на нас свой повторный донос.

Ударь же звончей из-за лесу,
изведавши все западни,
чтоб снова рассвет тот белесый
окрасился в красные дни!

1922

88

Совет ветвей, совет ветров,
совет весенних комиссаров
в земное черное нутро
ударил огненным кресалом.

Губами спеклыми поля
хлебнули яростной отравы,
завив в пружины тополя,
закучерявив в кольца травы.

И разом ринулась земля,
расправив пламенную гриву,
грозить, сиять и изумлять
не веривших такому взрыву.

И каждый ветреный посыл
за каждым новым взмахом грома
летел, ломал, срывал, косил —
что лед зальдил, что скрыла дрема.

И каждый падавший удар
был в эхе взвит неумолканном:
то — гор горячая руда
по глоткам хлынула вулканным.

И зазмеился шар земной
во тьме миров — зарей прорытой...
«Сквозь ночь — со мной,
    сквозь мир — за мной!» —
был крик живой метеорита.

И это сталось на земле,
и это сделала страна та,
в которой древний разум лет
взмела гремящая граната.

Пускай не слышим, как летим,
но если сердце заплясало, —
совет весны неотвратим:
ударит красное кресало!

1922

89. НАИГРЫШ

От Гра́йворона до Звенигорода
эта песня была переигрывана.
В ней от доньего дня до поволжьина
крики «стронь-старина» в струны вложены.
Всё, что было твердынь приуральных,
все лежат, как скирды, пробуравлены.
Изломи стан, гора, хребет Яблоновый,
утекай, Ангара, от награбленного!
Ветер, жги, ветер, рви, ветер, мни-уминай,
разбирай семена, раздирай имена,
раскромсай, разбросай города в города,
вей, рей, пролетай, свою жизнь коротай!

1922

90. СОБАЧИЙ ПОЕЗД

1

Стынь,
стужа,
стынь,
стужа,
стынь,
стынь,
стынь!
День —
ужас,
день —
ужас,
день,
день,
динь!
Это бубен шаманий,
или ветер о льдину лизнул?
Всё равно: он зовет, он заманивает
в бесконечную белизну.
Арроэ!
Аррроэ!
Арррроэ!
В ушах — полозьев лисий визг,
глазам темно от синих искр,
упрям упряжек поиск —
летит собачий поезд!
Арроэ!
Аррроэ!
Арррроэ!
Аррррроэ!

2

На уклонах — нарты швыдче. . .
Лишь бичей привычный щелк.
Этих мест седой повытчик —
затрубил слезливо волк.

И среди пластов скрипучих,
где зрачки сжимает свет,
он — единственный попутчик,
он — ночей щемящий бред.
И он весь —
гремящая песнь
нестихающего отчаяния,
и над ним
полыхают дни
векового молчания!
«Я один на белом свете вою
зазвеневшей древле тетивою!»
— «И я, человек, ловец твой и недруг,
также горюю горючей тоскою
и бедствую в этих беззвучья недрах!»
Стынь,
стужа,
стынь,
стужа,
стынь,
стынь,
стынь!
День —
ужас,
день —
ужас,
день,
день,
динь!

8

Но и здесь, среди криков города,
я дрожу твоей дрожью, волк,
и видна опененная морда
над раздольем Днепров и Волг.
Цепенеет земля от края
и полярным кроется льдом,
и трава замирает сырая
при твоем дыханье седом,
хладнокровьем грозящие зимы
завевают уста в метель...

Как избегнуть — промчаться мимо
вековых ледяных сетей?
Мы застыли
у лица зим.
Иней лют зал —
лаз тюлений.
Заморожен —
нежу розу,
безоружен —
нежу роз зыбь,
околдован:
«На вот локон!»
Скован, схован
у висков он.
Эта песенка — синего Севера тень,
замирающий в сумраке перевертень,
но хотелось весне побороть в ней
безголосых зимы оборотней.
И, глядя на сияние Севера,
на дыхание мертвое света,
я опять в задышавшем напеве рад
раззвенеть, что еще не допето.

4

Глаза слепит от синих искр,
в ушах — полозьев зыбкий свист,
упрям упряжек поиск —
летит собачий поезд!..
Влеки, весна, меня, влеки
туда, где стынут гиляки,
где только тот в зимовья вхож,
кто в шерсти вывернутых кож,
где лед ломается, звеня,
где нет тебя и нет меня,
где всё прошло и стало
блестящим сном кристалла!

1922

91. В СТОНЫ СТАЛИ

В стоны стали погруженным,
в шепот шкива, в свист ремня,
как мне кинуть по «Гужонам»
радость искрой из кремня?

Как мне выбить, вырвать, вызвать,
не успевши затвердеть,
из-за лязга, из-за визга
дрожь у тысячи сердец?

Ты о чем замолк, формовщик?
Выбей годы в звон листа!
За тебя теперь бормочет
закипающая сталь.

Тугоплавкого металла
зачерпни и пей до дна:
ведь и этой песни алой
влага горлу холодна.

Если горло стало горном,
день — расплавленным глотком,
надо выть огнеупорным,
мир тревожащим гудком.

Надо вызнать кранов скрежет,
протереть и приладнять
всё, что треплет, кружит, режет
болью будущего дня.

Пусть же все колеса сразу
затрепещут, зазвенят —
сложат песню — к фразе фразу, —
прокатив через меня!

1923

92. РАБОТА

Ай, дабль, даблью.
Блеск домн. Стоп! Лью!
Дан кран — блеск, шип,
пар, вверх пляши!

Глуши котлы,
к стене отхлынь.
Формовщик, день, —
консервы где?

Тень. Стан. Ремень,
устань греметь.
Пот — кап, кап с плеч,
к воде б прилечь.

Смугл — гол, блеск — бег,
дых, дых — тепл мех.
У рук пристыл,
шуруй пласты!

Медь — мельк в глазах.
Гремит гроза:
Стоп! Сталь! Стоп! Лью!
Ай, дабль, даблью!!

1923

93. МАРШ БУДЕННОГО

С неба полуденного
жара не подступи,
конная Буденного
раскинулась в степи.

Не сынки у маменек
в помещичьем дому,

выросли мы в пламени,
в пороховом дыму.

И не древней славою
наш выводок богат —
сами литься лавою
учились на врага.

Пусть паны не хвастают
посадкой на скаку, —
смелем рысью частою
их эскадрон в муку.

Будет белым помниться,
как травы шелестят,
когда несется конница
рабочих и крестьян.

Всё, что мелкой пташкою
вьется на пути,
перед острой шашкою
в сторону лети.

Не затеваем бой мы,
но, помня Перекоп,
всегда храним обоймы
для белых черепов.

Пусть уздечки звякают
памятью о нем, —
так растопчем всякую
гадину конем.

Никто пути пройденного
назад не отберет,
конная Буденного,
армия — вперед!

1923

94. НОВАЯ «КАРМАНЬОЛА»

Как в шестнадцатом году,
ненавистном и проклятом,
значит — нам уж на роду
жаться к дырам и заплатам?

Значит — как ни хлопочи,
как «Дубинушку» ни ухай,
а затянут нэпачи
золотою цепью брюхо?

Значит — вновь буржую ржать,
плавя солнце на панаме,
а тяжелая баржа
знай вытягивайся нами?

Нет! Вскипает «Карманьола»
красным заревом обид,
наших дней весны веселых
здесь никто не оскорбит!

> На фонарь, фонарь, фонарь
> тусклых буден злую старь!
> К фонарю от фонаря
> рвись, фригийская заря!

Этих красных шапок сполох
из кирпичных длинных труб
мы волной усилий спорых
раскидаем на ветру.

И восставшие предместья,
сжав подошвой произвол,
хлынут пламенною местью —
местью мощных производств.

Мы взнесем железный вотум
до белесых облаков.
«Карманьола», дай работу
сотням звонких каблуков!

Пусть иных не будет песен.
Кто свободен? Все вперед!
Смолк угрюмо черный Эссен, —
встань, Донбасс, в его черед!

На фонарь, фонарь, фонарь
тусклых буден злую старь!
К фонарю от фонаря
рвись, фригийская заря!

1923

95. БЫК

1

Ворочая
тяжелыми белками
кровавых глаз,
свирепствуя,
ревя,
не умолкая,
идет рассказ.
Он землю рвет,
он бьет песок,
которым
затушит жар,
бросаясь
за вертлявым пикадором
на блеск ножа.
Все ждут, все ждут:
когда ж начнет он падать,
скользя в грязи,
и первая
Испании эспада
его сразит.
Она блеснет
язвительным укусом
сквозь трепет лет,
и ноги,
ослабев,
уволокутся
в тугой петле!

2

Откуда ты?
Зачем тебя мне надо,
разбитый хрящ?
Иди сюда,
багряная Гренада,
взвивай
свой плащ!
Вот так и мне
блеснут,
зрачки заполнив,
и песнь
и страсть,
вот так и мне —
в рукоплесканьях молний,
вздохнув —
упасть.
Ведь жить
и значит:
петь, любить и злиться
и рвать в клочки,
пока
глядят оливковые лица,
горят зрачки!
Амфитеатру —
вечная услада
твоя беда...
Иди ко мне,
багровая Гренада,
иди сюда!
Ведь так и жил,
и шел,
и падал Пушкин,
и пел,
пока —
взвивалися горящие хлопушки,
язвя бока.

8

Все ждут, все ждут:
когда ж начнешь ты падать,
еще горящ,
и первая
Испании эспада
проколет хрящ.
Ведь радостнее
всех людских профессий, —
сменясь в лице,
судьбу чужую
взвесив на эфесе,
ударить в цель!

<1924>

96. А. А. АХМАТОВОЙ

Не враг я тебе, не враг!
Мне даже подумать страх,
Что, к ветру речей строга,
Ты видишь во мне врага.
За этот высокий рост,
За этот суровый рот,
За то, что душа пряма
Твоя, как и ты сама,
За то, что верна рука,
Что речь глуха и легка,
Что там, где и надо б желчь, —
Стихов твоих сот тяжел.
За страшную жизнь твою,
За жизнь в ледяном краю,
Где смешаны блеск и мрак,
Не враг я тебе, не враг.

18 апреля 1924

97. ПОЭМА

Стоящие возле,
идущие рядом
плечом
к моему плечу,
сносимые этим
огромным снарядом,
с которым и я лечу!
Давайте отметим
и местность и скорость
среди ледяных широт,
и общую горечь,
и общую корысть,
и общий порыв вперед.
Пора,
разложивши по полкам вещи,
взглянуть в пролет,
за стекло,
увидеть,
как пенится, свищет и блещет
то время,
что нас обтекло.
Смотрите,
как этот крутой отрезок
нас выкрутил
в высоту!
Следите,
как ветер —
и свеж и резок —
от севера
в тыл задул!
Ты, холод,
сильней семилетьем
шурши нам:
поднявшиеся на локтях,
сегодня
мы вновь
огибаем вершину,
названье которой —
Октябрь!

Суровое время!
Любимое время!
Тебе не страшна вражда.
Горой ты встаешь
за тех из-за теми,
кто новое звал и ждал.
Ты помнишь,
как страшно,
мертво и тупо
бульвар грохотал листвой?!
Ты помнишь,
как сумрачно из-за уступа
нагретый мотался ствол?!
Озлобленно-зорко
мы брали на мушку —
кто не был
по-нашему рад,
и ночи не спали,
и хлеба осьмушку
ценили в алмазный карат.
Семь лет
провело не одну морщину,
немало
сломало чувств,
и юношу
превращало в мужчину,
как поросль
в ветвистый куст.
Семь лет
не одни подогнуло колени.
За эти
семь лет —
качнуло Японию,
умер Ленин,
Марс подходил к Земле.
Он вновь поднялся,
Октябрем разбитый,
копейками дней звеня...
(Товарищ критик,
не я против быта,
а быт —
против меня!)

Но нас
Октября приучили были —
бои у Никитских ворот,
прильнувши
к подножкам автомобилей,
сквозь быт
продираться вперед.
Суровое время!
Огромное время!
Тебе не страшна вражда.
Горой ты встаешь
за тех из-за теми,
кто выучил твой масштаб.
Ты, холод,
сильней семилетьем
шурши нам:
поднявшиеся на локтях,
сегодня
мы снова
увидим вершину,
званье которой —
Октябрь!

Октябрь 1924

98. РЕКВИЕМ

Если день смерк,
если звук смолк,
всё же бегут вверх
соки сосновых смол.

С горем наперевес,
горло бедой сжав,
фабрик и деревень
заговори, шаг:

«Тяжек и глух гроб,
скован и смыт смех,
низко пригнуть смогло
горе к земле всех!

Если умолк один,
даже и самый живой,
тысячами роди́н,
жизнь, отмсти за него!»

С горем наперевес,
зубы бедой сжав,
фабрик и деревень
ширься, гуди, шаг:

«Стой, спекулянт-смерть,
хриплый твой вой лжив,
нашего дня не сметь
трогать: он весь жив!

Ближе плечом к плечу, —
нищей ли широте,
пасынкам ли лачуг
жаться, осиротев?!»

С горем наперевес,
зубы тоской сжав,
фабрик и деревень
ширься, тугой шаг:

«Станем на караул,
чтоб не взошли враги
на самую
дорогую
из наших могил!

Если день смерк,
если смех смолк,
слушайте ход вверх
жизнью гонимых смол!»

С горем наперевес,
зубы тоской сжав,
фабрик и деревень
ширься, сплошной шаг!

1924

99. КОНЕЦ ЗИМЕ

Бабахнет
весенняя пушка
с улиц,
завертится
солнечное ядро;
большую
блистающую
сосулю
бросает
в весеннюю грусть и дрожь.
По каплям
разбрызгивается холод,
по каплям
распластывается тень;
уже мостовая
свежо и голо
цветет,
от снега осиротев.
Вот так бы
и нам,
весенним людишкам,
под гром и грохот
летучих лучей
скатиться
по легким
сквозным ледышкам
в весенний
пенный,
льюнный ручей.
Ударил в сердце
горячий гром бы,
и радостью
новых,
свежих времен,
вертушкой
горячей солнечной бомбы
конец зимы
чтоб был заклеймен!

<1925>

100—101. *ДЕКАБРЬСКИЙ ТУМАН*

1

Петербургский
холодный туман:
это день
или это тюрьма?
Головою
спросонья качни:
это свет
или это ночник?
Дым,
как дерево,
тих и кудряв,
а деревья нависли,
как дым,
будто город —
с того декабря —
побелел
и остался седым.
Здесь прощальное небо
темней,
чем в глазах умирающих —
свет,
от морозного пота
камней,
от испарины
сгибнувших лет.
Будто этого утра
заря,
окровавясь,
осталась стоять;
будто всажен
ей в сердце заряд
и кинжала
вошла рукоять;
будто тот же мороз
по спине;
будто им
не в железо врастать, —

на сведенных руках
цепенеть
кандалам
Чернышева моста.

2

Если ты
начинаешь стареть —
в двадцать раз
здесь седеешь скорей;
в невский шелест
рассветом влеком,
ты проснешься
уже стариком.
Сдавит сердце
свинцовый восторг:
это марево
или игра —
эти вздохи
дворцов и мостов,
усыпленных садов
филигрань?!
Это — выдумка
или всерьез? . .
Здесь нельзя
разобрать никому:
сизой сети
седое сырье,
ледяная
рыбацкая муть.
Ни себя,
ни друзей не щадя,
здесь столетье
сходило с ума,
столбенеть
на твоих площадях,
петербургский
студеный туман.

Декабрь 1925

102. СИНИЕ ГУСАРЫ

1

Раненым медведем
мороз дерет.
Санки по Фонтанке
летят вперед.
Полоз остер —
полосатит снег.
Чьи это там
голоса и смех?
«Руку
на сердце свое
положа,
я тебе скажу:
ты не тронь палаша!
Силе такой
становясь поперек,
ты б хоть других —
не себя —
поберег!»

2

Белыми копытами
лед колотя,
тени по Литейному —
дальше летят.
«Я тебе отвечу,
друг дорогой, —
гибель нестрашная
в петле тугой!
Позорней и гибельней
в рабстве таком,
голову выбелив,
стать стариком.
Пора нам состукнуть
клинок о клинок:
в свободу —
сердце мое
влюблено!»

3

Розовые губы,
витой чубук.
Синие гусары —
пытай судьбу!
Вот они,
не сгинув,
не умирав,
снова собираются
в номерах.
Скинуты ментики,
ночь глубока,
ну-ка — вспеньте-ка
полный бокал!
Нальем и осушим
и станем трезвей:
«За Южное братство,
за юных друзей!»

4

Глухие гитары,
высокая речь...
Кого им бояться
и что им беречь?
В них страсть закипает,
как в пене стакан:
впервые читаются
строфы «Цыган»...
Тени по Литейному
летят назад.
Брови из-под кивера
дворцам грозят.
Кончена беседа.
Гони коней!
Утро вечера —
мудреней.

5

Что ж это,
что ж это,
что ж это за песнь?!
Голову
на руки белые
свесь.
Тихие гитары,
стыньте, дрожа:
синие гусары
под снегом лежат!

Декабрь 1925

103. ⟨ ИЗ ЦИКЛА «ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ВОЖДЯ» ⟩

Нету слов об этом...
Песня,
честной будь!
По его заветам
направляй свой путь.

Будь, как можешь, проще
и других скромней.
Вот — опять та площадь
и ряды камней.

И простая кепка,
что весь мир вела,
и тугая,
крепко
сжатая скула.

И в порыве локоть,
как кирка — на слом,
и тревожный клекот
всюду слышных слов.

И — еще бы малость —
этих губ раствор

закрепил, казалось,
всех людей родство.

Но, его не слыша,
этим зимним днем,
песня,
        тише, тише
говори о нем.

Будь простою, песня,
или — с ним замлей:
вы ведь жили вместе
на одной земле.

Проще, песня, проще,
и скромней, скромней.
Вот — опять та площадь
и ряды камней.

Город тот же самый,
тот же самый вид,
только — черной ямой
он насквозь пробит.

Он пробит навылет
черным ломом лет,
и от снежной пыли
леденеет свет.

Леденеют губы,
леденят язык.
Этой песни убыль —
только — лед слезы.

Но у дальних наций
в непробудном сне
неотступно снятся
наши лед и снег.

И, быть может, нашей
немотой над ним

всяких песен краше
мы весь мир сродним.

Будь же проще, песня,
или — с ним замлей:
вы ведь жили вместе
на одной земле.

Не могилу вырой,
замирая, стих, —
смолкнул голос мира,
ветер мира стих.

1925

104. САККО И ВАНЦЕТТИ

Об этом — не песням,
                    а пулям петь...
Попались двое рабочих
                    в сеть.
Я видел снимок —
                    он нем и прост:
Ванцетти и Сакко
                    ведут на допрос.
Деревья шумят,
                    солнце слепит,
песок под ногами,
                    как зуб, скрипит,
как стиснутый
                    в гневе бессильном зуб.
Насквозь этот снимок
                    глаза грызут!

Об этом — не песням,
                    а пулям петь...
Попались ребята
                    в тугую сеть.
Чтоб черное дело
                    было верней —
сгрудились ищейки
                    вокруг парней.

Но — пленные смотрят
смелей и бодрей,
чем те,
у которых наган на бедре,
чем те,
у которых закон и власть,
чем те,
у которых бульдожья пасть.

Об этом — не песням,
а пулям петь...
Попались двое рабочих
в сеть.
Шерифа фалды
летят на ходу.
Имейте, шериф,
встречный ветер в виду!
Жандарм
глаза от стыда уберег:
на пол-лица натянул
козырек;
на левой груди —
полицейский знак...
Зачем?
На прицел попадешь и так!
А дальше —
на снимке расплывчат план,
каким-то мордатым
охвостьем дан.
За что их ведут,
кольцом окружа,
свободной Америки
сторожа?
Об этом знает
бравый жандарм —
он истый янки,
он служит недаром.
Но даже ему,
с отвисшей губой,
страшно
невинных вести на убой.

Об этом — не песням,
а пулям петь...
Сальцедо замучен в тюрьме
насмерть;
Ванцетти и Сакко —
его друзья:
полиция знает,
кого изъять.
Гуманная вещь —
электрический стул.
Но слышен рабочих
тревожный гул!..
Безмолвен этот снимок
и прост:
Ванцетти и Сакко
ведут на допрос...
О чем допрос?
Где искать вины? —
Пусть спросит рабочий
каждой страны.
А если в ответ
лишь смех в перекат —
пусть станет Гудзон
рекой баррикад!

Об этом — пулям,
не песням петь...
Ванцетти и Сакко —
трогать не сметь!

1925

105. ПЕРВОМАЙСКОЕ СОЛНЦЕ

Жуликам
наций разнообразных
не по душе
первомайский праздник.
Для жен их,
пудреных,
одеколонных,
мало поэзии
в наших колоннах.

Но, плечи сомкнув,
за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Нэпманы смотрят —
щурятся еле:
«Эти процессии
нам надоели!
Как в позапрошлом
и в прошлом годе,
ходят,
глаза мозоля,
и ходят!»
Мимо их злобы,
за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Графы,
маркизы,
бароны,
сеньоры,
скройтесь скорее
в семейные норы!
К яркому солнцу
зрачки ваши
слабы,
ниже надвиньте
цилиндры и шляпы.
Полымем вея,
за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Лица заройте
в квартирные плюши,
уши заткните
плотнее и глуше,

чтоб ни одной
не осталося щели,
окна скорей занавешивай,
челядь.
В ногу шагая,
за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Слушайте,
лорды,
банкиры,
сеньоры,
здесь не помогут
замки и затворы!
В сейфы запритесь
тройными ключами —
солнце прощупает
сейфы лучами.
Слишком упорно,
за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Если затвор
ненадежен,
некрепок,
лучшая крепость —
в фамильных склепах.
Там,
превращаясь в пепел и плесень,
этаких
вы не услышите песен.
Там не слыхать,
как, за рядом ряд,
движется мощно
пролетариат.

Там,
средь могильного тлена и праха —
успокоенье
от злобы и страха.

Можно грозиться,
челюсть ощерив, —
солнце
не тронет оскаленный череп.
Вас,
отошедших в наследное лоно,
даже не вспомнит
наша колонна.
Путь свой наметив,
за рядом ряд,
движется дальше
пролетариат.

Ты же,
земля заалевшая,
здравствуй!
Здравствуй
и властвуй,
огонь демонстраций!
Выше краснейте,
лучи и знамена,
вал повернувши
многоременный!
Год за годами,
за рядом ряд,
шествуй,
победный пролетариат!

1925

106. В ТЕ ДНИ, КАК БЫЛИ МЫ МОЛОДЫ...

На жизнь болоночью
плюнувши,
завернутую в кружева,
еще
Маяковский
юношей
шумел,
басил,
бушевал.
Еще не умерший
Хлебников,

как тополи,
лепетал;
теперь
над глиняным склепом его
лишь ветер
да лебеда.
В те дни
мы все были молоды...
Шагая,
швырялись дверьми.
И шли поезда
из Вологды,
и мглились штыки
в Перми.
Мы знали —
будет по-нашему:
взорвет тоской
эшелон!..
Не только в песне
вынашивать,
что в каждом сердце
жило.
И так и сбылось
и сдюжилось,
что пелось
сердцу в ночах:
подернуло
сизой стужею
семейств бурдючных очаг.
Мы пели:
вот отольются им
тугие слезы
веков.
Да здравствует Революция,
сломившая
власть стариков!
Но время,
незнамо,
неведомо,
подкралось
и к нашим дням.

И стала ходить
с подседами
вокруг
и моя родня.
И стала
морщеной кожею
желтеть
на ветках недель.
И стало
очень похоже
на прежнюю
канитель.
Пускай голова
не кружится,
я крикну сам
про нее:
сюда,
молодое мужество,
шугай
с пути воронье!
Скребись
по строчкам линованным,
рассветом озарено,
чтоб стало опять
всё ново нам,
тряхни еще стариной!
Пусть вновь
и вновь отольются ей
седые слезы
веков.
Да здравствует Революция,
сломившая
власть стариков!

1925

107. НОВАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА

Октября
кровавые знамена,
пулями
прошитые насквозь,

разве вспомнишь
всех вас
поименно,
отстоявших
зори над Москвой?!
Разве перечтешь вас,
легших в славе,
разве соберешь
в одном лице,
танками
растоптанные навек,
взятые
мортирой на прицел?!
Расстилаясь
к северу и к югу,
в хмурый вечер,
в смерзшуюся рань,
прорывала
смерть,
и мрак,
и вьюгу —
сердца человеческого ткань.
Пели пули,
били пулеметы,
ветер
упирал ладони в грудь,
век,
казалось,
от тупой ломоты
взгляду
и костям
не отдохнуть.
Дни и вещи
плыли и кружились,
всё неслось вокруг,
как мрак и бред,
но,
растягивая сухожилья,
вы сдержали
мир на Октябре!

Он взмывал
над вами
песней вольной,
неба молодого голубей,
он вставал за вами,
облик Смольный, —
вами взятой воли колыбель.
В злую глушь,
в таежные селенья,
с вышки
Октября
сторожевой
подавал
свой свежий голос
Ленин,
всем понятный,
четкий
и живой.
И опять,
наежившись штыками,
напрягая
сумрачный зрачок,
в тыл врагу
вздымался
каждый камень,
каждый
сердца бившийся клочок.
И на каждом
лесовом завале,
обрывая
трубки у гранат,
вновь и вновь
они голосовали
за тебя,
свободная страна!
Это их
суровые колонны
нынче вышли
на сплошной парад,

это ихней
кровью раскаленной
пышет бантов
красная кора.
Это им,
о прошлом не жалея,
птицей в сердце
бился мир иной,
им,
кто лег
окружьем Мавзолея —
новою кремлевскою стеной!
Октября
кровавые знамена,
пулями
прошитые насквозь,
разве вспомнишь
всех вас
поименно,
отстоявших
зори над Москвой?!
1925

108. ЕЩЕ РАЗ

В Москве
множество глухонемых;
хорошо,
что немы они,
а не мы.
Пишу без умалчивания
и без ханжества,
как мне чувствуется
и как мне кажется.
Голос —
будь он не трубная медь
и не касаясь
поэтовой лиры, —

ведь
с голосом трудно
совсем онеметь,
ходить
и только жестикулировать?
У глухонемых
живые глаза;
им, верно,
есть что
порассказать;
жизнеощущение
не менее нашего,
а вот —
ходи и в себе всё вынашивай.
Слов удивительных
полон рот,
образов
и впечатлений
уйма!
А высказаться —
язык не берет,
не двигается
и на полдюйма.
Чтоб не затевать
бесполезных полемик —
тебе говорю,
молодое племя:
никак нельзя
человечью речь
во рту оставлять,
без отделки коснея;
ее —
не только
хранить и беречь, —
нужно
уметь обращаться с нею.
Вот почему,
говоря о форме,
я стою
на лефистской платформе

и, под давнишнее
критики ржание,
без формы
не чувствую содержания.
Как ни расширить
его границы,
как ни улучшить
его сорта,
без формы —
оно не сойдет
на страницы
из окоченелого рта!

<1926>

109. У МАЯ МОЕГО

У мая моего
лицо худое
и ярок рот
от песни боевой.
И грозные глаза
за льдов слюдою
у мая моего.

У мая моего
и шарф и кепка,
как паруса
над бурной мостовой.
И глянцевая куртка
блещет крепко
у мая моего.

От мая моего
не стану старше,
но, выучась
походке строевой,
совью всех дней
разрозненные марши
у мая моего.

От мая моего
немейте, будни, —
в его дыханье
ветер слоевой.
Нет праздника
свежей и светлолюдней,
чем — мая моего.

Для мая моего
стих тих и тесен, —
в его ли воле
говор краевой? ..
Идите все
просите сил и песен,
берите все
у мая моего!

<1926>

110. ДУРАЦКОЕ ЗВАНЬЕ ПОЭТА...

1

Дурацкое званье поэта
я не уступлю
                никому —
ни грохоту
            Нового Света,
ни славе
          грядущих коммун.
Смотрите —
               какое простое,
веселое слово:
                  весна!
С ней —
          всё остальное —
                          пустое,
с ней —
          каждая строчка
                          ясна,

Сидите,
томитесь,
корпите
на каменном кресле
труда
в надсаде,
в натуге,
в нарпите,
а это ведь —
всё ерунда!
Вот выйти
и выдохнуть разом
всю гарь
человеческих дней
и метить
расширенным глазом
на то,
что больней и родней.

2

Весна
обжигает мне щеки,
за дальнюю тьму
отступив,
за щелканье счетов,
за щекот
пастушьего свиста
в степи,
за давние дни,
за тетради,
где первые звезды
растут;
весна
меня вновь лихорадит
всей свежестью
первых простуд.
И этим простором
простужен
об тело
обсвистанных лет,

я жизнь свою вижу,
как в луже
фонарный
дробящийся
свет.

3

Должно быть,
такое же вроде
шершавое тело
у льва,
что так же,
и гол и юродив,
втесался оскалом
в бульвар,
что так же
подброшен под этот
подъезд
и прыжок этажа,
дурацкое званье поэта
гранитным хребтом
сторожа.

4

Дурацкое званье поэта
нельзя уступить
никому —
ни грохоту
Нового Света,
ни славе
грядущих коммун.
Не то
чтобы выгодно очень,
не то
чтобы славы призыв,
но —
слишком беззвучен,
безмочен
наш радио-тусклый
язык!

Я думал,
что — звезды потушит
летучий поток
этих искр,
а это —
придумали слушать
Неждановой
старенький визг.
Не формул
пресветлые диски
вращают
штурвал рулевой,
а те же
мышиные писки
вывозят нас всех
на кривой.
Я знаю,
что лучшее в мире —
над ВЦИКом
полощущий флаг.
Но ты,
стопудовая гиря,
ты, прошлое,
давишь наш шаг.

5

И я
за дешевую цену
в накрашенный
впутался хор.
«На сцену,
на сцену,
на сцену,
на сцену!» —
зовет бутафор.
Как плотно
настегана вата,
как лживая маска
пестра,

как томно скулит
Травиата
со всех
бесконечных эстрад!
И наших-то дней
неуемных
грозовый
и вольный раскат —
ей дадено
втиснуть в приемник,
чтоб стала
такая тоска!
И памятно
вещее слово
промолнийное
о том,
как — «мертвый
хватает живого»,
прикрывшись
могильным щитом...
В щепу
эти прелые доски!
Седой и слепой
их несет.
Мы сами —
взошли на подмостки
Карпатско-Синайских
высот.

6

А я
наструню
свою рифму,
поставлю на вызов —
весну,
и в ухо далекое
крикну,
и по сердцу
полосану.

И в свежие годы
вольются,
и бодрых поднимут
ребят —
родных сыновей
революций, —
что всех Травиат
истребят.
И это уж будут —
не стансы,
здесь места не станет
игре:
с широковещательных
станций
ударит
громовый декрет!..
Я вижу и чувствую
этот
разыгранный начисто
матч —
меж
званьем дурацким поэта
и розблеском
радийных мачт!

1926

111

Не за силу, не за качество
золотых твоих волос
сердце враз однажды начисто
от других оторвалось.

Я тебя запомнил до́крепка,
ту, что много лет назад
без упрека и без окрика
загляделась мне в глаза.

Я люблю тебя, ту самую, —
всё нежней и всё тесней, —

что, назвавшись мне Оксаною,
шла ветрами по весне.

Ту, что шла со мной и мучилась,
шла и радовалась дням
в те года, как вьюга вьючила
груз снегов на плечи нам.

В том краю, где сизой заметью
песня с губ летит, скользя,
где нельзя любить без памяти
и запеть о том нельзя.

Где весна, схватившись за ворот,
от тоски такой устав,
хочет в землю лечь у явора,
у ракитова куста.

Нет, не сила и не качество
молодых твоих волос,
ты — всему была заказчица,
что в строке отозвалось.

1926

112. ЗАПЛЫВ

У тебя
молодая рука,
пред тобою —
синеет река.
Слушай мудрость
и помни одну:
не стремись
раньше срока
ко дну.
Разве можно
в мечтах изомлеть
на высокой
на этой земле?

Разве можно
тоской истекать
из-за каждого
пустяка?
Если сердце
и солнце —
теплы,
надо прыгать с размаху
и плыть.
Рассекая вразлет
эту тишь,
ты ли —
ласточкой —
сверху летишь?
Легши на бок,
напрягши плечо, —
ты весь мир
за собою влечешь,
постепенно
волной овладев,
на воде,
на веселой воде...
Предо мной —
половина реки,
на меня
еще лгут старики.
Помню мудрость
и знаю одну:
не идти
раньше срока
ко дну.
Не из прихоти,
не из причуд
я в стихе своем
сальто кручу, —
но мне страшно
в мечтах изомлеть
на высокой
на этой земле.

Я не дамся
тоски пустяку
виснуть грузом
и ныть по стиху.
Легши на бок,
напрягши плечо, —
я вперед уплываю
еще,
постепенно
волной овладев,
по веселой
и светлой воде.
И за мной,
не оставив следа,
завивает
воронки
вода.

1926

113. ЧЕРЕЗ ГОЛОВЫ КРИТИКОВ

Товарищ
победоносный класс,
ты меня держишь,
поишь,
кормишь.
Поговорим же
в жизни хоть раз
о содержании
и о форме.
Я тревожной
полон заботой
о своей
стихотворной судьбе:
что ни сделай,
как ни сработай, —
всё,
говорят,
непонятно тебе.
Нет для товара
более вредных,

более
отягчающих рук,
чем коротышки,
какими посредник
переплавляет
на рынок продукт.
В литературе
им полный почет,
их не проймет ни насмешка,
ни жалоба,
ихним стараньем
на рынок течет
уйма товара
позалежалого.
Если ж продукт
не совсем заплеснел,
если не вовсе
он узок и куц, —
цедит посредник:
«Такие песни
не потребляет
рабочий вкус».
Откуда знает
чернильная тля,
вымазавшая
о поэзию лапки,
что пролетарию
потреблять,
а что навсегда
оставлять на прилавке?!
Очень волнуют
отзывы эти,
верю —
лишь твоей целине.
Может, будешь добр
и ответишь:
этот стих —
выкрутас или нет?
Может, и вправду,
на старое падок,
ты отдаешь предпочтение
ветоши?

Может, и нужно
чесателем пяток
стать —
как дядек старинных
последыши?
Я не жалуюсь
и не ною.
Знаю:
посредничья всюду беда.
Только —
как бы
за ихней спиною
хоть иногда
мне тебя увидать?
Врут!
Не может случиться такого,
чтобы,
новым строкам
не рад,
сам себя
в мещаньи оковы
всовывал
пролетариат.
Врут!
Это ты меня
поишь и кормишь,
свежий
победоносный класс.
О содержании
и о форме
ты говоришь мне
с глазу на глаз!
Положи мне
на сердце ладонь
и внимательно
слушай:
видишь —
бьется на сколько ладов,
то отчетливее,
то глуше. . .
Это вовсе
не жалобный жест,

не желанье
смутить и растрогать,
и к тебе —
не расчетливый лжец
прижимается
локтем об локоть.
Это я не хочу
и боюсь
снизить песню
в ремесленный навык,
разорвать наш
веселый союз,
заключенный
в семнадцатом —
навек.
Положи мне
на сердце ладонь,
чтобы пело оно,
а не ныло,
чтобы билось
на сотни ладов
и ни разу
не изменило!

1926

114. ВРЕМЯ ЛУЧШИХ

Памяти Ф. Э. Дзержинского

Время, время,
не твое ли зверство
не дает
ни сил, ни дней сберечь?
Умираем
от разрыва сердца,
чуть прервав,
едва закончив речь...
Умираем
не от слезной муки,
не от давней
раны пулевой, —

умираем,
напрягая руки,
над огромной
ширью полевой.
Как поднять ее
с другими вровень,
как подставить ей
свое плечо,
если
путь ее —
биеньем крови,
а не медом с молоком
течет?
Соль и уголь
залегли пластами...
Как их слить,
в одно соединив,
чтоб сошлись
навек
в одном составе
лязг заводов
с пошелестом нив?
Сердцу тяжко...
Сердце ведь не камень:
напряги —
и дрогнет вперебой
под кулями,
рельсами,
станками,
под своей
и общею судьбой!
Но не рабским,
подневольным пленом
вызван к жизни
этот тяжкий труд.
Нынче, знаю,
встанет мира пленум
на тобою
вызванном ветру!..

Над огромным,
неподвижным краем
время —
лучшим
сердце утомлять...
Умираем?
Нет, не умираем, —
порохом
идем в тебя,
земля!

1926

115. УЛИЧНЫЕ СТИХИ

Из-под
грохотания и рева,
на углу
Тверской и Огарева,
продираясь
к небесам,
с трудом
подрастает
малолетний дом.
В колыбель Москвы
при мне положен,
кожицей
кирпичною багрясь,
этот дом —
уже меня моложе, —
пропитавшегося
в пыль и грязь.
В этом
нету никаких трагедий,
это можно
написать в анкете.
Встану на цыпочки —
вытянусь —
в завтрашнюю
действительность!

Из-за
грохотания и рева
узок
переулок Огарева.
И леса,
леса,
леса,
леса...
Свежие,
веселые тесины.
Весь квартал
вприсядку заплясал
под
пилы зудящей
звук осиный.
Это, —
с облаками заиграв, —
вырастает
новый телеграф.
Из московских
каменных реликвий
нет такой
заманчивой другой;
для меня он
самый развеликий,
самый близкий,
самый дорогой.
Оглянись же на него,
прохожий,
на ничто еще
и не похожий,
будущего
напряженный рост;
будущего
неизвестный остров,
будущего
мыслимый лишь остов:
как упрям он,
как он прям
и прост, —

будущих
видений и судеб
будущий
высокий лицедей!
Мы уйдем с тобой
отсюда вместе. . .
Но уже,
родясь,
играют вести,
вести
из неведомой поры,
той,
в которой
чья-то жизнь иная
взглянет на него,
припоминая
наши пилы,
наши топоры!

1926

116. МОСКВОРЕЦКИЕ ЧАСТУШКИ

На Москву да на реку
светит по фонарику —
с каждого пролетца
свет на воду льется.

Я на Каменном мосту
и гуляю и расту,
только мне не вырасти:
очень много сырости.

За мостом на Балчуге
молодые мальчики,
молодые, русые,
бритые, безусые.

Как вас по имени,
как вас по отчеству,
как ваша фамилия? —
очень знать нам хочется.

Хоть и очень интересно, —
не вступаю в разговор
с незнакомым, неизвестным:
может, жулик либо вор.

Автобусы идут
номерованные.
Ох, думки мои,
замурованные.

Возьми меня вывези,
что ж я здесь на привязи?
Поскорее вывози,
не завязни во грязи.

Как у нас на Яузе
ходят тенью кляузы,
под стеной столетнею
вьется плесень сплетнею.

Побегу я на реку,
поклонюсь фонарику:
посвети мне, друг фонарик,
чтоб не сбиться мне с пути.

Светит город за рекой,
до него подать рукой,
если б встрелся провожатый —
хоть ледащенький какой.

Чтобы встрелся на дороге
вежливый, воспитанный,
чтобы был бы без мороки
в жизни друг испытанный.

Ах, Чистые пруды,
тяжелые труды.
Разметались мои мысли,
заплуталися следы.

<1927>

117. ЧУНДА[1]

(Крымская, лодочная)

На море
сиреневая дымка
обнимает
свежестью сырою;
выходи
на взморье,
караимка,
повстречаться
с утренней зарею.
Распущу
я чунду — белый парус,
чтоб тебя
на ялик
взять с полшага;
далеко еще
седая старость
бродит
за хребтами
Чатыр-дага.
Приезжают
из Москвы франтихи,
с них от солнца
облезает шкура,
просят:
«Если волны будут тихи,
покатай нас
этой ночью, Юра».
Я поставлю
чунду — белый парус.
Поплыву
на раковое поле,
только знай,
любовь моя и ярость,
с ними
я уехал поневоле.

[1] Чунда — по-новогречески косой парус.

Если с них
снимает кожу
солнце,
я спущу с них
белой шкуры вдвое,
чтоб на их
хрустящие
червонцы
зиму без нужды
прожить с тобою.
Распущу я
чунду —
белый парус,
их на борт
перенесет без трапа.
Громоздились
волны
ярус в ярус,
не за что
глаза мои
царапать.
Пред тобою
я не стану хвастать,
не люблю я
этакого груза,
я б не взял их
даже для балласта,
все они —
как мертвые медузы.
Распущу я
чунду —
белый парус,
положу
корму
под свежий ветер,
не отвечу,
как бы ни старались,
чтоб
на их улыбку
я ответил.

Чтоб
тебе
обуться
и одеться,
обгоняю
я любую лодку,
будет любоваться
вся Одесса
на твою
тяжелую
походку.
Я поставлю
чунду —
белый парус,
чтобы
в ялик взять тебя
с полшага;
далеко еще
седая старость
бродит
за хребтами
Чатыр-дага.
<*1927*>

118—121. *ГОРОДУ*

1

Это имя —
как гром
и как град:
Петербург,
Петроград,
Ленинград!
Не царей,
не их слуг,
не их шлюх
в этом городе
слушай, мой слух.

И не повесть
дворцовых убийств
на зрачках
нависай и клубись.
Не страшны и молчат
для меня
завитые копыта
коня.
И оттуда,
где спит равелин,
засияв,
меня дни увели.
Вижу:
времени вскрикнувший в лад,
светлый город
болот и баллад;
по торцам
прогремевший сапог,
закипающий
говор эпох;
им
в упор затеваемый спор
с перезвоном
серебряных шпор
и тревожною ранью —
людей,
онемелых
у очередей.

2

Товарищи!
Свежей моряной
подернут
широкий залив.
Товарищи!
Вымпел багряный
трепещет,
сердца опалив.
Товарищи!
Долгие мили

тяжелой
соленой воды
давно с нас слизали
и смыли
последнего боя
следы.
Но память —
куда ее денешь? —
те гордые
ночи хранит,
как бился тараном
Юденич
о серый
суровый гранит.
И вспомнив, —
тревожно и споро
и радостно
биться сердцам,
как,
борт повернувши,
«Аврора»
сверкнула зрачком
по дворцам.
И после,
как вьюга шутила,
снега
на висок зачесав,
как горлом студеным
Путилов
кричал
о последних часах...
Об этом
неласковом годе
запомнив
на тысячу лет,
он,
вижу,
молчит и уходит
в сереющий
утренний свет.
Товарищи!
Крепче за локти.

О нем еще память —
свежа.
Глядите,
как двинулся к Охте;
смотрите,
чтоб он не сбежал,
единственный
город Союза,
чей век
начинался с него,
соча свои слезы
сквозь шлюзы,
сцепивши
мосты над Невой.

3

Он на дали сквозные —
мастак,
он построен
на ровных местах.
Но забыт
и никем не воспет
заревой
и вечерний проспект.
Он оставлен
той ночью в полон
корабельных
зеленых колонн.
Он оставлен
навеки тайком
пробавляться
солдатским пайком.
Но не спится ему
по утрам
под давящей ладонью
Петра.
И Лодейною улицей
в док
пролетает
тревожный гудок.

И когда
прибывает Нева,
он бормочет
глухие слова.
Он снимается с места.
И вот
он шумит,
он живет,
он плывет.
И его уже нету...
Лишь гул
одичалой воды
доплеснул.
Лишь —
от центра на острова
бьется грудью
с гранитом трава.

4

Стой!
Ни с места!
Будешь сыт!
Жить без города нам —
стыд.
Разведешь
меж островами
снова
легкие мосты.
Видишь:
дым хвостами задран,
скручен прядью
на виске.
То —
балтийская эскадра
по твоей
дымит тоске.
Военморы!
Полный ход.

Глубже,
глубже,
глубже
лот.
Вы ведь
городу большому —
мощь,
защита
и оплот.
По морям,
морям,
морям,
нынче здесь,
а завтра там!
Ты им
старшим братом будешь,
всем
восставшим городам!
Кораблей военных
контур,
расстилая низко дым,
вновь скользит
по горизонту.
Ленинград!
Следи за ними.
Обновив и век
и имя,
стань навечно
молодым!

1925—1927

122. ЗВЕНИ, МОЛОДОСТЬ

Звени, звени, молодость,
сильная да злая,
жизнь твоя веселая,
полная до края.

Только помни, молодость, —
не без края весен,

станет свистом, холодом
свет непереносен.

Станут тучи серые
над тобой метаться,
станет ночи целые
думаться, не спаться.

Звени, звени, молодость,
свежая да злая,
имя свое легкое
хвастая и славя.

Только что тут выдумать,
если всё едино
видимо-невидимо
в голове сединок.

Губы мои лю́бые,
вы уже не прежни:
вовсе стали грубые,
а бывали нежны.

Звени, звени, молодость,
быстрая да злая,
звездами да грозами
дополна пылая.

Видно, впрямь нездорово
конному опешить,
голову, как олово,
на ладони вешать.

Как ее ни вешаешь
низко на ладони, —
всё равно не сделаешь
снова молодою.

Раззвенись же, молодость,
до глухого места,
помоги мне с осенью
сдуматься и спеться.

1927

123. МОСКВИЧИ

1

Своею,
совсем особою кастою —
чужие придут —
сгорим от свечи, —
жили лобастые
и очкастые
закоренелые
москвичи.
На Сивцевом Вражке,
на Старо-Конюшенном
и дальше
за тусклым просветом реки
еще и теперь
могут быть обнаружены
их старые гнезда —
особняки.
Носители славы
и знания светочи,
они
родовое хранили лицо
среди
дорогой им
наследственной ветоши,
покрытой душистой
истлелой пыльцой.
Всем семейством,
за компанию,
ездили в баню.
Всей Москвою
правили свадьбищи,
и, отсияв,
отплясав,
отгорев,
род за родом
сбирался на кладбище
тем же цугом
фамильных карет.
Трещали комоды
пузатого дерева,

ложились
пасьянсовых карт
веера,
и маятник
грузное время отмеривал
над хитрыми
росчерками пера.
Так проходило
лет полсто́,
и в перебродившем
вине поколений,
скопившись в застое
довольства и лени,
крепчал,
зародившись,
Лев Толстой.
Он,
будто ударить страшась,
за пояс
засунув
огромную руку-клешню,
вставал,
распирая
и полня собою
дубового века
тугую квашню.

2

Быть может,
они и взаправду сгорели,
когда,
разливая весенний галдеж,
от плоских Башкирий,
от тусклых Карелий
пришла
непонятливая молодежь.
Пришла,
молодыми плечьми
колыхая,
и из-под верблюжьих шерстей
и овчин

глядит,
запрокинув свои малахаи:
«Учи нас
науке своей,
москвичи».
Ей хочется
нынешней новины
свежей, —
как ноздри оленя,
парной и простой.
А мы ей:
«Постой, товарищ,
а где же
таящийся
среди вас Толстой?
Чтоб он появился —
под нашей опекой
концерты послушай,
музей обегай.
Чтоб ты научился
переживать
к следующей зиме —
выслушай лекцию
о кружевах.
Выучи
метр и размер:
«Ветром густым
ломит кусты,
мчится стрелой
олень.
Я на весу
пулю несу,
мог бы догнать,
да лень.
Что мне бежать,
если свежа
вечера
сонь и тень.
Это не лес —
города блеск,
это — трамвай, —
не олень».

8

Когда возвращался
какой-нибудь пьяненький,
от вин,
почета
и времени дряхл,
он был раздеваем
столетнею нянькой
в повойнике пестром
на серых кудрях.
А эти —
не требуют наблюдений,
крепки их клыки
и упруга рука.
Высок и росист
рассиявшийся день их,
и ночь их спокойна
и глубока.
До их кочевого
тревожного быта
еще не коснулся
бродильный застой.
Из них не придет —
на носу зарубите —
ни Пушкин,
ни Гоголь,
ни Лев Толстой.
Мы — молодость мира,
мы только на старте,
мы только
от города
взяли ключи,
и вы нас
не гните,
вы нас
не старьте,
мы —
новых повадок и дел
москвичи.
Болота и пустошь,
тайга и избушки...

Пожалуйста,
вы им
не делайте сцен.
Наш Гоголь,
наш Гейне,
наш Гете,
наш Пушкин
сидят,
изучая
политику цен.
Довольно ходить
поколению с соской!
В ответ на язвительный
старческий смех
мы нянькам ответили:
«Наш — Маяковский,
с бульвара
плечьми
протолкавшийся в век.
Мы с ним
не потупимся
прищурью зоркой,
и мы не сгорим
от грошовой свечи,
с обношенной шапкой,
с обглоданной коркой,
мы,
новой формации москвичи!»

1927

124. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

Довольно
в годы бурные
глухими
притворяться:
идут
литературные
на нас
охотнорядцы.

Одною скобкой
стрижены,
сбивая
толпы с толка,
идут они
на хижины
Леф-поселка.
Распаренные
злобою,
на всех,
кто смел родиться, —
грудятся
твердолобые
защитники
традиций.
Смотрите,
как из плоского
статьи-кастета —
к громам
душа Полонского
и к молниям
воздета.
Следите,
как у Лежнева, —
на что уж
робок, —
тусклеет
злее прежнего
зажатый обух.
Как с миной
достохвальною,
поднявши еле-еле,
дубину
социальную
влачит Шенгели.
Коснись,
коснись багром щеки,
взбивай
на пух перины.

Мы знаем вас,
погромщики,
ваш вид
и вой звериный.
Вы будто
навек стаяли,
приверженники Линча,
но вновь,
собравшись стаями,
на нас идете
нынче.
Вы будто
были кончены —
тупое племя,
защитники
казенщины,
швейцары
академий.
Вы словно
в даль Коперника
ушли
и скрылись,
но вновь
скулите скверненько
с-под ваших крылец.
В веках
подъемлют зов они,
им нет урона.
Но мы
организованы.
Мы —
самооборона!
Чем злее вы,
тем лучше нам,
тем крепче
с каждым годом,
привыкшим
и приученным
к дубинам
и обходам.

Чем диче
рев и высвисты,
чем гуще
прет погромщик,
тем
песню сердца вызвездим
острей
и громче!
1927

125. ЗА СИНИЕ ДНИ

В Крыму расцветают черешни и вишни,
там тихое море и теплый прибой.
А я, никому здесь не нужный и лишний,
не знаю, как быть и что делать с собой.

А я пропадаю за милую душу,
за милую душу, за синие дни;
ночую без крыши и сплю без подушек,
скитаюсь без цели, живу без родни.

На Курском вокзале — большие составы,
доплаты за скорость платить не могу.
А мне надоело стрелять у заставы,
на темном подъезде, на желтом снегу.

Уже декапод нажимает на рельсы,
уходит на юг, как и в прошлом году. . .
Смотри, беспризорник, вернее нацелься,
ныряй под вагон на неполном ходу.

Залягу жгутом в электрический ящик,
от сажи и пыли, как кошка, рябой;
доеду — добуду краев настоящих,
где тихое море и теплый прибой.

Доеду — зароюсь в горячий песочек,
от жаркого солнца растает тоска;
доеду — добуду зеленую Сочу,
зеленую Сочу и Нову Аскань.

Нас пар не обварит и смерть не задушит,
бригада не выгонит из западни.
Мы здесь пропадем за милую душу,
за милую душу, за синие дни.

1927

126. ДЕСЯТЫЙ ОКТЯБРЬ

Дочиста
пол натереть и выместь,
пыль со стола
убрать и смахнуть,
сдуть со стихов
постороннюю примесь
и —
к раскрытому настежь окну.
Руки мои —
чтоб были чи́сты,
свежестью —
чтоб опахнуло грудь.
К сердцу
опять подступают числа:
наших дней
начало и путь.
Сумерки
кровли домов одели...
В память,
как в двор ломовик, тарахтя,
грузом навьючив
дни и недели,
вкатывается
Десятый Октябрь.
Тысячи строк,
совершая обряд,
будут его возносить,
славословя.
Я же
тропу моего Октября
вспомню,
себя изловив на слове

«искренность»...
Трепет летучих искр,
искренность —
блеск непогасшей планеты.
Искренность —
это великий риск,
но без нее
понимания нету.
Искренность!
Помоги моему
сердцу
жар загорнуть и выскресть,
чтоб в моем
неуклюжем уму
песня вздышала,
томясь и искрясь.
Искренность!
Помоги мне пропеть,
вспомнивши,
радостно рассмеяться,
как человеку
на дикой тропе
встретилось сердце
стучащее
массы.

Был я
безликий интеллигент,
молча гордящийся
мелочью званья,
ждущий —
от общих забот вдалеке —
общей заботы
победное знамя.
Не уменьшась
в темноте норы,
много таких
живут по мансардам,
думая:
ветром иной поры
лик вдохновенный их
творчески задран.

Меряя землю
на свой аршин,
кудри и мысли
взбивая всё выше,
так и живут
до первых морщин,
первых припадков,
первых одышек.
Глянут —
а дум
облыселую гладь
негде приткнуть
одинокому с детства.
Финиш! ..
А метили
мир удивлять
либо геройством,
либо злодейством...
Так жил и я...
Ожидал, пламенел,
падал, метался,
да так бы и прожил,
если бы
не забродили во мне
свежего времени
новые дрожжи.
Я не знал,
что крепче и ценней:
тишь предгрозья
или взмывы вала, —
серая
солдатская шинель
выучила
и образовала.
Мы неслись,
как в бурю корабли, —
только тронь,
и врассыпную хлынем.
Мы неслись,
как в осень журавли, —
не было конца
летучим клиньям.

Мы листвой
осыпали страну,
дробью ливней
мы ее размыли.
Надвое —
на новь и старину —
мы ее ковригой
разломили.
И тогда-то понял я
навек —
и на сердце
сразу стало тише:
не один
на свете человек, —
миллионы
в лад
идут и дышат.
И не страшно
стало мне грозы,
нет,
не мрак вокруг меня,
не звери,
лишь бы,
прянув на грозы призыв,
шаг
с ее движеньем соразмерить.
Не беги вперед,
не отставай, —
здесь времен
разгадка и решенье, —
в ряд с другими,
в лад по мостовой
трудным,
длинным,
медленным движеньем.
Вот иду,
и мускулы легки,
в сторону не отойду,
не сяду.

Так иди
и медленно влеки,
наш суровый,
наш Октябрь Десятый.
Стройтесь, зданья!
Высьтесь, города!
Так иди
бесчисленным веленьем
и движенья силу
передай
выросшим на смену
поколеньям.
Брось окно,
войди по грудь в толпу,
ей дано теперь
другое имя,
не жестикулируй,
не толкуй, —
крепкий шаг свой
выровняй с другими.
Стань прямее,
проще
и храбрей,
встань лицом
к твоей эпохи лицам,
чтобы тысячами
Октябрей
с тысячными
радостями
слиться!

1927

127. ЭСТАФЕТА

Что же мы, что же мы,
неужто ж размоложены,
неужто ж нашей юности
конец пришел?
Неужто ж мы — седыми —
сквозь зубы зацедили,

неужто ж мы не сможем
разогнать прыжок?

А нуте-ка, тика́йте,
на этом перекате
пускай не остановится
такой разбег.
Еще ведь нам не сорок,
еще зрачок наш зорок,
еще мы не засели
на печи в избе!

А ну-ка, все лавиной
на двадцать с половиной,
ветрами нашей бури
напрямик качнем.
На этом перегоне
никто нас не догонит.
Давай? Давай!
Давай начнем!

Что же мы, что же мы,
неужто ж заморожены,
неужто ж нам положено
на месте стать?
А ну-ка каблуками
махнем за облаками,
а ну, опять без совести
вовсю свистать!

Давайте перемолвим
безмолвье синих молний,
давайте снова новое
любить начнем.
Чтоб жизнь опять сначала,
как море, закачала.
Давай? Давай!
Давай начнем!

1927

128. РУССКАЯ СКАЗКА

1

Говорила моя забава,
моя лада, любовь и слава:
«Вся-то жизнь твоя — небылица,
вечно с былью людской ты в ссоре,
ходишь — ищешь иные лица,
ожидаешь другие зори.

2

Люди чинно живут на свете,
расселясь на века, на версты,
только ты, схватившись за ветер,
головою в бурю уперся,
только ты, ни на что не схоже,
называешь сукно — рогожей».

3

Отвечал я моей забаве,
моей ладе, любви и славе:
«Мне слова твои не по мерке
и не впору упрек твой льстивый,
еще зори мои не смеркли,
еще ими я жив, счастливый.

4

Мне ль повадку не знать людскую,
обведешь меня словом ты ли?..
Люди больше меня тоскуют:
видишь — ветер винтом схватили,
видишь — в воздух уперлись пяткой,
на машине качаясь шаткой.

5

Только тем и живут и дышат —
довести до конца уменье:
как такие вздумать снаряды,
чтоб не падать вниз на каменья,
чтобы каждый — вольный и дошлый —
наступал на облак подошвой.

6

И я знаю такую сказку,
что начать, так дух захолонет!
Мне ее под вагона тряску
рассказали в том эшелоне,
что, как пойманный в клетку, рыскал
по отрезанной Уссурийской.

7

Есть у многих рваные раны,
да своя болит на погоду;
есть на свете разные страны,
да от той, что узнал, — нет ходу.
Если все их смешаю в кучу,
то и то тебе не наскучу.

8

Оглянись на страну большую —
полоснет пестротой по глазу.
Люди в ней не живут — бушуют,
только шума не слышно сразу, —
от ее голубого вала
и меня кипеть подмывало.

9

Вот расплакалась мать над сыном
в том краю, что со мною рядом;

в этом — пахнет пот керосином,
рыбий жир в другом — виноградом;
и сбежались к уральской круче
горностаевым мехом тучи.

10

Вот идет верблюд, колыхаем
барханами песен плачевных,
и на нем, клонясь малахаем,
выплывает дикий кочевник;
среди зарев степных и марев
он улиткою льнет к Самаре.

11

А из вятских лесов дремучих,
из болот и ключей гремучих,
из глухих углов Кереметти,
по деревьям путь переметив,
верст за сотню, а то сот за пять —
пробирается легкий лапоть.

12

Вот из дымного Дагестана,
избочась на коне потливом,
вьется всадник осиным станом,
синеватым щеки отливом.
А другой, разомчась из Че́чни,
ликом врезался в ветер встречный.

13

А еще — в глухом отдаленье,
где морская глыбь посинела,
тупотят копыта оленьи
под луною окоченелой:
Медный остров, выселок хмурый,
шлет покрытых звериной шкурой.

14

Отовсюду летят и мчатся,
звонит повод, скрипит подпруга, —
это стягиваются домочадцы,
что не знали в лицо друг друга.
Из становий и из урочищ
собирает их старший родич.

15

Он лежит под стеною кремлевской,
невелик и негрозен с виду,
но к нему — всех слез переплески,
всех окраин людских обиды,
не заботясь времени тратой,
поспешают вдогон за правдой.

16

Он своею силой не хвастал,
не носил одежды парчовой,
но до льдов, до снежного наста,
им вконец весь край раскорчеван.
В Бухаре и в Нижнем Тагиле
говорят о его могиле.

17

Что же ты грустишь, моя лада,
о моей непонятной песне?
Радо сердце или не радо
жить с такою судьбою вместе?!
Если рада слушать такое —
не проси от меня покоя.

18

Знать, недаром на свете живу я,
если слезы умею плавить,

если песню сторожевую
я умею вехой поставить.
Пусть других она будет глуше, —
ты ее, пригорюнясь, слушай!»

1927

129. МИЛЬТОН

Ночная Тверская — сыра и темна,
пустынно витрин одичалых сияние...
Вся в водочной мути до самого дна,
а люди в ней — водоросли в океане.

Качаются пятна каких-то теней,
отверженных светом. И вид ее чуден,
и вместо железа и камня — на ней
обломки погибших в крушении суден.

И если в случайный отсвет фонаря
ворвется агония гибнущих суток —
не думай о ней и скорее ныряй
меж мокрых и вялых хвостов проституток.

Направо — проулок, налево — тупик,
неслышные лица скользнут и утонут,
едва появившись, едва наступив,
едва прикоснувшись ногою к бетону.

Тогда начинается черный прилив,
сжигает дыхание сизая жажда,
несет и колышет она, охмелив,
по темной пучине качаемых граждан.

Ослизлая ругань с разъязвленных губ:
на ней оскользаются даже копыта;
глаза динозаврьи — на каждом шагу,
и затхлого запаха спертый напиток.

Как будто бы город до нитки раздет,
как будто во тьме истерической вымок,
и только созвездье — клинок и кастет —
сверкает в запястьях никем не любимых.

Тогда, на бегу подбирая шинель,
уродливой шапкой прикрытый, как чайник,
в убийством окрашенной тишине
мильтон поспешает на хрип и отчаянье.

Он в тесный и липкий становится круг,
туда, где — предательство и увечье,
во мглу хулиганов и сиплых старух —
восходит, как месяц, лицо человечье.

И тьма расступается. Город спасен.
Бульвары немеют. Прохожие реже.
Косматый кошмар превращается в сон.
И свет спозаранный по улице брезжит.

1927

130. НЕ ТОЛКАЙТЕСЬ!

По тротуарам
народ спешащий —
не народ,
а зверь,
убежавший из чащи.
Толкаются в спину
и в грудь,
пока
сам не начнешь
отжимать бока.
А что касается
наступания на ноги,
так это не люди,
а какие-то танки!
Сначала урезониваешь, —
дескать, ведь
и я не мураш,
и вы не медведь!
А потом,
когда продавлен ботинок,
орешь:
«Осторожнее!
Ты, скотина!»

И так постепенно,
себе не веря,
глядишь —
и сам превращаешься
в зверя;
прешь,
выставляя плечо и локоть,
чтоб встречным
также спешилось плохо;
потом ощетиниваешь
кепку набок
и ну —
сбивать
более слабых,
пока посторонний
отчетливый мускул
не сбросит с панели
твою нагрузку.
О хулиганстве
всюду вопят!..
А разве мозг
не сверлит вам мыслишка,
что в каждом из нас,
с головы до пят,
его зачатков
хватает с излишком?!
Ведь эти толчки,
и это ляганье,
и эта —
не в очередь! —
пёрка вперед —
начало
деятельности
хулиганьей,
той,
от которой
нас жуть берет.
Тому,
кто сквозь улицу
прет и толкается,
кто локти несет
против всех на весу,

чтоб в худшем ему
не пришлось раскаяться,
необходим
показательный суд.
Не только насилью,
не только праздности,
не только финке,
плевку
и вину, —
небрежности,
грубости
и развязности,
общественность,
объяви войну!
Чтобы штаты хулиганья
не раздулись,
чужих позвонков
и скул не дробя, —
упорядочивать
движенье улиц
необходимо
с самих себя!

1927

131. МОЕ СОЛНЦЕ

Солнце встало.
Я стою на взгорье.
Сосны сыплют
желтою иглой...
Человечье
призрачное горе
тенью в травы
от меня легло.
Люди —
ходят,
смотрят,
помнят имя;
что ж —
живи
да наживай жирок...

А попробуй
не поладить с ними?
Ветер в спину!
Свет везде широк!
И — куда ни гляну
и ни выйду, —
то не тень
полощет по листам —
головою об землю
обида
бьется
и не может перестать!
И одно,
единственное в мире,
краше глаз родных
и слов чужих —
ты,
что встало раньше,
чем в четыре,
и пошло
светиться и дружить.
Напои меня
живой водою,
утренней росою
освежи,
подорожником
да лебедою
раны и ушибы
обложи!
Стань скорее
надо мной в зените,
не оставив
тени на вершок!
Травы подо мной,
дружней звените,
как —
пока о вас я, —
хорошо!

1927

132. ДНЕПР

Лета, летите,
зимы, неситесь,
бейся о берег,
злой Ненасытец!
Здесь по излукам,
здесь по порогам
плылось когда-то
в синь запорогам.
Чубы за ухо,
вусы за плечи,
рев ненасыти
крыть было нечем.
Разве что — песня,
разве что — удаль
тенью вставала
из гула и гуда!
Только и песню
волны топили
в зареве радуг,
в мареве пыли.
Дням отошедшим
не дано веры.
Мерят очками
синь инженеры:
как по обрывам,
как по стремнинам
грохот потока
свяжут ремни нам;
как,
рассчитавши
силу паденья,
в связи стальные
буйство оденем;
верткие нервы,
сумрачный бормот —
в легкие фермы,
в четкие формы.

Встанут на волны
хитрые лета
прочной пятою
гидроэлектро.
Пряжу и уголь,
кожу и ситец
синим хребтом
поднимай, Ненасытец!
Было — потоком,
было — паденьем,
стало —
высоким
века
виденьем.

1927

133. НОЧЬЮ ИЗ ОКНА

Мы растем,
развертываем плечи,
завоевываем воздух,
радио,
кино.
Но —
сквозь новый облик человечий
просквозит внезапно
век иной.
Вверх бегут
готические своды
в каменные
средние века,
будто снова —
сумрачные воды
повернула
времени река.
И на этом
современном свете
безо всяких
новых перемен...

Задыхаясь,
Сакко и Ванцетти
кандалами
брякают
в тюрьме.
Бредят люди
в постоянном страхе,
и
неверных Риму
горожан
в переулках
черные рубахи
холодно
и зорко сторожат.
Глянь на море...
Волны так же серы.
Будто
бронь стальную
погребли.
И стянули снова
флибустьеры
к безоружным странам
корабли.
В мире — глухо,
зло
и сиротливо...
Посмотри,
как вспыхнули огни:
это —
город будут
в час отлива,
отступая,
поджигать они.
Видишь,
как от мала
до велика
высыпал
народ на берега.

Слышишь,
как кривится
рот от крика,
как разрыва
длится перекат!
Что же ты,
потупившийся сиро,
что придумал
на защиту ты, —
вместо этого
стареющего мира,
черной нищеты
и пустоты?
Хочешь ли,
чтоб это продолжалось,
чтобы даль
кнута была грубей,
чтобы только страх,
и гнев,
и жалость
панихиду
пели по тебе?
Разметать
каким доверишь
бурям
ты,
к стеклу приникнувший
без сил,
жерла пушек,
плиты горьких тюрем,
скопища
летучие бацилл?
Не в одной-
единственной стране ли,
чьей весны
от губ
не отогнать,
времена иные
засинели,
как рассвет
у моего окна?!

Пусть еще и холодно
и лунно,
пусть о камни
бьет еще приклад —
ты встаешь
из сумерек,
коммуна,
резкой явью
стали и стекла.
Рушатся
готические своды
на забытом,
древнем берегу,
и времен
натруженные воды
к твоему подножию
текут.

1927

134. ПОСЛАНИЕ КРИТИКУ

Московские липы
цветут
на залитых жаром
бульварах.
Все лица
на резком свету:
июль
беспощаден
и ярок...
Вчера
налетел на меня
мой критик,
обиженный мною.
Он,
ножками
зло семеня,
ко мне
повернулся спиною.

Он в сторону
прыгнул блохой,
и видимо было
по роже —
какой
человек я плохой,
какой
человек он хороший!
О, злостью сведенный
педант,
надутый обидой
филистер,
взгляни без тоски
хоть сюда,
на
медом плывущие
листья!
Сильней
этот запах втяни —
густой
и счастливый,
как детство, —
и рифма
тебя осенит,
как первое слово
младенца.
И если
цветенья игра
тебя
обоймет
и затронет, —
клянусь
не писать эпиграмм,
зарыться
в безмолвии хроник.
Я путь
уступаю тогда, —
иди
циркулярствуй
и шефствуй,

клянусь —
не бесславить
года
твоих
триумфаторских шествий.
Но нет!
Раздувается спесь
индючьего
сизого зоба,
и
песню —
какую ни спеть —
не слышит
глухая особа!
И вновь
разгораются прения:
он
скучно заспорит,
и тут,
хоть
и без его одобрения,
московские липы
цветут.

1927

135. СВЕТ МОЙ...

Свет мой оранжевый,
на склоне дня
не замораживай
хоть ты меня.
Не замораживай
в лед и в дрожь,
не завораживай
в лень и в ложь.
Чтобы — первый
сухой снежок

щек моих не щекотал,
не жег;
чтобы — зимнее
марево
глаз не льдило,
не хмарило.
Дзень-дзирилинь-дзинь,
дзанг-джеой,
длись, мой свежий,
оранжевой.
Что ты, в самом деле,
с ума сошел?
Петь такие песни
нехорошо.
Петь такие песни
невыгодно, —
разве ж наши зимы
без выхода?
Если натереть бы
небо порохом, —
где б ходить тогда
по небу сполохам?
Если всё была бы
только выгода, —
где тогда искать бы
сердцу выхода?
Свет мой оранжевый,
на склоне дня
не замораживай
хоть ты меня.
Не замораживай
мое лицо
в лед, и в ложь,
и в лень, и в сон.
Дзень-дзирилинь-дзинь,
дзанг-джеой,
длись, мой свежий,
оранжевой!

1927

136. ТЕРМЫ КАРАКАЛЛЫ

Будет дурака ломать,
старый Рим!..
Термы Каракалловы —
это ж грим!
Втиснут в камни шинами
новый след.
Ты ж — покрыт морщинами
древних лет.
Улицами ровными
в синь и в тишь
весь загримированный
стал — стоишь.
Крошится и рушится
пыль со стен;
нету больше ужаса
тех страстей.
Трещина раззявлена
в сто гробов;
больше нет хозяина
тех рабов.
Было по плечу ему
кладку класть
спинами бичуемых
в кровь и всласть.
Без воды, без обуви —
пыл остыл...
Пали катакомбами
в те пласты.
Силу силой меряя,
крался враг.
Римская империя
стерлась в прах.
Всё забыто начисто:
тишь и тлен.
Ладаном монашества
взят ты в плен.
Время, вдоль раскалывая,
бьет крылом.
Бани Каракалловой
глух пролом.

Рим стоит
как вкопанный,
тих и слеп,
с выбитыми окнами —
древний склеп.
Брось ты эти хитрости, —
встань, лобаст,
все молитвы вытряси
из аббатств.
Щит подняв на ремни
боевой,
стань на страже времени
своего!

1927—1928

137. ЗЕММЕРИНГ

Стань к окошку
  и замри,
шепот сказки
  выслушай:
проезжаем
  Земмеринг,
зиму в зелень
  выстлавший.
А сквозь зелень
  и сквозь снег,
в самом свежем
  воздухе,
от сугробов —
  к весне
протянулись
  мостики.
И ползет по ним
  состав
тихо,
  не без робости.
Глянешь вниз —
  красота,
дух захватят
  пропасти.

Сквозь туннель
паровоз
громом
вдаль обрушится.
Горы,
встав в хоровод,
тихо,
тихо кружатся.
Их крутые
бока
здесь
не знают осени.
Точно
наш Забайкал,
только —
попричесанней.
Там,
где меньше б всего
с человеком
встретиться, —
залит солнцем,
пансион
к скалам
круто лепится.
Где б
обрывам подряд
да обвалам —
хроника, —
огородных
гряд
строки
млеют ровненько.
Что за люд,
за страна, —
плотно слиты
с ней они:
поле
в клетки канав
чинно
разлинеено.
Каждый
синь-перевал

взглядом
рви упорно ты:
до корней
дерева
шубами
обернуты.
Зорче, взор,
впейся мой
в синей хвои
ветку:
я —
рабочей семьей
выслан
на разведку.
Тонкий пар
бьет, свистя!..
Очень
мысль мне нравится:
для рабочих
и крестьян
здесь
устроить здравницу.
Стань к окошку,
замри,
шепот сказки
выслушай:
вот какой
Земмеринг,
зиму в зелень
выстлавший.

1927—1928

138. МЫ ЖИВЕМ...

Мы живем
еще очень рано,
на самой
полоске зари,
что горит нам
из-за бурьяна,

нашу жизнь
и даль
озарив.
Мы живем
еще очень плохо,
еще
волчьи
зло и хитро,
до последнего
щерясь
вздоха
под ударами
всех ветров.
Но не скроют
и не потушат,
утопив
в клевете и лжи,
расползающиеся
тучи
наше солнце,
движенье,
жизнь.
Еще звезды
во сне мигают
на зеленом небе
морском.
Не собьют нас,
не запугают
темной тенью,
волчьим броском.
Те хребты
и оскалы
плоски,
порожденные
полусном.
Мы ж
на самой зари полоске
свежей жизнью
лоб сполоснем.
Из-за тучи,
из-за тумана,

на сквозном
слепящем ветру,
мы живем
еще очень рано,
на свету,
в росе,
поутру!

1928

139—145. *ЧУЖАЯ*

1

Глаза насмешливые
сужая,
сидишь и смотришь,
совсем чужая,
совсем чужая,
совсем другая,
мне не родная,
не дорогая;
с иною жизнью,
с другой,
иною
судьбой
и песней
за спиною;
чужие фразы,
чужие взоры,
чужие дни
и разговоры;
чужие губы,
чужие плечи
сроднить и сблизить
нельзя и нечем;
чужие вспышки
внезапной спеси,
чужие в сердце
обрывки песен.

Сиди ж и слушай,
глаза сужая,
совсем далекая,
совсем чужая,
совсем иная,
совсем другая,
мне не родная,
не дорогая.

1928

2

Летят недели кувырком,
и дни порожняком.
Встречаемся по сумеркам
украдкой да тайком.
Встречаемся — не ссоримся,
расстанемся — не ждем
по дальним нашим горницам,
под сереньким дождем.
Не видимся по месяцам:
ни дружбы, ни родни.
Столетия поместятся
в пустые эти дни.
А встретимся — всё сызнова:
с чего опять начать?
Скорее, дождик, сбрызгивай
пустых ночей печаль.
Всё тихонько да простенько:
влеченье двух полов
да разговоры родственников,
высмеивающих зло.
Как звери когти стачивают
о сучьев пустяки, —
последних сил остачею
скребу тебе стихи.
В пустой денек холодненький,
заежившись свежо,
ты, может, скажешь: «Родненький», —
оставшись мне чужой.
И это странно весело
и страшно хорошо —

касаться только песнею
твоих плечей и щек.
И ты мне сердце выстели
одним словцом простым,
чтоб билось только издали
на складках злых простынь;
чтоб день, как в винограднике,
был полон и тяжел;
чтоб ты была мне на́веки
далекой и чужой!

1928

8

Слушай, Анни,
твое дыханье,
трепет рук,
и изгибы губ,
и волос твоих
колыханье
я, как давний сон,
берегу.
Эти лица,
и те,
и те, —
им
хоть сто,
хоть тысячу лет скости, —
не сравнять с твоим
в простоте,
в прямоте
и в суровой детскости.
Можно
астрой в глазах пестреться,
можно
ветром в росе свистеть,
но в каких
человеческих средствах
быть собой
всегда и везде?!

Ты проходишь
горя и беды,
как проходит игла
сквозь ткань...
Как выдерживаешь
ты это?
Как слеза у тебя
редка?!
Не в любовном
пылу и тряске
я приметил
крепость твою.
Я узнал,
что ни пыль,
ни дрязги
к этой коже
не пристают.
И когда
я ломлю твои руки
и клоню
твоей воли стан,
ты кричишь,
как кричат во вьюге
лебедя,
от стаи отстав...
1928

4

У меня
хорошая жена,
у тебя
отличные ребята.
Что ж велит мне
мерить саженя
по пустыне
сонного Арбата?
Никаких
сомнений и надежд,
никакой
романтики слезливой.

Сердце!
Не вздувайся и не тешь
свежестью
весеннего разлива.
Никаких
мечтаний и иллюзий, —
что ни делай,
как ни затанцуй,
как бильярдный шар
к зеленой лузе,
ты летишь
к провалу и концу!
Нет,
не за тебя одну мне страшно, —
путь-дорога
у тебя своя;
с черной ночью
в схватке рукопашной
я не за тебя одну
стоял.
И не от тебя одной,
я знаю,
седь
уже сжимает мне виски;
но в тебе
вся боль моя сквозная
отразилась
грубо,
по-мужски.
Боль
за всю за нашу
несвободу,
за нелегкость жизни,
ветхость стен,
что былого поколенья
одурь
жизнь заставит
простоять в хвосте.

О любви
теперь уже не пишут,
просто стыдно стало
повторять.
Но — смотри:
как страшно близко дышит
над Кремлем
московская заря.

1928

5

День сегодня
такой простой,
каких не сыщешь
и — в сто.
Синь сегодня
так далека,
будто бы
встал великан.
Это ты,
охлажденье мое,
молча встаешь,
не поешь,
высветляя
свое лезвиё,
свой
отпотевший нож.
И от таких
безразличных глаз —
свет угасает
враз.
Всё затянулось
и зажило,
и мне —
не тяжело.
Всё заровнялось
и заросло:
не двигать ни рук,
ни слов.

Бульварный калека
трясет головой
(тоже —
вопрос половой).
Нынче
такой беспримерный день,
что горько
глядеть на людей.
Даже трамваи
бегут от меня,
зло и протяжно
звеня.
Даже моторы —
друзья для других —
фыркают,
как враги....
Что же,
лучше ли этот —
тех
дней
забот и помех,
дней волнений
и дней тревог,
дней,
когда стыть
я не мог?
Дней,
в которые,
всё озаря,
злая
вставала заря?
Дней,
в которые
в шумном ветру
шли
влюбленность и труд?!

1928

6

Оставьте,
баптисты,
скучную
проповедь, —
вам
этих дней
всё равно
не отпробовать.
Тот —
не уныл,
кто горечью
хвалится.
Радость
с луны
всё равно
не свалится.
Молотом,
скальпелем,
клапаном,
книгою —
сердце
по каплям
волнение
двигает.
Сердце мое,
волнуйся
и стукай!
Жизнь —
не очень
понятная
штука.
Сердце мое,
тревожься
и рвись
вниз,
в глубину,
и — вверх,
ввысь!
Свет твой
вечный —

с открытой
душой —
первой
встречной,
далекой,
чужой.
Шире
и выше
взлета
задор,
пока
от вспышек
не сгинет
мотор,
пока
не сгаснет
горенья
руда,
пока
от сказки
не станет
следа!

1928

7

Не будет стона сирого,
ни вопля, ни слезы;
идите, дни, боксировать
на рифм моих призы.

Бегите, физкультурники,
купать в ветрах лицо;
крутитесь, дни, на турнике
летучим колесом.

А ты, любовь, не высыпься,
не грянься комом вниз,
на вытянутых бицепсах
бодрее подтянись, —

Чтоб, зубом заскрежещенный,
унынья скрылся лик;
чтоб все на свете женщины,
как звезды, зацвели;

Чтоб каждый взял на выдержку
безмолвья сон дурной;
чтоб каждый пел навытяжку
натянутой струной;

Чтоб шла навстречь весна ему
тревожно и свежо;
чтоб не было незнаемой
и не было чужой.

1928

146. ДЫХАНЬЕ ЭПОХИ

У Пушкина чаши,
у Гаршина вздохи
отметят сейчас же
дыханье эпохи.

А чем мы отметим
и что мы оставим
на нынешнем свете,
на нашей заставе?

Как время играет
и песня кипит как,
пока меж буграми
ныряет кибитка.

И, снизясь к подножью
по ближним и дальним,
колотится дрожью
и звоном кандальным...

Неужто ж отныне
разметана песня
на хрипы блатные,
на говор хипесниц?

И жизнь такова,
что — осколками зарев
нам петь-торговать
на всесветном базаре?

Ей будто недодано
славы и власти,
и тайно идет она,
злобясь и ластясь.

С построечной пыли
я крикну на это:
«Мы все-таки были
до черта поэты!»

Пусть смазанной тушью
на строчечном сгибе
нас ждет равнодушья
холодная гибель.

Но наши стихи
рокотали, как трубы,
с ветрами стихий
перепутавши губы.

Пусть гаснущий Гаршин
и ветреный Пушкин
развеяны в марши,
расструганы в стружки.

Но нашей строкой
до последнего вздоха
была беспокойна
живая эпоха.

И людям веков
открывая страницы,
она — далеко —
как цветок сохранится.

Тасуй же восторг
и унынье тасуй же,

чтоб был между строк
он прочнее засушен.

Чтоб радостью чаши
и тяжестью вздоха
в лицо им сейчас же
дохнула эпоха.

И запах — душа, —
еле слышный и сладкий,
провеял, дыша,
от забытой закладки!

1928

147. ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

За то,
        что наша сила
была,
        как жизнь, простой,
что наша песнь
                косила
молчанье
            и застой.
За то,
        что даль клубила
в нас
        помыслы — мечтой,
нас молодость
                любила.
За что,
        за что,
                за что?
О серо-розоватый
рассветный час,
навек,
        навек сосватай
с весною нас,
навек,
        навек сосватай,
соедини

с березою
и мятой
стальные дни!
Что
свежестью первичной
мы шли
обнесены,
что
не было привычной
нам меры
и цены.
За крепость
и за смелость
в тревожные года,
за то,
что громко пелось
всегда,
всегда,
всегда!
За то,
что мы,
от робких
пути поотрезав,
ловили
в дальних сопках
напевы партизан.
За то,
что мы не крылись,
меняя имена,
когда
плыла у крылец —
война,
война,
война!
За то,
что революций
нам слышен
шаг густой,
что песни наши
вьются
над
красною звездой.

За то,
что жизнь трубила
настигнутой
мечтой,
нас молодость
любила.
За что,
за что,
за что?
О серо-розоватый
вечерний час,
навек,
навек сосватай,
с весною нас,
навек,
навек сосватай,
соедини
со свежестью
несмятой
стальные дни!

1928

148. СУХОЙ ДОКЛАД О ЖАЖДЕ СВЕТЛЫХ РЕЧНЫХ ПРОХЛАД

В окно
глядятся листики...
Пейзаж —
как в беллетристике.
Покуда
глазу видимо,
он жаром
залит прочно,
как будто
весь он выдуман
полистно
и построчно.
Дрожит
под солнцем
знойный вид,

как автор
в жажде славы,
и даже
Кремль норовит
отдельно
плавить главы.
Постой!
Хоть ты и урбанист,
но если —
город душит,
напрягши мускулы,
рванись
из-под бетонной
туши.
Асфальт,
железо
и стекло,
всё —
липким потом истекло.
Из городского
барахла
в речную зыбь
и свежесть,
в раскат
и лень
речных прохлад
плечом и грудью
врежусь;
под деревянную
бадью,
под
синих брызг
мониста...
А критик —
пусть зовет
судью
и судит
урбаниста.

1928

149. ПРЕДГРОЗЬЕ

В комнате высокой
на целый день
сумрачная, смутная
осела тень.
Облачные очереди
стали в ряд,
молнии рубцами
на лице горят.
Голос ненаигранный —
дальний гром,
словно память кинутая
детских дрём.
Вот и ветер, хлынувший
волной обид,
каждый сердца клинышек
дождем дробит...
Движется республика,
шумит внизу,
слушает плывущую
над ней грозу.
Как мне нынче хочется
сто лет прожить, —
чтоб про наши горечи
рассказ сложить.
Чтобы стародавнюю
глухую быль
били крылья памяти,
как дождик — пыль.
Чтобы ветер взвихренный
в развал теней —
голос ненаигранный
чтоб пел о ней.
О моей высокой
синемолнийной
комнате, тревогою
наполненной.
Вот хотя бы этот
грозовой мотив
выпомнить и выполнить,
на слух схватив.

Это не колеса
бьют и цокают
в песнь мою и в жизнь мою
высокую.
Это рвет республика
сердца внизу,
слушая плывущую
над ней грозу.
Ты плыви, плыви,
гроза, по желобу:
долго небу не бывать
тяжелому.
Ты плыви, гроза,
на нас не вешайся,
прибавляй нам смелости
да свежести.
По моей высокой
синемолнийной,
бодрою тревогою
наполненной.

1928

150. РАНЫМ-РАНО

Утром —
еле глаза протрут —
люди
плечи впрягают в труд.
В небе
ночи еще синева,
еще темен
туч сеновал...
А уже,
звеня и дрожа,
по путям
трамвай пробежал;
и уже,
ломясь от зевот,
раскрывает
цеха завод.

Яви пленка
еще тонка,
еще призрачна
зудь станка...
Утро
точит свое лезвиё;
зори
взялись за дело свое.
В небо
руки свои воздев,
штукатуры
встают везде.
Кисть красильщика
и маляра
тянет
суриковые колера...
Светлый глаз свой
и чуткий слух
люди отдали
ремеслу.
Если любишь ты жизнь,
поэт, —
раным-рано проснись,
чуть свет.
Чтоб рука
не легла, как плеть,
встань у песен
пылать и тлеть.
Каждый звук свой
и каждый слог
преврати
в людей ремесло,
чтоб трясло,
как кирка забой,
сердце —
дней глубину —
тобой.
Слушай,
чтоб не смолкал твой слух,
этот грохот
и этот стук;

помни,
чтоб не ослеп твой глаз,
этот отблеск
и этот лязг.
Не опускай
напряженных плеч,
не облегчай
боевую речь;
пусть, хитра она
и тонка,
вьется стружкой
вокруг станка.
1928

151. ДЕНЬ ОТДЫХА

Когда в июнь
часов с восьми
жестокий
врежется жасмин
тяжелой влажью
веток,
тогда —
настало лето.
Прольются
волны молока,
пойдут
листвою полыхать
каштанов ветви
либо —
зареющие липы.
Тогда,
куда бы ты ни шел,
шумит Москвы
зеленый шелк,
цветков
пучками вышит,
шумит,
горит
и дышит!

Не знаю, как
и для кого,
но мне
по пятидневкам
Нескучный
машет рукавом,
зовет
прохладным эхом;
и в полдень,
в самую жару —
кисейный
полог света —
скользят
в Серебряном бору
седые тени
с веток.
Как хорошо
часов с пяти
забраться
в тень густую!
В Москве —
хоть шаром покати,
Москва
тогда пустует.
И вдруг нахлынет
пестрый гам
людским
нестройным хором
и понесется
по лугам,
по Воробьевым
горам.
Мне хорошо с людьми,
когда
они спешат
на отдых,
и плещет
ласково вода
в борты
бегущих лодок.

Мне хорошо,
когда они,
размяв
от ноши
плечи,
разложат
мирные огни
в голубоватый
вечер.
А на окраинах
уже,
по стыкам рельс
хромая, —
чем вечер позже
и свежей —
длинней
ряды трамваев;
они
настойчиво звенят,
зовут
нетерпеливо
нести
домой нас,
как щенят,
усталых
и счастливых.
1928

152. ЛЫЖИ

Мороз
румянец выжег
нам
огневой.
Бежим,
бежим на лыжах
мы
от него!

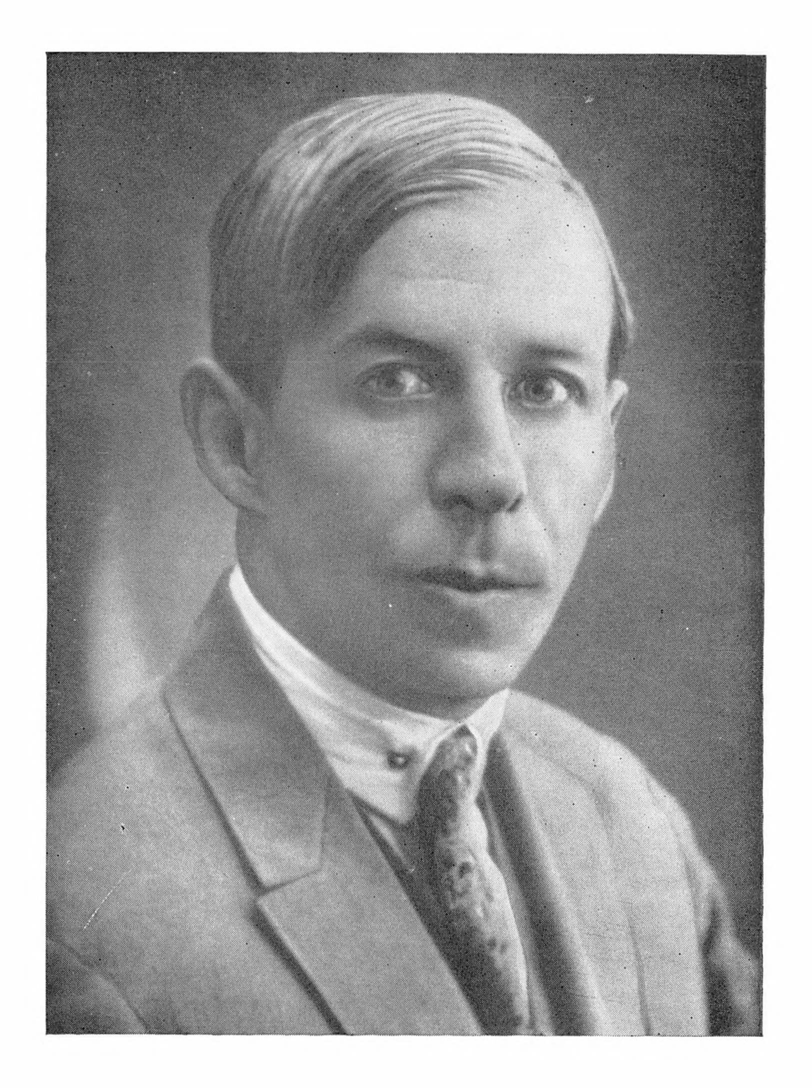
Второй,
четвертый,
пятый, —
конец
горе.
Лети,
лети,
не падай.
Скорей,
скорей!
Закован
в холод воздух, —
аж дрожь
берет.
В глазах
сверкают звезды.
Вперед,
вперед!
Вокруг
седые ели.
Скользи,
нога.
Как белые
постели,
легли
снега.
И тонкие
березы —
лишь ог-
ля-
нись —
затянуты
в морозы,
поникли
вниз...
На озере
синеет
тяжелый
лед.
Припустимте
сильнее
вперед,
вперед!

Легки следы
от зайцев
и
от лисиц:
ты с ними
состязайся —
несись,
несись!
Чтоб —
если ветер встречный
в лицо
задул, —
склонился ты
беспечно
на всем
ходу.
На всем
разгоне бега —
быстр
и хитер, —
схватив
охапку снега,
лицо
натер.
Чтоб крякали
сороки
от тех
отваг,
чтоб месяц
круторогий
скользил
в ветвях.
Чтоб в дальних
или ближних
глухих
краях —
везде мелькала,
лыжник,
нога
твоя.

Чтоб все,
на лыжи вставши
в тугой
черед, —
от младших
и до старших —
неслись
вперед!
1928

153. КАЖДЫЙ РАЗ, КАК СМОТРИШЬ НА ВОДУ...

Каждый раз,
как мы смотрели на воду,
небо призывало:
убежим!
И тянуло
в дальнюю Канаду,
за незнаемые
рубежи.
Мы хранили
в нашем честном детстве
облик смутный
вольных Аризон,
и качался —
головой индейца,
весь в павлиньих перьях —
горизонт.
Вот и мы
повыросли
и стали
для детей
страны иной,
призывающей
из дали,
синей,
романтической страной.
Каждый раз,
как взглянут они на воду
на своем
туманном берегу —



не мечты,
а явственную правду,
видеть правду —
к нам они бегут.
Дорогие леди
и милорды,
я хотел спросить вас
вот о чем:
«Так же ли
уверенны и тверды
ваши чувства,
разум
и зрачок?
Каждый раз,
как вы глядите на воду,
так же ль вы упорны,
как они?
Прегражденный путь
к олеонафту
так же ль
вас безудержно манит?
Если ж нет, —
то не грозите сталью:
для детей
страны иной
мы теперь
за синей далью
стали
романтической страной».
1928

154. ДОРОГА

1

Мир
широк и велик
с пути полета,
но хвалит
каждый кулик
свое болото.

Пускай
и в земную треть
гнездо куличье,
хочу лететь —
осмотреть
земли величье.
Дыши шумней,
паровоз, —
зима седая.
Кружись,
лесов хоровод,
вниз оседая...
Как быстро
вдаль ни бежит
твой путь, — он робок;
глумясь,
встают рубежи
в крутых сугробах.
Раскинулась
широко
страна — Расея,
и в ней
таких дураков
не жнут, не сеют.
Сто дней
топочи конем —
не сдаст пространство.
Пора
говорить о нем
не так пристрастно.
Как медленный
сток ржи
в амбарный запах, —
замедленная
жизнь
обваливается на Запад.

2

Дорога была
навек
прочна, опрятна;

винтами
вилась наверх
и шла обратно.
Вся белая,
без теней,
ровна, как скатерть...
И полз
мурашом по ней
мотор на скате.
Теперь,
воротясь назад,
она воочию
впивается
мне в глаза
и днем и ночью.
Чем сможет
чужая страна
нам сердце трогать?
Натянутая,
как струна,
звенит дорога.
Не узенькою
тропой —
от речки в рощу:
по этакой
и слепой
пройдет на ощупь.
С такой
к рулю привыкать;
здесь воз — помеха.
По этой
без грузовика
не стоит ехать!
На этой —
кого ни встреть,
не разоспится...
И люди
идут быстрей,
и чаще спицы.

8

Чем ближе
родные места,
тем реже люди:
«...Чем тише
наша езда,
тем дальше будем!»
Замшелая
мудрость лесов,
колтун распутиц...
Какое тебя
колесо
возьмет распутать?
И хватит ли
лет полста
твоей тощищи,
чтоб
гладью дорог-холстов
был грунт расчищен?
Товарищи
и творцы,
болото — шатко:
скорей
подвози торцы,
грани брусчатку.
Пусть там,
где вилась морошка
да голубица,
асфальтовая
дорожка
в тень углубится.
Пусть там,
где лишь филин ухал
во мгле трясины,
шуршит
хорошо и сухо
прокат резины.
Пусть каждому
станет дорог,
как голос близкий,

гудок
и знакомый шорох
сквозь пыль и брызги.
Чтоб нам бы
не тише ехать
вдаль, без задора —
пусть всюду звучит,
как эхо,
зов Автодора!

1928

155. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Сто довоенных
внушительных лет
стоял
Императорский университет.
Стоял,
положив угла во главу
умов просвещенье
и точность наук.
Но точны ль
пределы научных границ
в ветрах
перелистываемых страниц?
Не только наука,
не только зудеж, —
когда-то
здесь буйствовала молодежь.
Седые ученые
в белых кудрях
немало испытывали
передряг.
Жандармские шпоры
вонзали свой звон
в гражданские споры
ученых персон.
Фельдъегерь,
тех споров конца не дождав,
их в тряской телеге
сопровождал.

И дальше,
за шорох печористых рек,
конвойным их вел
девятнадцатый век.
Но споров тех пылких
обрывки,
обмылки
летели, как эхо,
обратно из ссылки.
И их диссертаций изорванных
клочья,
когда еще ты не вставал,
пролетарий,
над синими льдами,
над царственной ночью,
над снами твоими,
кружась, пролетали.
Казалось бы — что это?
Парень-рубаха,
начитанник Гегеля
и Фейербаха,
не ждя для себя
ни наград,
ни хваленья,
встал первым из равных
на кряж поколенья.
Да кряж ли?
Смотрите —
ведь мертвые краше
того,
кто цепями прикован у кряжа,
того,
кто, пятой самолюбье расплющив,
под серенькой
русского дождика
хлющей
стоит,
объярмован позорной доскою,
стоит,
нагружен хомутовой тоскою.
Дорога плохая,
погода сырая...

Вот так и стоит он,
очки протирая,
воды этой тише,
травы этой ниже,
к бревну издевательств
плечо прислонивши...
Сто довоенных
томительных лет
стоял
Императорский университет.
На север сея, стоял,
и на юг
умов просвещенье
и точность наук.
С наукой
власть пополам поделя,
хранили его тишину
педеля́...
Студенты,
чинной став чередой,
входили
в вылощенный коридор.
По аудиториям
шум голосов
взмывал,
замирал
и сникал полосой.
И хмурые своды
смотрели сквозь сон
на новые моды
ученых персон.
На длинные волосы,
тайные речи,
на косовороток
подпольные встречи,
на черные толпы
глухим ноябрем,
на росчерк затворов,
на крики: «Умрем!»

На взвитые к небу
казацкие плети,
на разноголосые
гулы столетья,
на выкрик,
на высверк,
на утренник тот,
чьим блеском
и время и песня
цветет!

1929

156. ПЕРЕБОР РИФМ

Не гордись,
что, всё ломая,
мнет рука твоя,
жизнь
под рокоты трамвая
перекатывая.
И не очень-то
надейся,
рифм нескромница,
что такие
лет по десять
после помнятся.
Десять лет —
большие сроки:
в зимнем высвисте
могут даже
эти строки
сплыть и выцвести.
Ты сама
всегда смеялась
над романтикой...
Смелость —
в ярость,
зрелость —
в вялость,
стих — в грамматику.

Так и всё
войдет в порядок,
всё прикончится,
от весенних
лихорадок
спать захочется.
Жизнь без грома
и без шума
на мечты
променяв,
хочешь,
буду так же думать,
как и ты
про меня?
Хочешь,
буду в ту же мерку
лучше
лучшего
под цыганскую
венгерку
жизнь
зашучивать?
Видишь, вот он,
сизый вечер,
съест
тирады все...
К теплой
силе человечьей
жмись
да радуйся!
К теплой силе,
к свежей коже,
к синим
высверкам,
к городским
да непрохожим
дальним
выселкам.

1929

157. МОЛОДОСТЬ ЛЕНИНА

Далека симбирская глушь,
тихо времени колесо...
В синих отблесках вешних луж
обывательский длинен сон.

По кладовым слежалый хлам,
древних кресел скрипучий ряд,
керосиновых тусклых ламп
узаконенная заря.

И под этой скупой зарей
к материнской груди приник
лоб ребенка — еще сырой,
и младенческий первый крик.

Узко-узко бежит стопа,
начиная жизни главу;
будут ждать гостей и попа
и Владимиром назовут.

Будут мыши скрести в углу,
будут шкапов звенеть ключи,
чьи-то руки вести иглу,
обмывать, ласкать и учить.

И начнет — мошкарой в глаза —
этот мир мелочей зудеть,
и уйдет из семьи в Казань
начинающий жизнь студент.

Но земля рванет из-под ног,
и у времени колеса,
твердо в жизни веря в одно,
станет старший брат Александр.

По какой ты тропе пойдешь,
на какой попадешь семестр,
о страны моей молодежь,
отойдя от своих семейств?!

Далека симбирская глушь,
тихо времени колесо...
В синих отблесках вешних луж
обывательский длится сон.

Он, — пока я кончаю стих, —
на портрете встав, на стене,
продолжая меня вести,
усмехается молодо мне.

И никак не уйти от глаз,
просквозивших через века,
стерегущих и ждущих в нас
взгляд ответный — большевика.

1929

158. СИМБИРСКАЯ ДАЛЬ

Большая страна,
глухая страна,
киргизская степь, —
и над ней
луженою тучею
старина —
осеннего неба
темней.
По этой стране,
на этой степи
кого ни встреть
у костра,
куда ни взгляни,
куда ни ступи —
молчанье
и рабский страх.
Торговая сметка
хитра и скупа,
мелка
и зазвониста ложь.

Здесь жизнь норовят
за грош покупать
и честь продавать
за грош.
И в этой глуши
при свете свечи
понять
попробуй
сумей,
сумей
попробуй
одну отличить
от тысячи
русских семей.
Шумит самовар,
поет соловей,
звенит бубенец
у дуги...
Живет человек,
растет человек,
один
темнее других.
Так рос и он
в глухой темноте
и вырос
над темнотой.
И брови не те,
и губы не те,
повадки
и складки —
не той.
Так вырос
и вышел он,
коренаст,
степей
знаток коренной,
и в смертную схватку
схватился при нас
с двужильною
стариной.
Большая страна,
глухая страна,

бездольная степь, —
и в ней
мерцанье штыков,
и взрывы гранат,
и ржанье
походных коней.
Как будто отходит
тумана стена
от наших
домов и дней.
Как будто бы тает,
синея, она,
и даль
всё видней и видней.
Как будто в поход
снялась темнота
от новой,
советской межи.
И даль не та,
и степь не та,
снялась темнота
и бежит.
Замолкнул бой,
и грохот затих,
и небо
синей и синей.
И степь,
насмерть старину захватив,
в обхватку
борется с ней.
Из рабства грошей,
из свиста плетей
страна
гранатой взвита!..
И реки не те,
и долы не те,
повадка
и складка —
не та.

Глядит
симбирская даль и глушь,
роднёй своей
велика, —
не в зеркало
грязных дождливых луж,
а — в будущие века.

1929

159—165. *КУРСКИЕ КРАЯ*

1

ВСТУПЛЕНИЕ

1

Хоть и у тебя немало мокрых
свежих рощ — лишь щеки утирай, —
я тебя не славлю, курский округ,
соловьиный край.

Что мне вспомнить? Чем меня дарила
родина щербатая моя?
Рытые да траченые рыла —
пьяные дядья да кумовья.

Со времен забытого удела
на веки веков
здесь земля не струнами гудела —
громом волосатых кулаков.

Били в душу, душу выбить силясь,
а потом — иди ищи,
кто пустил густую кровь с потылиц,
чьей свинчаткой свернуты хрящи.

Поднимались, падали, сходились
городские против слободских,
плакали, судились,
торговали, и — не стало их.

Вновь родившись, петь пытались снова,
но, звериным воем захрипев,
из зубов, расшибленных с пóлслова,
выпадал напев.

И зари пустынное сиянье
над быльем постылого мирка —
над Путивлем, Суджей, Обоянью
гасло, отсверкав.

2

Бор дремучий над рекой гремучей —
это только песенный галдеж,
а на деле — не изловишь случай,
так и пропадешь.

А на деле — скривленные ивы,
серый свет, что будний день зажег,
Тускори, холодной и ленивой,
плоский бережок.

Что ж сказать на путь и на прощанье
вам, что, в темень времени сбежав,
всё еще грозитесь мне, мещаньи
выселки с глухого рубежа?

Стойте ж да бывайте здоровеньки!
Вас не тронет лесть или хула,
Люшенка да Нижни Деревеньки,
тенькавшие в донь колокола.

Стойте крепче. Вы мое оплечье,
вы мои деды́ и кумовья,
вы мое обличье человечье,
курские края.

1926—1927

2

ДОМ

Дом стоял у города на въезде,
окнами в метелицу и тьму;
близостью созвездий
думалось и бредилось ему.
Било в стекла заревое пламя,
плыл рекой туман;
дом дышал густыми коноплями,
свежестью, сводящею с ума.
Он хотел крыльцом скрипучим дергать,
хлопать ставней, крышей грохотать;
дом хотел шататься от восторга,
что вокруг такая благодать;
что его, до стрех обстав, подсолнух
рыжей рожей застил от других,
точно плыл он на прохладных волнах
калачей и лопухов тугих.
Что с того, что был он деревянным,
что, приштопан к камню, в землю врос, —
от него тянулись караваны
свежих рощ и вороненых гроз.
Он кружился с ними, плыл и таял
и живущим помыслы кружил;
до него от самого Китая
долетали синие стрижи.
Он кружился и гримасы корчил,
млел огнями, тьмою лиловел,
и его ветров весенних кормчий
вел других ковчегов в голове.
А когда рябила осень лужи
и брало метелицей кусты,
дому становилось хуже:
он стоял примолкшим и пустым.
Только это — с улицы казалось,
а внутри он полон был и жив;
даже если вызывал он жалость,
сам себя, смеясь, ловил на лжи,
так как — зорь зарозовевший иней,
стекол заалмаженный узор
вспыхивал и цвел, как хвост павлиний,
синей и зеленой бирюзой.

И, дымясь под первою порошей,
коренастый, тихий, небольшой,
он вставал опять такой хороший,
со своею дымчатой душой.
И, тепло запечное не тратя
и забив оконные пазы,
по косым линованным тетрадям
он твердил столетние азы.
И, такой же тишью невредимы,
заморозком взятые в тиски,
по соседству подымались дымы —
буден безголосые свистки.
В доме — плыли тени
кошки, кружки, фикуса, луны,
детских откровений и смятений,
тишины и старины.
Сквозь пазы растрескавшихся кафель
плыл жарок и затоплял края,
где басовый стариковский кашель
гул вливал в рассохшийся рояль.
В доме пели птицы —
сойки, коноплянки и клесты.
И теперь еще мне щебет снится,
зори, росы, травы и кусты.
И теперь... глаза бы не глядели,
уши бы не слушали иной,
кроме той передрассветной трели,
что будила детство за стеной.
И когда, тавровое мещанство,
я теперь смотрю тебе в глаза,
я не знаю, где я умещался,
кто мне это в уши насказал.
Может, в клетке, может, из-за прутьев,
горькой болью полный позарез,
в сны мои протискивался грудью
свежезаневоленный скворец?!
Потому не дни, не имена я, —
темный страх в подзорье затая,
лишь тебя по бревнам вспоминаю,
дом мой, сон мой, ненависть моя!

1926—1927

8

ДЕД

Травою зеленой одет,
лукавя прищуренным глазом,
охотничьим длинным рассказом
прошел и умолкнул мой дед.

Забросив и дом, и жену,
и службу в Казенной палате,
он слушал в полях тишину,
которой за подвиги платят.

Сверкала его «лебеда»
на двести шагов без отказа,
и зверю из черного лаза
двуногая мнилась беда.

Медведицы жертвенный рев,
на лапах качавшейся задних,
когда выступал медвежатник
из мрака безмолвных дерев.

И зимнею ночью он шел
с волками на честную встречу,
и ахало эхо картечи
по заимкам заспанных сел.

Какой там помещичий быт, —
он жил между сивых и серых,
в оврагах лесов и пещерах,
прошедших времен следопыт.

И я, его выросший внук,
когда мне приходится худо,
лишь злую подушку примну,
всё вижу в нем Робина Гуда,

Зеленые волны хлебов,
ведущие с ветром беседу,
и первую в мире любовь
к герою, к охотнику — к деду.

1927

4

БАБКА

Бабка радостною была,
бабка радугою цвела,
пирогами да поговорками
знаменита и весела.

Хоть прописана в крепостях
и ценилась-то вся в пустяк,
но и в этой цене небольшой
красовалась живой душой.

Не знавала больших хором,
не училась писать пером,
не боялась ходить босой
по лугам, покрытым росой.

В тех лугах на ее на след
и набрел пересмешник дед.
Нашутил перед ней, рассмеял,
всеми росами насиял.

На колени пред ней упал,
из неволи ее выкупал.
И пошла она за него,
за курских глаз его синевой.

Так и жили они с тех пор,
губы в губы и взор во взор.
А поссориться доводилось —
ненадолго хватало ссор.

Бабка радостною была,
бабка иволгою плыла
по-над яблоневыми ветвями —
мастерица на все дела!

Отглядела на синий лен,
отшумела под белый клен.
До сих пор в нее — над рекою —
соловьиный напев влюблен.

1927

5

МАЛЬЧИК БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ

Голос свистит щегловый,
мальчик большеголовый,
встань, протяни ручонки
в ситцевой рубашонке!

Встань здесь и подожди-ка:
утро синё и дико,
всех здесь миров граница
сходится и хранится.

Утро синё и тихо,
солнца мокра гвоздика,
небо полно погоды,
Сейма сияют воды.

Пар от лугов белёсый
падает под березы;
желтый цветок покачивая,
пчелы гудят в акациях.

Мальчик большеголовый,
облак плывет лиловый,
мир еще занят тенью,
весь в пламенах рожденья.

Не уходи за это
море дождя и света,
чуй — кочаны капусты
шепчут тебе: забудься!

Голос поет щегловый,
мальчик большеголовый,
встань, протяни ручонки
в ситцевой рубашонке!

Огненными вихрами
сразу пять солнц играют;
счастье стоит сторицей,
сдунешь — не повторится!

Шелк это или ситец,
стой здесь, теплом насытясь;
в синюю плавясь россыпь,
искрами брызжут росы.

Не уходи за это
море дождя и света,
стой здесь, глазком окидывая
счастье свое ракитовое!

1930

6

ДЕТСТВО

Детство. Мальчик. Пенал. Урок...
За плечами телячий ранец...
День еще без конца широк,
бесконечен зари румянец.
Мир еще беспредельно пуст:
света с сумраком поединок;
под ногой веселящий хруст
начеканенных за ночь льдинок.
На душе еще нет рубцов,
еще мало надежд погребенных;
среди сотни других сорванцов —
полувзрослый-полуребенок.
Но за годом учебный год
отмечает с различных точек
жизни будущего — господ,
жизни будущего — чернорабочих.
Дело здесь не в одних чинах,
не в богатстве, не в блюдах сладких,
а в наследье веков, в сынах,
в повторяющихся повадках.

Губернаторский дом был строг:
полицейский с тяжелой шашкой
здесь стоял, чтоб никто не смог
подлететь к нему мелкой пташкой.
За зеркальным окном — цветы:

пальмы, крокусы, орхидеи
из торжественной пустоты
смотрят в улицу, холодея.
Здесь смешны треволненье и стон,
проявленье волненья и боли;
здесь и самый свет затенен
мягким сумраком жирандолей.
Здесь слова недоступны нам,
объясненья сухи и кратки;
здесь нисходят по ступеням,
чуть натягивая перчатки.
У подъезда карета ждет,
и как будто совсем без усилья
пара серых с места берет
и летит, обдавая пылью.

Лишь дворянских выборов съезд
отражался в начищенной меди,
поднимались с належанных мест,
покидая берлоги, медведи.
Полторацкого номера
учащенно хлопали дверью:
эполеты и кивера,
палантины, боа и перья.
Всё казалось сказкой иной,
из каренинского быта;
всё вздымалось плотной стеной,
из алмазов и стали слито.
И от блеска этой игры
на уезд струилось сиянье:
так же жил и город Щигры,
то же делалось в Обояни.

Вот таков же и город Льгов,
инде звавшийся Ольгов-градом,
жил среди полей и лугов
отраженным губернским складом.
Через Сейм — деревянный мост,
место праздничных поздних гуляний;
соловьиный передний пост
на ракитовой лунной поляне;

а за ним, меж дубов, у ворот
Князь-Барятинского парка,
их насеяно невпроворот,
так, что небу становится жарко.
Тут и там, и правей и левей,
в семь колен рассыпаются лихо, —
соловей, соловей, соловей,
лишь внимать поспевай соловьиха!
Соловьями наш край знаменит,
он не знает безделья и скуки;
он, должно быть, и кровь пламенит,
и хрустальными делает звуки.

Города мои, города!
Сквозь времен продираясь груду,
я запомнил вас навсегда,
никогда я вас не забуду.
Суджа, Рыльск, Обоянь, Путивль,
вы мне верную службу служили.
Вы мне в жизнь показали пути,
вы мне звук свой в сердце вложили.

1930

7

ГОРОД КУРСК

Город Курск стоит на горе,
опоясавшись речкой Тускорь.
Хорошо к ней слететь в январе
на салазках с крутого спуска.
Хорошо, обгоняя всех,
свежей кожею щек зазяблых
ощущать разомлевший снег,
словно сок мороженых яблок.
О, республика детских лет,
государство, великое в малом!
Ты навек оставляешь след
отшумевшим своим снеготалом.
Ты не сможешь ли сдунуть хмарь
над житьем, еще неказистым,

не позволишь ли стать, как встарь,
реалистом или гимназистом?
Не захлопнуть ли вновь урок,
сухомяткой не лезущий в глотку,
не пойти ль провести вечерок
на товарищескую сходку?

Открываются небеса
никому не известных далей.
Туго стянуты пояса
вкруг мальчишеских тонких талий.
Всякой хитрости вопреки, —
никому никаких поблажек, —
снова лечатся синяки
светлым холодом медных пряжек.
Снова вьется метель столбом.
Снова, вызвав внезапный румянец,
посвящают стихи в альбом
чьих-то дочек или племянниц.
Снова клятвы о дружбе навек,
вопреки расстояньям и срокам...
Подрастает, растет человек,
с этим главным считаясь уроком.
И курятся вокруг снега,
завиваясь в крутом буране,
и, вздымая времен рога,
подрастают мои куряне.

Не разгладить ли ветром бровь,
не припомнить ли вновь старинку,
не пойти ли сквозь вьюгу вновь
на товарищескую вечеринку?
Вы, из памяти навсегда
уходящие без укора,
собирайтесь вновь, города, —
моя истинная опора.
Вот он, форточку приоткрыв,
закурчавленную с мороза, —
это детской души порыв, —
сыплет зимней пичуге просо.
Пусть летит этих зерен град
снегирям и чижам на разживу.

Становитесь, все здания, в ряд,
по привычному вам ранжиру.
Пусть все улицы поведут
по намеченному маршруту,
огоньками и там и тут
освещая эту минуту.
Я опять на прямом пути,
на тропе своей стародавней,
на просторе, а не взаперти
позабытых детских преданий!
Город Курск стоит на горе,
дымом труб дыша на морозе.
На зеленой зимней заре
хорошо в нем скрипят полозья.
От дыханья застывший пар
закурчавленных в иней бород;
ставший коробом, как у бояр,
на тулупе овчинный ворот.
От зари он — как вырезной,
как узором кованым шитый.
Старина в нем сошлась с новизной, —
обе полы времени свиты.

Сразу даже решить нельзя:
то ли клики в военном стане,
собрались ли в поход князья,
на базар ли спешат крестьяне.
Мягкий говор, глухое «ге»,
неотчетливые ударенья,
словно лебедь блуждает в пурге
и теряет свое оперенье.
Он забыл о лазурной судьбе,
он во мраке кончает скитанье,
он друзей призывает к себе
округленною глубью гортани.

Дорогие мои друзья,
я вас полным именем кличу.
Вы и впрямь до сих пор князья
и по стати и по обличью.
Вы не блеском своих дворцов, —

вы творцами были на деле,
вы на землях своих отцов,
как на княжьем престоле, сидели!

Город Курск на веков гряде,
неподкупный и непокорный,
на железной залег руде,
глубоко запустивши корни.
Он в овчине густых садов,
в рукавицах овсяных пашен
не боится ничьих судов,
никакой ему враг не страшен.
Он над малой стоит рекой,
мочит яблоки, сушит груши
и не знает еще, что покой
будет навек его нарушен.
Он теперь опален огнем,
а тогда был так безопасен...
Как давно не бывал я в нем!
Как я многим ему обязан!

1930—1943

166. ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Володя!
        Послушай!
                Довольно шуток!
Опомнись,
        вставай,
                пойдем!
Всего ведь как несколько
                куцых суток
ты звал меня
        в свой дом.
Лежит
        маяка подрытым подножьем,
на толпы
        себя разрядив
                и помножив;

бесценных слов
транжира и мот,
молчит,
тишину за выстрелом тиша;
но я
и сквозь дебри
мрачнейших немот
голос,
меня сотрясающий,
слышу.
Крупны,
тяжелы,
солоны на вкус
раздельных слов
отборные зерна,
и я
прорастить их
слезами пекусь
и чувствую —
плакать теперь
не позорно.
От гроба
в страхе
не убегу:
реальный,
поэтусторонний,
я сберегу
их гул
в мозгу,
что им
навеки заронен.
«Мой дом теперь
не там, на Лубянском,
и не в переулке
Гендриковом;
довольно
тревожиться
и улыбаться
и слыть
игроком
и ветреником.

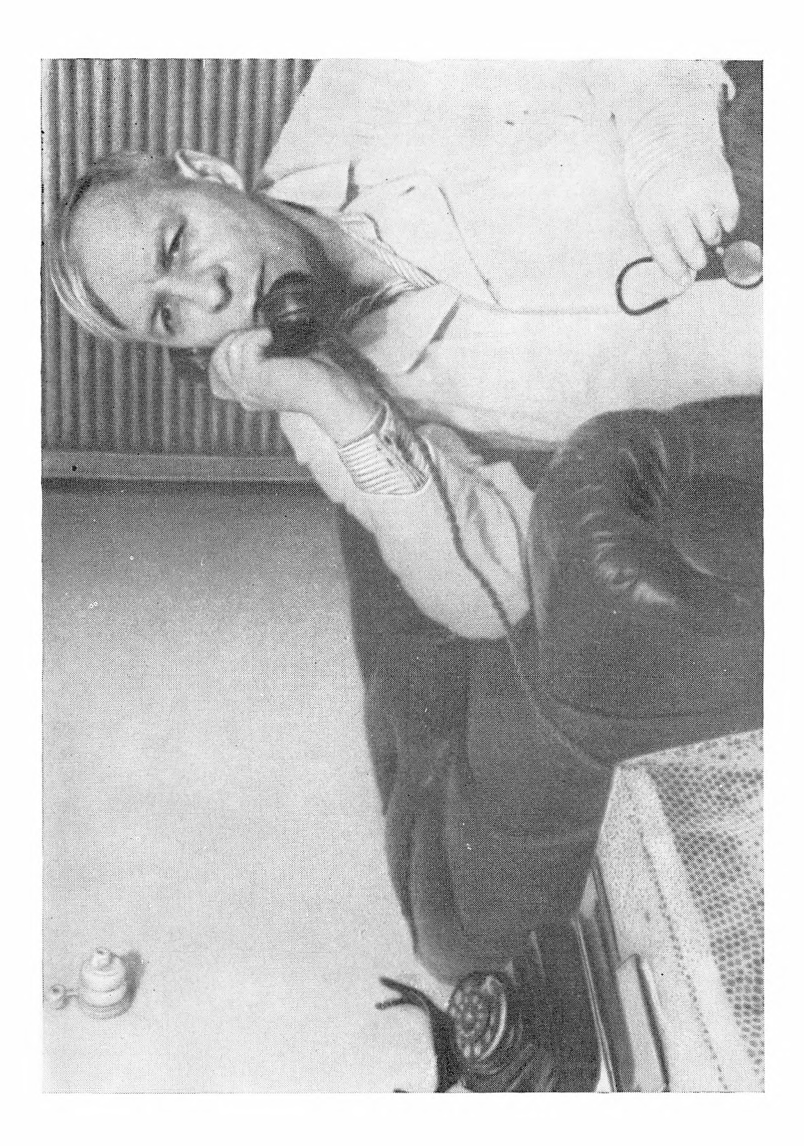
Мой дом теперь —
далеко и близко,
подножная пыль
и зазвездная даль;
ты можешь
с ресницы его обрызгать
и все-таки —
никогда не увидать».
Сказал,
и — гул ли оркестра замолк
или губы —
чугун —
на замок.
Владимир Владимирович,
прости — не пойму,
от горя —
мышленье туго.
Не прячься от нас
в гробовую кайму,
дай адрес
семье
и другу.
Но длится тишь
бездонных пустот,
и брови крыло
недвижимо.
И слышу:
крепче во мне растет
упор
бессмертного выжима.
«Слушай!
Я лягу тебе на плечо
всей косной
тяжестью гроба,
и, если плечо твое
живо еще,
смотри
и слушай в оба.
Утри глаза
и узнать сумей
родные черты
моих семей.

Они везде,
где труд и учет,
куда б ни шагнул,
ни пошел ты.
Мой кровный тот —
чья воля течет
не в шлюз
лихорадки желтой.
Ко мне теперь
вся земля приближена,
я землю
держу за края.
И где б ни виднелась
рабья хижина,
она —
родная,
моя.
Я ночь бужу,
молчанье нарушив,
коверкая
стран слова;
я ей ору:
берись за оружье,
пора,
поднимайся,
вставай!
Переселясь
в просторы истории,
перешагнув
за жизни межу,
не славы забочусь
о выспреннем вздоре я, —
дыханьем мильонов
дышу и грожу.
Я так свои глаза
расширил,
что их
даже облако
не заслонит,

чтоб чуяли
щелки, заплывшие в жире,
что зоркостью
я
знаменит.
Я слышу, —
с моих стихотворных орбит
крепчает
плечо твое хрупкое:
ты в каждую мелочь
нашей борьбы
вглядись,
не забыв про крупное.
Пусть будет тебе
доро́га одна —
где резкой ясности
истина,
что всем
пролетарским подошвам
родна
и неповторима
единственно.
Спеши на нее
и крепче держись
вплотную с теми,
чье право на жизнь.
Еврей ли,
китаец ли,
негр ли,
русский ли, —
взглянув на него,
не бочись,
не лукавь.
Лишь там оправданье,
где прочные мускулы
в накрепко сжатых
в работе руках.
Если же ты,
Асеев Колька,
которого я
любил и жалел,

отступишь хоть эстолько,
хоть полстолько,
очутишься
в межпереходном жулье;
если попробуешь
умещаться,
жизни похлебку
кой-как дохлебав,
под мраморной задницею
мещанства,
на их
доходных в меру
хлебах;
если ослабнешь
хотя б немножко,
сдашь,
заюлишь,
отшатнешься назад, —
погибнешь,
свернувшись,
как мелкая мошка,
в моих —
рабочих
всесветных глазах.
Мне и за гробом
придется драться,
мне и из праха
придется крыть:
вот они —
некоторые
в демонстрации
медленно
проявляют прыть.
Их с места
сорвал
всеобщий поток,
понес
из подкорья рачьего;
они спешат
подвести мне итог,
чтоб вновь
назад поворачивать.

То ли в радости,
то ли в печали
панихиду
по мне отзвонив,
обо мне, —
как при жизни молчали,
так и по смерти
оглохнут они.
За ихней тенью,
копя плевки, —
и, что
всего отвратительней, —
на взгляд простецкий,
правы и ловки —
двудушья
тайных вредителей.
Не дай им
урну мою
оплюнуть,
зови товарищей
смело и громко.
Бригада, в цепи!
На помощь, юность!
Дорогу
ко мне
моему потомку!
Что же касается
до этого выстрела, —
молчу.
Но молчаньем
прошу об одном:
хочу,
чтоб река революции
выстирала
это единственное
мое пятно.
Хочешь знать,
как дошел до крайности?
Вся жизнь —
в огневых атаках
и спорах, —



долго ли
на пол
с размаху грянуться,
если под сердцем
не пыль, а порох?
Пусть никто
никогда
мою смерть
(голос тише —
уши грубей),
кто меня любит,
пусть не смеет
брать ее...
в образец себе.
Седей за меня,
головенка русая,
на страхи былые
глазок не пяль
и помни:
поэзия — есть революция,
а не производство
искусственных пальм».
...Смотрю
на тучу пальто поношенных,
на сапогов
многое множество...
Нет!
Он не остался
один-одинешенек.
И тише
разлуки тревогой
тревожусь.
Небо,
которое нелюдимо,
вечер
в мелкую звездь оковал,
и две полосы
уходящего дыма,
как два
раскинутые рукава.

1930

167. ИСКУССТВО

Осенними астрами
день дышал, —
отчаяние
и жалость! —
как будто бы
старого мира душа
в последние сны
снаряжалась;
как будто бы
ветер коснулся струны
и пел
тонкоствольный ящик
о днях
позолоченной старины,
оконченных
и уходящих.
И город —
гудел ему в унисон,
бледнея
и лиловея,
в мечтаний тонкий дым
занесен,
цветочной пылью
овеян.
Осенними астрами
день шелестел
и листьями
увядающими,
и горечь горела
на каждом листе,
но это бы
не беда еще!
Когда же небес
зеленый клинок
дохнул
студеной прохладою, —

у дня
        не стало заботы иной,
как —
        к горлу его прикладывать.
И сколько бы люди
                    забот и дум
о судьбах его
                ни тратили, —
он шел — бессвязный,
                    в жару и бреду,
бродягой
            и шпагоглотателем.
Он шел и пел,
                облака расчесав,
про говор
            волны дунайской;
он шел и пел
                о летящих часах,
о листьях,
            летящих наискось.
Он песней
            мир отдавал на слом,
и не было горше
                уст вам,
чем те,
        что песней до нас донесло,
чем имя его —
                искусство.

1930

168. ТВЕРДЫЙ МАРШ

Восемь командиров
    РККА
врезывались ветру
    в облака.
Старшему из равных
    сорок лет,
больше половины —
    прочим нет.

Молоды, упорны,
ясный взгляд,
всей стране защита —
первый ряд.
Небо наклонилось
и само
вслед за ними рвалось
в комсомол.
Поднималась плесень
от болот, —
ей корабль навстречу
вел пилот.
Выше, выше, выше —
день был сер —
восемь командиров
СССР.
Если рявкнул гром бы
вражьих жерл,
стал бы тверд, как ромбы,
ихний взор.
Если крест фашистский
в небесах,
влет вираж крутой бы
описал.
Но воздушной ямы
тишь да мгла
их рукою мертвой
стерегла.
Вплоть затянут полог
тучевой,
за дождем не видно
ничего.
Красных звезд не видно
на крыле.
Крепких рук не слышно
на руле.
Хоронили рядом
с гробом гроб.
Прислонились разом
к ромбу ромб...
Но слезой бессильной
их смерть не смажь.

Выше, выше, выше
    в тучи марш!
Накренилось небо
    к ним само:
«Кто на смену старшим —
    в комсомол?»

1931

169. ШТОРМОВАЯ

Непогода моя жестокая,
не прекращайся, шуми,
хлопай тентами и окнами,
парусами, дверьми.

Непогода моя осенняя,
налетай, беспорядок чини, —
в этом шуме и есть спасение
от осенней густой тишины.

Непогода моя душевная —
от волны на волну прыжок, —
пусть грозит кораблю крушение,
хорошо ему и свежо.

Пусть летит он, врывая бока свои
в ледяную тугую пыль,
пусть повертывается, показывая
то корму, то бушприт, то киль.

Если гибнуть — то всеми мачтами,
всем, что песня в пути дала,
разметав, как снасти, все начатые
и неоконченные дела.

Чтоб наморщилась гладь рябинами,
чтобы путь кипел добела,
непогода моя любимая,
чтоб трепало вкось вымпела.

Пусть грозит кораблю крушение,
он осилил крутой прыжок, —
непогода моя душевная,
хорошо ему и свежо!

1932

170. О СМЕРТИ

Меня застрелит белый офицер
не так — так этак.
Он, целясь, — не изменится в лице:
он очень меток.

И на суде произнесет он речь,
предельно краток,
что больше нечего ему беречь,
что нет здесь пряток.

Что женщину я у него отбил,
что самой лучшей...
Что сбились здесь в обнимку три судьбы, —
обычный случай.

Но он не скажет, заслонив глаза,
что — всех красивей —
она звалась пятнадцать лет назад
его Россией!..

1932

171. АБХАЗИЯ

Кавказ в стихах обхаживая,
гляжусь в твои края,
советская Абхазия,
красавица моя.

Когда, гремя туннелями,
весь пар горам раздав,
совсем осатанелыми
слетают поезда,

И моря малахитового,
тяжелый и простой,
чуть гребни перекидывая,
откроется простор,

И входит в сердце дрожь его,
и — высоту обсеяв —
звезд живое крошево
осыплет Туапсе,

И поезд ступит бережно,
подобно босяку,
по краешку, по бережку,
под Сочи на Сухум, —

Тогда глазам откроется,
врагу не отдана,
вся в зелени до пояса
зарытая страна.

Не древние развалины,
не плющ, не виадук —
одно твое название
захватывает дух.

Зеркалит небо синее
тугую высоту.
Азалии, глицинии,
магнолии — в цвету.

Обсвистана пернатыми
на разные лады,
обвешана в гранатные
кровавые плоды,

Врагов опутав за ноги,
в ветрах затрепетав,
отважной партизанкою
глядишь из-за хребта.

С тобой, с такой красавицей,
стихам не захромать!
Стремглав они бросаются
в разрыв твоих громад.

Они, тобой расцвечены,
скользят по кручам троп —
твой, шрамами иссеченный,
губами тронуть лоб!

1933

172. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕЗГИНКА

За аулом далеко
заржала кобыла. . .
«Расскажи нам, Шалико,
что с тобою было.
От каких тяжелых дел,
не старея,
молодым ты поседел,
спой скорее».
— «Подымался в горы дым,
ночь — стыла.
Заезжали джигиты
белым — с тыла.
Потемнели звезды,
небеса пусты,
над ущельем рос дым,
зашуршали кусты.
Я шепчу, я зову.
Тихи сакли.
Окружили наш аул
белых сабли.
Шашки светятся.
Сердце, молчи!
В свете месяца —
зубы волчьи.
За зарядом заряд. . .
Пики близки.

У меня в газырях —
наших списки.
Скачок в стремя!
Отпустил повода,
шепчу в темя:
«Выручай, Тахада́!»
Натянула повода,
мундштук гложет,
отвечает Тахада,
моя лошадь:
«Дорогой мой товарищ,
мне тебя жалко.
Сделаю, как говоришь,
амханаго Шалико!»
С копыт камни,
горы мимо,
вот уже там они —
в клочьях дыма.
Ас-ас-ас-ас! —
визжат пули.
Раз-раз-раз-раз! —
шапку сдули.
Разметавши коня,
черной птицей
один на меня
сбоку мчится.
На лету обнялись,
сшиблись топотом
и скатились вниз,
и лежим оба там.
Туман в глазах,
сломал ногу...
Но не дышит казак:
слава богу!
Полз день, полз ночь —
горит рана.
Рано — поздно,
поздно — рано.
Ногу в листья обложив,
вы меня вынесли.
В этой песне нету лжи,
нету вымысла.

Грудь моя пораненная
конца избежала...»
Жареная баранина
на конце кинжала.
В кольцо, в кольцо!
Пики далеко!
Кацо, кацо,
Нико, Шалико!

1933

173. ЛЕТНЕЕ ПИСЬМО

Напиши хоть раз ко мне
такое же большое
и такое ж
жаркое письмо,
чтоб оно
топорщилось листвою
и неслось
по воздуху само.
Чтоб шумели
шелковые ветви,
словно губы,
спутавшись на «ты».
Чтоб сияла
марка на конверте
желтоглазым
зайцем золотым.
Чтоб кололись буквы,
точно иглы,
растопившись
в солнечном огне.
Чтобы синь,
которой мы достигли,
взоры
заволакивала мне.
Чтоб потом,
в нахмуренные хвои
точно,
ночь вошла темным-темна...

Чтобы всё нам
чувствовалось вдвое,
как вдвоем
гляделось из окна.
Чтоб до часа утра,
до шести нам,
голову
откинув на руке,
пахло земляникой
и жасмином
в каждой
перечеркнутой строке.
У жасмина
запах свежей кожи,
земляникой
млеет леса страсть.
Чтоб и позже —
осенью погожей —
нам не разойтись,
не запропасть.
Только знаю:
так ты не напишешь...
Стоит мне
на месяц отойти —
по-другому
думаешь и дышишь,
о другом
ты думаешь пути.
И другие дни
тебе по нраву,
по-другому
смотришься в зрачки...
И письмо
про новую забаву
разорву я накрест,
на клочки.

1934

174. ПО ОКЕ НА ГЛИССЕРЕ

Глиссером
по вечерней
медной,
тускло плавящейся
Оке
с дорого́ю,
неверной,
бедной
схолодавшей
рукой в руке.
Брызгами
разлетаясь на́ стены,
за кормою
кипит вода!
Всё безрадостнее,
всё явственней
ветер за плечи
рвет года;
зеркалами огня
кровавыми
на осколки
разбивши плес,
над беспамятными
провалами
он былое,
свистя, унес.
Что тут памяти
тускло вспыхивать,
берега
зазря волновать!
Эта выдумка
вечера тихого
неудачна
и не нова.
Этот путь,
прорезаемый глиссером
в предвечерний
речной туман, —

наш,
усыпанный водным бисером,
завершающийся
роман.
Берега
отдаются сумеркам
под жестокую
медь зари.
Ночь летит
с парашюта кувырком,
как ни вспыхивай,
ни гори.
За спиною
режет пропеллер
наше прошлое
без следа...
Берега
навзрыд захрапели,
и без памяти
спит вода.
1934

175. КОНЦОВКА

Шел дождь. Был вечер нехорош,
недобрый, неуклюжий.
Он извивался у калош
сырой гадюкой — лужей.

Был ветер въедлив, липок, лжив,
зудел и ныл со злости;
не только в помыслах кружил, —
завинчивался в кости.

Небес тяжелая пола
до тротуаров висла.
Такая небываль была,
что всё лишалось смысла.

Такая ночь, без слов, без звезд,
такая мразь по коже,
что стало всё это — до слез
на правду непохоже.

Такая мраку благодать
без чувств и без созвездий,
что женщина могла отдать
себя в любом подъезде.

Отдать без слов, отдать зазря
у первого порога.
Шел дождь. Шла ночь. Была заря
отложена без срока.

Был ветер въедлив, скользок мрак,
был вечер непроглядный...
И вот оно случилось так,
неласково, неладно.

Он молод был, он баки брил,
он глуп был, как колода,
он был рождения верзил
не нашего приплода.

Читатель лист перевернет
и скажет: «Что за враки?
Ну где в тридцать четвертый год
ты встретишь эти баки?»

Клянусь тебе, такие есть
с тобой бок о бок, рядом,
что нашу жизнь и нашу честь
крысиным травят ядом.

Сырою ночью, смутной тьмой
меж луж и туч таятся.
А ты — воротишься домой,
и фонари двоятся.

Двоится жизнь, двоится явь,
и — верь не верь про это —
хотя бы влет, хотя бы вплавь
пробиться до рассвета.

Хоть всей премудрости тома
подставь себе под локоть...
А женщина? Она — сама.
Ее — не надо трогать.

1934

176. ВДОХНОВЕНЬЕ

Стране
не до слез,
не до шуток:
у ней
боевые дела, —
я видел,
как на парашютах
бросаются
люди с крыла.
Твой взгляд разгорится,
завистлив,
румянец
скулу обольет,
следя,
как, мелькнувши,
повисли
в отвесный
парящий полет.
Сердца их,
рванув на мгновеньс,
забились
сильней и ровней.
Вот это —
и есть вдохновенье
прилаженных
прочно ремней.
Казалось:
уж воздух их выпил,

и горем
примята толпа,
и вдруг,
как надежда,
как вымпел,
расправился
желтый тюльпан!
Барахтаться
и кувыркаться
на быстром
отвесном пути
и в шелковом
шуме каркаса
внезапно
опору найти.
Страна моя!
Где набрала ты
таких
нерассказанных слов?
Здесь молодость
бродит крылата
и старость
не клонит голов.
И самая ревность
и зависть
глядят,
запрокинувшись,
ввысь,
единственной
мыслью терзаясь:
таким же
полетом нестись.

1934

177. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Краматорский завод! Заглуши мою гулкую тишь.
Пережги мою боль. Помоги моему неуспеху.
Я читал про тебя и светлел — как ты стройно блестишь,
как ты гордо зеркалишься сталью от цеха по цеху.
Это странно, быть может, что я призываю тебя.

Представляю твой рост — и мороз подирает по коже.
Только ты целиком — увлекая, стыдя, теребя, —
и никто из людей эту тяжесть свалить не поможет.
Говорят, ты железные можешь чеканить сердца
и огромного веса умеешь готовить детали.
Ты берешь эту прорву осеннего будня-сырца,
чтоб из домен твоих — закаленные дни вылетали.
Вдунь мне в уши приказ. Огневою рудой отбелей,
чтоб пошла в переплав полоса эта жизни плохая,
чтоб и я, как рабочий, присев в полосе тополей,
молодел за тебя, любовался тобой, отдыхая.
Говорят, и у Круппа — твоим уступают станки,
и у Шнейдер-Крезо — не видали таких агрегатов.
Но и чувства бывают настолько сложны и тонки,
что освоить их сможет никто — как сквозная бригада.
Человеческий голос негромок, хоть он на краю,
и бывает: все самые тонкие доводы — грубы.
Краматорский завод! Вся надежда моя на твою
на могучую силу, на горны твои и на трубы.

1934

178. ОСТЫВАНЬЕ

1

Смотри! Обернись! Ведь не поздно.
Я не угрожаю, но — жаль...
И небо не будет звездно,
и ветви остынут дрожа.

Взгляни, улыбнись, еще встанешь,
еще подойдешь, как тогда.
Да нет, не вернешь, не растянешь
спрессованные года!

И ты не найдешь в себе силы,
и я не придумаю слов.
Что было — под корень скосило,
что было — быльем поросло.

2

Ты меня смертельно обидела,
Подождала, подстерегла,
злее самого злого грабителя
оглушила из-за угла.

Я и так и этак прикладываю,
как из памяти вырвать верней
эту осень сырую, проклятую,
обнажившую всё до корней.

Как рваный осколок в мозгу,
как сабельную примету,
я сгладить никак не могу
свинцовую оторопь эту.

3

От ногтя до ногтя, с подошв до кистей
я всё обвиняю в тебе:
смешенье упрямства и темных страстей
и сдачу на милость судьбе.

Я верил, что новый откроется свет —
конец лихорадки тупой,
а это — всё тот же протоптанный след
для стада — на водопой.

Так нет же! Не будет так! Не хочу!
Пусть лучше — враждебный взгляд.
И сам отучусь, и тебя отучу
от жалоб, от слез, от клятв.

Прощай! Мне милее холодный лед,
чем ложью зажатый рот.
Со мною, должно быть, сдружится зима
скорее, чем ты сама.

Прощай! Я, должно быть, тебя не любил.
Любил бы — наверно, простил.
А может, впустую растраченный пыл
мне стал самому постыл.

1935

179. СЧАСТЬЕ

Что такое счастье,
милый друг?
Что такое счастье
близких двух?

Выйдут москвичи из норок,
в белом все, в летнем все,
поглядеть, как на планерах
дни взмывают над шоссе.
По шоссе шуршат машины
на лету, налегке.
Тополевые пушины —
по Москве по реке.
А по лесу, по опушке,
здесь, у всех же на виду,
тесно сдвинуто друг к дружке,
на серебряном ходу
едет счастье краем леса.
По опушке по лесной
пахнет хвоевым навесом,
разомлелою сосной.
Едет счастье, едет, едет,
еле слышен шины хруст,
медленно на велосипеде
катит драгоценный груз.
Он руками обнял стан ей,
самый близкий, самый свой.
А вокруг зари блистанье,
запах ветра, шелест хвой.
Милая бочком уселась
у рогатого руля.
Ветер проявляет смелость,
краем платья шевеля.
Едет счастье, едет, едет
здесь, у всех же под рукой, —
медленно на велосипеде
ощущается щекой.
Чуть поблескивают спицы
в искрах солнечных лучей.
Хорошо им, видно, спится

друг у друга на плече.
А вокруг Москва в нарядах,
а вокруг весна в цвету,
Красной Армии порядок,
и — планеры в высоту.

Что ж такое счастье
близких двух?
Вот оно какое,
милый друг!

1935

180. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Камень камню кричит:
помоги!
Сердце сердцу стучит:
осторожно!
Теснотой этих тропок стреножено,
горе скачет,
стуча в три ноги.
Человек на скале —
это быль...
Пыль из бурок
нагайкой не выбьешь.
Как коня ни резви
и ни мыль,
всё равно его к небу не вздыбишь.
Гром железо кует в небесах,
плети молний секут по вершинам,
по протравленным едко морщинам,
как поток,
эту жизнь описав.
Человек на скале —
это быль...
Человек на коне —
это песня,
это —
скалы взлетели отвесно,
это —
ветром взметенная пыль.

Нет, не песни движенье и взлет, —
это —
вымершей были восстанье,
это —
средневековый крестьянин
к небесам свою молодость шлет.
Вот автобус гудит:
обгони!
Разве скачка
для сердца лекарство?
Отдышали в лесах кабаны,
землю вынюхав мордой клыкастой.
Бурку вскинув за плечи крылом,
ты напрасно
коня загоняешь,
ты напрасно
летишь напролом,
ты размера той силы
не знаешь.
И шоферу в кабине нельзя,
неудобно с тобой состязаться, —
он машину ведет
тормозя,
он ведь знает,
что конь твой —
богатство.
Я губами на облако дуну,
я плечами откинусь на склон,
если люди
здесь стройны,
как струны,
только тронь —
и посыплется звон.
Я тебя умоляю, молю —
это ж
пчелы умеют из воска, —
замени отзвеневший аллюр
на
крылами плывущую
плоскость,

чтобы там,
где бесхвостый шакал
изнывал свою низкую участь,
окна школы лепились у скал,
агрогород поблескивал в туче;
чтоб задача
была решена,
чтобы губы мои
не мертвели,
чтоб кололась
в куски тишина
под гортанным напевом картвели;
чтоб не в горнах
глухих кустарей
пламенело железо тугое,
чтоб никто
не успел постареть,
не увидев здесь время другое.
Камень камню кричит:
помоги!
Сердце сердцу стучит:
осторожно!
Это время
душой стереги,
это время
легко и возможно.
Как скала,
отколовшись куском,
быль слаба
в своем весе жестоком.
Только пни ее легким носком —
и она
загремит над потоком.
И, к локтям отвернув рукава,
ты берешься за общее дело,
чтоб земля
под подошвой гудела,
чтоб Кавказу —
в веках ликовать.

1933—1938

181. РОЖДЕНИЕ ОБЛАКА

Ребенок — облако
выходит
из пеленок гор.
Потом, потягиваясь тельцем,
он по изложьям горным стелется.
То в птицу превратясь,
то — в рысь,
летит, вытягиваясь ввысь,
туда, где горы давит туча,
синя, сурова и сверкуча.

1933—1938

182. ВОДОПАД МУРУДЖУ

Женщина стоит у водопада,
рада, рада,
что ее — с головы до пят
в блеск и в шум одел водопад.
Водопад — ее фаворит,
и она ему говорит:
«Драгоценный мой Муруджу,
хочешь — я от тебя рожу,
я рожу от тебя девчонку,
замечательную речонку,
совершенно такую, как ты, —
неописанной красоты!»

1933—1938

183—187. *РОМАН ПРОШЛОГО ГОДА*

1

Под теплым весенним крутым дождем
стоит ваш дом.
Всех сладких весенних дождей вождем
молчит ваш дом.

Струится, бормочет и каплет с крыш
весна и тишь.
Мы с домом под ливнем — мокры, как мышь...
Струится с крыш.
Мы с ливнем вдвоем на крыльце твоем
о весне поем.
Со сладким весенним дождем вдвоем —
на крыльце твоем.

2

Ночь соблазнительна. Сами светят
синью своей небеса.
Как хорошо, что весна на свете!
Как это описать?
Только прислушайся, только приблизься, —
как эти ветви сочны!..
Слышишь, как сами шевелятся листья
этих деревьев ночных?
Этих ветвей, еще тонких и слабых,
чуешь победную дрожь?
Как этот тонкий и радостный запах
в каждую голову вхож!..

3

Рука тяжелая, прохладная
легла доверчиво на эту,
как кисть большая виноградная,
захолодевшая к рассвету.
Я знаю всю тебя по пальчикам,
по прядке, где пробора грядка,
и сколько в жизни было мальчиков,
и как с теперешним несладко.
И часто за тебя мне боязно,
что кто-нибудь еще и кроме
такую тонкую у пояса
тебя возьмет и переломит.
И ты пойдешь свой пыл раздаривать,
и станут гаснуть окна дома,

и станет повторенье старого
тебе — до ужаса знакомо.
И ты пойдешь свой пыл растрачивать...
Пока ж с весной не распрощаться,
давай всерьез, по-настоящему,
поговорим с тобой про счастье.

4

Помнишь: поезд, радостен и скор,
скатывался с гор,
темным лоском ливня остеклен,
падал под уклон.
Машинист, должно быть, не жалел угля,
разгонял стремглав.
Паровоз, должно быть, не жалел колес,
нажимал всерьез.
Это было счастье. Счастьем зашатав,
грохотал состав.
Этот грохот, этот запах смол
и сейчас не смолк.
Он стоит, застыв на всех парах,
как туман в горах.

5

Губы, перетравленные ложью,
сложенной на тысячу ладов;
груди, перетроганные дрожью
рано наступивших холодов.

По одной-единственной примете,
как охотник птицу по перу,
помнишь, я предсказывал про эти
меркнувшие окна ввечеру.

Молодость твоя пройдет впустую,
никого путем не обожжет,
колесом впустую, вхолостую,
перекати-полем пропадет.

Именно такая, не иная
всё она мне чудится кругом;
может, про нее я вспоминаю
чаще, чем о чем-нибудь другом.

Ты хотела спеться и сдружиться
и подушкой бросить на кровать,
что должно носиться и кружиться
и тревогой-ветром обдавать.

1933—1938

188. ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ

Горной речонки
в камнях воркованье,
вечные кряжи
в нетающем льду...
Капельный мальчик
идет на аркане
у крошечной девочки
на поводу.
Горы,
укрытые в зелень разлато,
воздух,
процеженный солнцем,
ленив.
Белыми ангелами
козлята
скачут,
безрогие лбы наклонив.
Войлочная
широкополая шляпа,
важно торчат
газыри на груди,
но
помогает здесь мужество слабо,
он — позади,
а она — впереди.
«Ты же задушишь его,
дурная!»

Хмуро сверкнула
черным зрачком:
дескать, не вмешивайся,
не понимая! —
и
погрозила мне
кулачком.
Без украшений
и без косметик,
с детства связавшись
с его судьбой,
так и ведет она
белый бешметик —
копию взрослого —
за собой!

1941

139. КОНТРАТАКА

Стрелок следил
во все глаза
за наступленьем неприятеля,
а на винтовку стрекоза
крыло хрустальное приладила.

И разобрал пехоту смех
на странные
природы действия, —
при обстоятельствах
при всех
блистающей.
как в годы детские.

И вот —
сама шагай нога —
так в наступленье
цепи хлынули,
и откатилась тень врага
назад
обломанными крыльями.

И грянул сверху бомбовоз,
и батареи
зев разинули —
за синь небес,
за бархат роз,
за счастья
крылья стрекозиные.

1941

190. ПОЛЕТ ПУЛЬ

Ребенок вдали закричал:
«Не надо, не надо, не надо!»
Пронзительный крик отвечал
на то, чему сердце не радо.

На то, чему чужды зрачки,
и губы, и руки, и ноги;
разодрано время в клочки
стенаньем воздушной тревоги.

Вот так начиналась война,
пред нею — все звуки не громки:
качнется квартиры стена,
и рухнут на плечи обломки.

Ударит тяжелый снаряд,
размечет железо и камень, —
и старые стены горят,
нетронутые веками.

Всё стало непрочным, как дым,
и думалось горестно людям:
«Умрем или победим!»
Мы этих времен не забудем.

Потом мы привыкли к войне
и стали носить ее имя,

и стали, обычны вполне,
детали ее — бытовыми.

Набухши ее молоком,
дыханьем ее ядовитым,
мы взгляд устремляли мельком
к обманам ее и обидам.

Мы стали до губ тяжелеть
под всем, что на сердце сгружалось.
Железо ли надо жалеть?
Железо не знает про жалость!

И только на душах налет,
как бы от гранильного шлака,
ее непомерных тягот,
ее несводимого знака.

Мы сами втянулись в валы
стальных и железных прокатов,
и сами вложились в стволы
нацеленных автоматов.

Поэтому — неотвратим —
растет наш напор, прибывая;
мы сами, как пули, летим,
сквозь воздух летим, запевая.

Сквозь время летим и поем
и светимся сами от пенья —
о самом большом, о своем
предел перешедшем терпенье.

Уже нас назад не вернуть,
мы порохом пущены в дело,
навеки проложенный путь
должны долететь до предела.

Рукой нас теперь не словить,
как взмывшую в небо комету,
бронею не остановить, —
на свете брони такой нету.

Мы на́сквозь ее просверли́м,
куда бы враги ни засели,
покуда не дрогнет Берлин,
пока не ударим по цели!

9 сентября 1941

191. БУДНИ ВОЙНЫ

Это невероятно:
камни дорог в крови,
в прачечных ржавые пятна,
а люди — туда и обратно,
туда и обратно,
как ничего не случилось,
как муравьи!

Это невыразимо:
взрывов в глазах столбы,
а люди — всё мимо и мимо,
мимо своей незримой,
неотвратимой
судьбы!

Тел неоплаканных груды,
дум недодуманных дни. . .
Люди не любят чуда:
горы пустой посуды,
суды да пересуды,
слухи да сплетни одни.

Так же стригут бородки,
так же влачат кули,
так же по стопке водки
лихо вливают в глотки,
так же читают сводки,
точно война — вдали! . .

Голову забинтовала
белым бинтом земля.

Скошенный рот подвала
хмуро зевает — мало
телу уюта,
мало душам тепла суля.

Не рассказать про геройство
серым, сухим языком!

Это — отчаянных свойство!..
В землю вгрызись и заройся
вместе с пехотным полком, —
вот тогда, может быть, тоже
будешь понятье иметь:
вместо наигранной дрожи —
злую чувствительность кожи,
глотки простуженной медь...

Может, и сможешь похоже
это геройство воспеть.

1941

192. ПОЕЗДА

Над пространствами оледенелыми,
где студеная блещет звезда,
пролетают калеными стрелами
огнедышащие поезда;

С продовольствием, танками, пушками,
с эшелонами силы живой
погромыхивают теплушками
на подмогу страде боевой.

Паровозы, заросшие в инее, —
воду взял на ходу и — прочь!
А над ними раскинулась синяя
новогодняя грозная ночь.

Ни секунды промешки и праздности,
каждый миг у них на счету;
к постоянной привыкший опасности
глаз прощупывает темноту.

Ни жилья далеко в обе стороны,
ожидай непредвиденных встреч;
рыщут в небе железные вороны,
чтобы путь им навек пересечь.

Над просторами онемелыми,
дымный хвост по полям разметав,
пробегают, ведомые смелыми,
за составом гремящий состав.

Если хищник вблизи обнаружится,
если с неба сорвется гроза, —
не изменит суровое мужество,
не сдадут на ходу тормоза.

Горизонт полыхает пожарами.
Не замедли, не сдай, доведи!
Машинистами и кочегарами
много видывано на пути.

Много бед пронеслось над бывалыми,
отклубилось, как пар на траве;
над горящими поддувалами
много дум проплыло в голове.

В небе — звезд золотистые оспины.
Постоянно держись начеку!
Много снов ими в жизни недоспано,
недовидено на веку.

Наклонись же над лицами дымными,
отведи беду от них прочь,
сохрани ты их невредимыми,
новогодняя синяя ночь!

1942



193. ГОРОДОК НА КАМЕ

1

...Спасибо тебе,
городок на Каме —
глубокий,
надежный советский тыл, —
что с нашею прозою
и стихами
ты нас не обидел
и приютил.

Остаток
забытого царства Булгарского,
без имени кличущий Каму —
«Река»,
ты в воду гляделся
темно и неласково
на то,
как проносятся мимо века.

Я помню,
как ты из-за мыса выступил,
впервые пред нами
открывшись вдали,
весь противореча названию
Чистополь, —
по горло в грязи
и по пояс в пыли.

Ты встретил нас
шипом своих сковородок,
солидным покачиваньем плотов,
на всех перекрестках,
на всех поворотах
учить нас
науке терпенья готов.

И первым ребячьим
забытым уроком
гусиных семейств

и лохматых дворняг —
был вывод,
что смысл
не в житье одиноком,
что жизнь
заключается в сильных корнях;

Что грязи и пыли
не надо пугаться;
что почва
здесь так глубока и жирна, —
что в самой природе ее —
богатство,
обилье,
и пышность,
и сила зерна!

Здесь что ни посадишь —
растет и плодится,
чуть в землю —
обратно земля отдает;
здесь почва
сама заставляет трудиться
и чуть ли сама за себя
не поет!

На окнах
такие пылают герани,
такие наплывы
соцветий густых,
что, кажется, слышишь
желаний сгоранье
и новое возникновение их.

И здесь —
это вовсе не вычурный вымысел —
горит наше будущее на примусе...

Но если
в природе,
в растительном чуде,
здесь каждый обласкан

и стебель и ствол,
то кажется —
в хмуром,
натруженном люде
еще ни единый росток
не процвел.

2

Слушай, друг,
оглянись вокруг,
присмотрись вкруг себя
попристальней —
к лицам толп
вокзалов и пристаней...

Видишь:
харкая и матерясь,
по тротуарам мечется
плохо одетое,
скверно обутое
мужественное человечество!

Оно,
сделавшее все эти вещи:
дома, сапоги, бутылки,
солдат, письмоносцев, старух, —
не хочет своей судьбы
выпускать из собственных рук;

Оно мечется, мучится, мочится,
мычит от горя и боли,
желая жить
по собственной воле...

Обвинить ли его за это?!
Нет, не в этом судьба поэта!
Поэт
должен быть со своим народом,
он должен быть близок
к его невзгодам.

8

Какая рань,
какая муть,
и грязь, и рвань,
и тьма, и жуть!
Остатки каких-то племен обветшалых,
кочующие на пристанях и вокзалах.

Какое ошметье,
какое отребье,
уж не разговор,
а ворчанье утробье,
и водочный дух,
и свист воровской,
и брань молодух —
вот вид городской;
и бельма ворочающий гадальщик,
вещающий
о временах преходящих...

Как жадно внимают
гаданью такому:
«Гадаю за деньги,
гадаю за хлеб!»

Как будто бы
более верят слепому
именно потому,
что он слеп.

И ночи тьма
стоит, тесна;
сводя с ума,
шумит весна.

И вдруг
эта тьма прорезается песней,
которая так без ошибки чиста,
как будто вся правда народа
в родне с ней,
всё,

чем отдаленные
дышат места.

По древнему городу
поздней порою,
как будто обнявшись за плечи,
идут
каких-то безвестных волшебников
трое
и сильную,
точную песню ведут!

И веришь,
что это
поспорит с дрянною,
угрюмой действительностью
дневною.
И это
не горькая корка слепого,
и это
не голый распухший живот,
а это
в душе гражданина любого
под сердцем невысказанное живет!

И город
на прочные гвозди подкован,
и городу
сильная правда ясна,
и нету на свете
народа такого,
которого б так
волновала весна!

1942
Чистополь

194. ЭТО — МЕДЛЕННЫЙ РАССКАЗ...

Это — медленный рассказ,
как полет
туч.

Это Северный Кавказ —
мощный взмет
круч.

Здесь ни пеший, ни ездок
не пройдет
скор, —
через Нальчик и Моздок
смотрит смерть
с гор.

Всё затянется корой,
схлынет в шум
рек.
Грозный год сорок второй
не забыть
ввек!

Враг ударил на Черкесск,
Пятигорск
пал.
Враг пошел наперерез
вековых
скал.

По долине Теберды,
через горб —
мост
перекинул он ряды,
растянул
хвост.

Он преграды прорывал,
бил гранат
град,
на Клухорский перевал
подымал
взгляд.

Вот куда он залетел,
до каких
мест!

В сердце гор он захотел
вбить кривой
крест.

Подымалось на дыбы
всё —
врагу встречь:
корнем вверх пошли дубы
на завал
лечь.

На альпийские луга
с ледников
сверк,
чтоб скользящая нога
не прошла
вверх.

Злобно щерил враг клыки,
щурил злой
глаз.
Волчьи горные полки
тщились сбить
нас.

Но у наших медвежат
не был дух
слаб, —
враг был стиснут и зажат
между их
лап.

Захрустел его костяк,
унялась
спесь,
и недолго он в гостях
побывал
здесь.

Обвалился грязи груз,
вновь чиста
даль.

Не склонился Эльбрус
под его
сталь.

Это — медленный рассказ,
тяжкий ход
туч.
Это Северный Кавказ —
мощный взмет
круч.

Здесь ни пеший, ни ездок
не пройдет
скор, —
через Нальчик и Моздок
шел громов
спор!

1943

195. НА ВЫСТАВКЕ «КОМСОМОЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Это были все
бойцы решительные,
делу верные,
ребята свойские.
Пулями
к телам их
попришитые,
кровью смочены
билеты комсомольские.
Если приглядеться
взглядом пристальным, —
кровь
где сплошь позапеклась,
где пятнами...
Ни один не скошен
четким выстрелом:
все —
очередями автоматными.

По десятку пуль им
в сердце всажено,
по билетам —
след от дыр протянут:
бил вслепую,
глаз зажмурив,
вражина,
видно, бил,
боясь:
«А ну как встанут!»
Встаньте все вы здесь —
без всякой мистики,
строем
непоколебимых воинств,
подымитесь в рост
на вечной выставке
высших
человеческих достоинств.
Вы задаром
выстрелов не тратили,
берегли
для точного ответа.
В бой идя,
не рвали и не прятали
в землю
комсомольского билета.
Юность вы свою
ценили дорого;
первый пух
едва вам щеки тронул.
Гитлер не жалел
свинца и пороха,
не жалел на вас
своих патронов.
Он хотел
итогами загробными
обвести нам
города и села.

Он мечтал
сдавить и смять
под ребрами
боевое
сердце комсомола.
Но оно —
такой горячей выплавки
брызнуло
бессмертия лучами,
что ему
глаза придется выплакать
черными
свинцовыми ручьями!
Вас же —
вечно нынешних,
теперешних —
сохранит
не батальон,
не рота, —
станет колыхать
волною бережной
в океанской памяти
народа!

1943

196—200. *ПИСЬМА К ЖЕНЕ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ ПОСЛАНЫ*

1

В первую
прожитую войну
ты сохранил от смертей
жену.
Сколько вам вместе
грозило их:
пуля, холера,
чума и тиф!

Ты рядового
шинель сносил,

помощи
ни у кого не просил;
в кипени
воинских волн гребя,
ты лишь рассчитывал
на себя...

Правда, кругом —
лишь в вагон застучи —
сразу б откликнулись
бородачи:
тридцать четвертый
стрелковый
не продавал за целковый!

Что же теперь-то,
как стал седей,
ты понадеялся
на людей?
Сам себя отдал
на ихний суд,
веря, что выручат,
что спасут,
всею штыков щетиной
вставши,
как друг единый!

Тридцать четвертого
нет полка,
поступь его
замерла, гулка́,
взмет его рук походный,
счет номеров повзводный...

Был у тебя
закадычный друг —
ты его поразменял на двух;
четверо сделалось
из двоих;
тысячи стали
друзей твоих.

Только куда ж они
делись все?
Так и сошли,
как туман по росе,
так и развеялись
по фронтам,
неуследимы
ни здесь, ни там...

2

Горькой обидой
меня не клейми...
Земля из-под ног
уплывала, скользя.
Я пробивался к тебе,
но — пойми,
я прорывался к тебе,
но — нельзя!

Я столько и так
про тебя писал,
что, если были бы небеса,
они бы услышали
мой призыв,
они бы сошли к нам
на низы!..
Но нет у небес
ни ушей, ни глаз,
не видят они
и не слышат нас.

3

Те же на небе детали,
тот же воздух,
тот же зной,
так же ласточки летали,
только нет
тебя со мной.

Четверть века
жили вместе,
вместе, мнили, умирать,
а теперь
я даже вести
не могу тебе подать.

Нет, не бомбы гром
мне страшен,
он убьет — ударит враз, —
равнодушье серых пашен,
безразличье чуждых глаз.

Раздуваемая вечно,
как пустой кузнечный мех,
беспощадно, бессердечно
ссылка вечная на всех.

4

Мне никогда
себе не простить:
как я смог ее отпустить!
Как я смел доверить другим
скрыть ее в этот жар,
в этот дым!
Как мне не было
слать ее жаль
в немилосердную
эту даль?!

Думал: ведь стрелочники-то
свои?
Почвы под рельсом
родной слои?
Где-то ведь есть
впереди водоем,
где мы напьемся
с нею вдвоем?!

Нет водоема —
земля суха.

О, долети ж до нее, строка
слов моих,
слез моих,
души моей,
жар ее губ охлади,
обвей!

Может быть, можно
еще вернуть,
можно, может быть,
сохранить?
Ведь не до дна ж
докричалась грудь,
не до конца
натянулась нить?!

Нет! Ничего не возвратишь.
Нравоучительный голос
сух.
Стих перед ним,
как речной камыш,
к шелесту нашему
слух их глух.

Не обвиняй же меня,
жена;
сердце мое
смертельно скорбит:
душу, как кожу,
эта война
кровью запекшеюся
дубит.

5

Через ветер, через вьюгу,
через сумрак ледяной
мы бросаемся друг к другу:
«Где ты?
Здесь ли ты со мной?»

Проверять души неложность,
крепость дружеской руки —
это тоже наша должность
всякой догме вопреки.

Не гнездо свое куличье
возвышаю я, хваля, —
человечности обличье
завтра взалчет
вся земля.

Потому всегда, повсюду
на поверхности земной
как во сне метаться буду:
«Где ты?
Здесь ли ты со мной?»

1943

201. НАДЕЖДА

Насилье родит насилье
и ложь умножает ложь;
когда нас берут за горло,
естественно взяться за нож.

Но нож объявлять святыней
и, вглядываясь в лезвиё,
начать находить отныне
лишь в нем отраженье свое, —
нет, этого я не сумею,
и этого я не смогу:
от ярости онемею,
но в ярости не солгу!

Убийство зовет убийство,
но нечего утверждать,
что резаться и рубиться —
великая благодать.

У всех, увлеченных боем,
надежда горит в любом:

мы руки от крови отмоем,
и грязь с лица отскребем,
и станем людьми, как прежде,
не в ярости до кости!
И этой одной надежде
на смертный рубеж вести.

1943

202—204. *ВЕСЕННЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО*

1

Как звездочет
наблюдает планету
за миллионы миль, —
я изучаю действительность эту,
в вечность плывущую быль.

И открываются,
точно с подмостков,
будущего этажи;
сколько детей
превратилось в подростков,
юноши стали — мужи!

Я, окруженный
на острове звуков
морем немых времен,
слушаю говор выросших внуков,
лепет их юных жен.

И воскресает
передо мною
запах весенних садов, —
вечная юность
за пеленою
тучами сплывших годов.

2

Слабо и сладко
пахнут мимозы;
зыбко и зябко
бегут облака...
Всё, что сдавили
и сжали морозы,
освобождает
солнца рука.

В гущу борьбы,
на весенней арене,
тут еще впутался
ветер-пострел
в это всеобщее
непостаренье, —
кто там поверит,
что мир постарел?!

Скоро
набухнувших почек березы
выстрелит
радостная шрапнель!..
Гулко и влажно
кричат паровозы, —
это
весну выкликает апрель!

8

Весеннее человечество!
В подъем подымайся скорей,
очищенное от нечисти
угрюмых концлагерей;
от сумрачного палачества,
из рук у злобы тупой,
отбитое навек и начисто, —
раскройся душой и пой.
Пой песню окрепнувшей юности
на высветленном пути,

куда тебе силу
свою нести, —
как листьями шелести.
Пой песню победного племени
о славе старых знамен,
о светом пронзенной
темени
назад отступивших времен.
Чтоб в рощах
дороги асфальтовые
кружились
из края в край,
чтоб, дрожью весенней
прохватывая,
в зрачках отражался
май!

1941—1946

205. СОЗИДАТЕЛЮ

Взгляни: заря — на небеса,
на крышах — инеем роса,
мир новым светом засиял, —
ты это видел, не проспал!

Ты это видел, не проспал,
как мир иным повсюду стал,
как стали камни розоветь,
как засветились сталь и медь.

Как пробудились сталь и медь,
ты в жизни не забудешь впредь,
как — точно пену с молока —
сдул ветер с неба облака.

Да нет, не пену с молока,
а точно стружки с верстака,
и нет вчерашних туч следа,
и светел небосвод труда.

И ты внезапно ощутил
себя в содружестве светил,
что ты не гаснешь, ты горишь,
живешь, работаешь, творишь!

1946

206. СБОРЩИЦА ВОДОРОСЛЕЙ

Женщина причесывает море
на рассвете много лет подряд;
ясные и сумрачные зори
с волнами без счету говорят.

Низко-низко наплывают тучи,
словно сны над бледною щекой;
водоросли собраны все в кучи,
женщине пора бы на покой.

Море здесь суровое, сырое,
но душа от этого бодрей, —
словно мать убитого героя
чешет пряди светлые кудрей.

Рыская, сверкая и мерцая,
море шепчет сказки старины...
Это — не царевна ли морская
век свой доживает у волны?!

<1947>

207

Ветер, сосну шелуша,
мерно качает,
блещет страна латыша
крыльями чаек.

Руки раскинуть бы врозь,
изобразя их;
В Латвии ветер не гость —
добрый хозяин.

О, помоги мне взлететь
пеной и пеньем,
о, помоги мне вскипеть
встречным волненьем!

Дай мне окликнуть людей,
спевшихся с ветром:
стайкам в ответ — лебедей
кличем приветным.

Ветер, сосну шелуша,
справа — налево;
здравствуй, страна латыша
светлая дева!

<1947>

208. ТЁХ-ТЁШКА

1

В зимний вечер из потемок
появляется котенок:
сверху сер, а снизу бел,
очень горд и очень смел.

Называется он Тёшка,
ясноглаз, и шерсть густа,
хоть его мамаша, кошка,
совершенно без хвоста.

2

Принесли его в квартиру.
Был он робок — дрожь и страх!
Путешествовать по миру
начал он, уйдя под шкаф.

Просидевши там день целый,
к ночи вышел оробелый,
весь в пыли, глаза круглы,
стал обнюхивать углы.

Кто б сказал об этой крошке,
чем окажется она?
Кто б тогда увидел в Тёшке
игруна и прыгуна?

3

Непоседа и задира —
чашки, миски кверху дном!
От его затей квартира
прямо ходит ходуном.

Всё, что двигается, вьется,
что качается, дрожит,
перепархивает, льется, —
Тёшке голову кружит.

Маятник часы качают —
надо их остановить.
Мухи в комнате летают —
надо их переловить.

4

На столы с размаху прыгал,
не удерживая пыл.
Всё, что можно двигать, — двигал,
что сумел свалить, — валил.

На боку лежит кастрюля,
дребезжит, кружась, стакан,
а котенок, словно пуля,
через стулья — на диван.

Он по-всякому проказил,
непоседлив и лукав;
он по шубам ловко лазил
и выглядывал в рукав.

Он таскал зубные щетки,
он очки носил в зубах,
норовил куснуть подметки,
вис на вороте рубах.

5

Лишь с утра он просыпался,
выгнув спину, как верблюд,
он за дело принимался,
за котячий мелкий труд:

Потолкать хозяйку в локти,
сунуть голову в пакет,
поточить о мебель когти,
пошуршать среди газет.

6

Наконец поймал он мышь...
Что с ней делать? Неизвестно.
Он ведь сам еще малыш.
Съесть ее? Неинтересно!

И, наежив уши, стал
думать думу наш красавец,
а мышонок убежал,
от когтей его спасаясь.

7

Как-то ранним вечерком,
лишь зажглись в квартире лампы,
смотрим — по полу ползком
он вытягивает лапы:

То одной вперед шагнет,
то другою — и замрет...
Видя тени от ушей,
он их ловит, как мышей.

Он вперед — и тень вперед
передвинется немножко;
он замрет — и тень замрет...
В чем же дело тут, Тёх-Тёшка?

8

Но не думайте, что он
глуповат и простодушен, —
он достаточно умен
и достаточно послушен.

Он во всем весьма опрятен,
лижет шерсть со всех сторон:
на себе малейших пятен
выносить не может он.

Просто он еще дитя,
просто он еще котенок;
погодите: год спустя
превзойдет котов ученых.

Станет сказки говорить,
песни станет петь на крыше;
сможет столько натворить,
что и в книгу не упишешь.

Будет знать — ты мне поверь —
книги, музыку и пляску...
Он мне в уши и теперь
намурлыкал эту сказку.

1947

209

Вещи — для всего народа,
строки — на размер страны,
вровень звездам небосвода,
в разворот морской волны.

И стихи должны такие
быть, чтоб взлет, а не шажки,
чтоб сказали: «Вот — стихия»,
а не просто: «Вот — стишки».

1947

210. ГЛЯДЯ В НЕБЕСА

Как лед облака, как лед облака,
как битый лед облака,
и синь далека, и синь высока,
за ними — синь глубока;

Летят облака, как битый лед,
весенний колотый лед,
и синь сквозит, высока, далека,
сквозь медленный их полет;

Летят облака, летят облака,
как в мелких осколках лед,
и синь холодна, и синь далека
сквозит и холодом льнет;

И вот облака превращаются в лен,
и лед истончается в лен,
и лед и лен уже отдален,
и снова синь небосклон!

1949

211. МОРЕ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Море нынче голубое,
море вовсе без волны;
в это море без прибоя
были горы влюблены.

Над горами встав, хохлаты,
облака бросались в лёт —
в море, полное прохлады,
в море мира без забот.

1950

212. ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА

Из четырех времен в году
весна милей и ярче всех:
с полей последний сходит снег,
и почки пучатся в саду;
она не терпит зимних бурь,
она людей зовет к труду
и, как зима бровей ни хмурь, —
выводит на небо звезду.

Из четырех времен в году
лето светлей и жарче всех:
оно дает созреть плоду
и рассыпает свет и смех;
как хорошо, сбежав к реке,
остановиться над водой, —
кукушку слушать вдалеке
и видеть месяц молодой.

Из четырех времен в году
осень ясней и тише всех:
не слышно птиц, и на виду
последний вызревший орех;
но открывает небосклон
поляны, в иней серебря,
чтоб виден был со всех сторон
великий праздник Октября.

Из четырех времен в году
зима свежей и крепче всех:
она пруды кует в слюду
и заячий меняет мех...
А на салазках вниз с горы!
А шаг голландский на коньках!
А сквозь морозные пары
вечер — в колючих огоньках!..

1950

213. ДВОЕ ИДУТ

Кружится, мчится Земшар
в зоне огня.
Возле меня бег пар,
возле меня,
возле меня блеск глаз,
губ зов,
жизнь начинает свой сказ
с азов.

Двое идут — шаг в шаг,
дух в дух;
трепет в сердцах, лепет в ушах
их двух.
Этот мальчонка был год назад
безус;
нынче глаза его жаром горят
безумств.
Эта девчурка играла вчера
с мячом;
нынче плечо ей равнять пора
с плечом.

Первый снежок, первый дружок —
двойник.
Как он взглянул — будто ожог
проник!
Снег, а вокруг них — соловьи,
перепела;
пальцы его в пальцы свои
переплела.

Стелят не сумерки, а васильки
им путь,
и не снежинки, а мотыльки —
на грудь.
«Не зазнобила бы без привычки
ты рук!»
Их, согревая без рукавички,
сжал друг.

«Ну и тихоня, ну и чудила,
тем — люб!
Как бы с тобою не застудила
я губ!»

Кружится, вьется Земшар,
всё изменя.
Возле меня щек жар,
возле меня,
возле меня блеск глаз,
губ зов,
жизнь повторяет давний рассказ
с азов!

1950

214. ИВА

У меня на седьмом этаже, на балконе, — зеленая ива.
Если ветер, то тень от ветвей ее ходит стеной;
это очень тревожно и очень вольнолюбиво —
беспокойство природы, живущее рядом со мной!

Ветер гнет ее ветви и клонит их книзу ретиво,
словно хочет вернуть ее к жизни обычной, земной;
но — со мной моя ива, зеленая гибкая ива,
в леденящую стужу и в неутоляемый зной...

Критик мимо пройдет, ухмыльнувшись презрительно-криво:
«Эко диво! Все ивы везде зеленеют весной!»
Да, но не на седьмом же! И это действительно — диво,
что, расставшись с лесами, она поселилась со мной!

1951

215. ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЬ

Пел торжественно петух,
пар курился на задворье,
звездный жар почти потух,
пел петух весны предзорье.

Шли часы такой поры:
голоса примолкли раций,
столяры за топоры
не подумывали браться.

Всех сморило по весне...
Птицы, звери, ребятишки —
все тонули в сладком сне,
головы уткнув под мышки.

Пел петух зарю не зря
мглистым утром до рассвета,
и пришла к нему заря
ярко-огненного цвета;

Вся закутана в туман,
словно в призрачной косынке, —
от нее весь лес румян,
искорки в любой росинке!..

Пел торжественно петух,
эхом лес перекликался,
ранний мир сиял вокруг —
весь в лучах переливался.

1952

216. ЖАРКО ГОРОДУ

Жарко городу этим летом,
душно городу этим годом.
Так набродишься перегретым,
что ведешь себя теплоходом!

Тротуары будто из воска...
Остановишься у киоска.
«Без сиропа или с сиропом?»
— «Без сиропа», — налить торопим.

Но в секунду — хоть пей стократно —
всё выпаривается обратно,

губы сохнут, и сердце вянет,
начинает мутиться разум.
Хорошо теперь в океане
быть дельфином иль водолазом!

От великой от этой суши
усыхают тела и души.
Даже ждешь холодного взгляда —
хоть какая-нибудь да прохлада!

Словно в лавовую влит оправу,
словно в выплавке Бессемера,
плавит солнце людскую лаву,
зной слоист и тяжел без меры.

Мне б хотелось стихов прохладой
остудить этот зной заклятый:
для людей ведь, как и для растений,
нужен свет, но нужны ж и тени!

1952

217. ДЕНЬ НЕ ОТЦВЕЛ

Как переменчива погода:
то резкий холод, то тепло;
то праздник птичьего народа,
то песня прячется в дупло...

Казалось бы, пора к отлету:
уже сентябрь в седой росе, —
так нет, не отобьешь охоту
к рябин раскинутой красе!

Срывает ветер сучья сосен,
скрипит о лете тонкий ствол.
Тех жалоб звук непереносен! —
О чем? Что жаркий день отцвел?

Но мы поэтому не станем
печалиться прохладным днем,
слезой лица не затуманим,
а вспыхнем пламенем багряным —
рябин пылающим огнем.

1953

218. ЗИМА

Прелесть утренней зимы!..
Дни стоят невыразимы,
снегу — хоть давай взаймы
всем другим бесснежным зимам.

Снег и снег, и ель в снегу —
в белых пачках — балериной,
снег зажегся на лугу
ювелирною витриной.

Иней мечет жемчуга,
ветка вверх взметнется тенью,
и осыплются снега
театральным привиденьем.

Белый прах провьет столбом,
чтоб развеяться бесшумно,
в небе еле голубом
всё безмолвно и бездумно...

На оградах, на столбах
шапки криво вздеты набок,
будто выпивший казак
спотыкался на ухабах.

Этот воздух, этот вид
можно пить не без опаски:
он действительно пьянит
замороженным шампанским!

1953

219. ФЕВРАЛЬ

Над ширью полей порожних
небес весенний синяк...
Зима плывет на полозьях,
зима скользит на санях.

Задумавшиеся деревья,
задористые лучи,
в оврагах — ревущие ревмя
всклокоченные ручьи.

На ветра скрещенных саблях
сложил свою голову снег,
и свищет отходную зяблик
зиме уходящей вослед.

1953

220. МАРТ

Открой скорей ресницы,
не в зимнем беспамятном сне:
звенят, звенят синицы
повторную славу весне.

С тобою сядем рядом
на ветра большой самолет,
весенним водопадом
нас с ног до голов обольет.

Ты вспомнишь, как это похоже
на то, что видел глаз,
когда мы были моложе,
но зорче в тысячу раз.

Потому-то только теперь нам
без розовых очков
всё видимо точно и верно
раскрытою ширью зрачков.

Открой живей ресницы,
взгляни сюда сама:
последние страницы
перелистывает зима!

1953

221. ИЮНЬ

Что выделывают птицы!
Сотни радостных рулад,
эхо по лесу катится,
ели ухом шевелят...

Так и этак, так и этак
голос пробует певец:
«Цици-вити», — между веток.
«Тьори-фьори», — под конец.

Я и сам в зеленой клетке,
не роскошен мой уют,
но зато мне сосны ветки
словно руки подают.

В небе — гром наперекат!..
С небом, видимо, не шутки:
реактивные свистят,
крыльями кося, как утки.

1953

222. ЗЕЛЕНЬ, ВОДА, СОЛНЦЕ

Деревья растут убежденно
и утро, и вечер, и ночь,
деревья растут каждоденно —
стоишь ли, уходишь ли прочь;

Их свежие сильные токи
стволов утвержденных ряды
доносят до крон до высоких —
насосами — струи воды;



Чтоб волны ее протекали
не только по ложу ручья,
а кверху, по вертикалям,
воздушную сухость мягча;

И, листья с ветвей не роняя,
ловя дуновенье прохлад,
растут, у корней охраняя
потока серебряный клад.

Меж зеленью и водою
великий союз заключен.
Давай же мы будем с тобою:
я — зеленью, ты — ключом!

1953

223. ГРОЗЫ И ЛИВНИ

Над лесами ходят грозы,
сосны гнутся,
проливные с неба слезы
ливнем льются.

Слон небес трубит свирепо —
блещут бивни,
целый месяц тмится небо,
хлещут ливни.

Что с тобой мы делать будем
в вихре молний?
Сядем, жизнь свою обсудим
поспокойней.

Что нам грозы, что нам ливни,
дождь стеною?
Пусть гремит всё непрерывней:
ты ж — со мною!

1953

224. СНЕГИРИ

Тихо-тихо сидят снегири на снегу
меж стеблей прошлогодней крапивы;
я тебе до конца описать не смогу,
как они и бедны и красивы!

Тихо-тихо клюют на крапиве зерно, —
без кормежки прожить не шутки! —
пусть крапивы зерно, хоть не сытно оно,
да хоть что-нибудь будет в желудке.

Тихо-тихо сидят на снегу снегири —
на головках бобровые шапочки;
у самца на груди отраженье зари,
скромно-серые перья на самочке.

Поскакали вприпрыжку один за другой
по своей подкрапивенской улице;
небо взмыло над ними высокой дугой,
снег последний поземкою курится.

И такая вокруг снегирей тишина,
так они никого не пугаются,
и так явен их поиск скупого зерна,
что понятно: весна надвигается!

1953

225. ЗАРЯ ИДЕТ

Глазами вверх,
плечами вверх
лечь.
На всклокоченной траве
лежать
и, не страшась простыть,
фиксировать распад росы.

А после,
привалясь щекой

к земле, гудящей, как строка,
будить кузнечика щелчком:
«Заря идет.
Подъем, стрекач!»

1953

226. НАША ПРОФЕССИЯ

Если бы люди собрали и взвесили,
словно громадные капли росы,
чистую пользу от нашей профессии,
в чашу одну поместив на весы,
а на другую бы — все меднорожие
статуи графов, князей, королей, —
чудом бы чаша взвилась, как порожняя,
нашу бы — вниз потянуло, к земле!
И оправдалось бы выражение:
«лица высокого положения»;
и оценили бы подлинно вес
нас, повелителей светлых словес!
Что это значит — остаться в истории?
Слава как мел: губку смочишь — и стер ее;
но не сотрется из памяти прочь
«Страшная месть» и «Майская ночь»!
Те, кто бичом и мечами прославились,
в реку забвенья купаться отправились;
тот же, кто нашей мечтой овладел,
в памяти мира не охладел.
Кто был в Испании — помните, что ли, —
в веке семнадцатом на престоле?
Жившего в эти же сроки на свете
помнят и любят Сервантеса дети!
А почему же ребятам охота
помнить про рыцаря, про Дон Кихота?
Добр, справедлив он и великодушен —
именно этот товарищ нам нужен!
Что для поэта времени мера?
Были бы строки правдивы и веселы!
Помнят же люди слепого Гомера...
Польза большая от нашей профессии!

1954

227. ДРУЗЬЯМ

Хочу я жизнь понять всерьез:
наклон колосьев и берез,
хочу почувствовать их вес
и что их тянет в синь небес,
чтобы строка была верна,
как возрождение зерна.

Хочу я жизнь понять всерьез:
разливы рек, раскаты гроз,
биение живых сердец —
необъясненный мир чудес,
где, словно корпус корабля,
безбрежно движется земля.

Гляжу на перелеты птиц,
на перемены ближних лиц,
когда их время жжет резцом,
когда невзгоды жмут кольцом...
Но в мире нет таких невзгод,
чтоб солнца задержать восход.

Не только зимних мыслей лед
меня остудит и затрет,
и, нет, не только чувства зной
повелевает в жизни мной, —
я вижу каждодневный ход
людских усилий и забот.

Кружат бесшумные станки,
звенят контрольные звонки,
и, ставши очередью в строй,
шахтеры движутся в забой,
под низким небом черных шахт
они не замедляют шаг.

Пойми их мысль, вступи в их быт,
стань их бессмертья следопыт!
Чтоб не как облако прошли
над ликом мчащейся земли, —

чтоб были вбиты их дела
медалью в дерево ствола.

Безмерен человечий рост,
а труд наш — меж столетий мост...
Вступить в пролеты! Где слова,
чтоб не кружилась голова?
Склонись к орнаменту ковров,
склонись к доению коров,
чтоб каждая твоя строка
дала хоть каплю молока!

Как из станка выходит ткань,
как на алмаз ложится грань,
вложи, вложи в созвучья строк
бессмертный времени росток!
Тогда ничто, и даже смерть,
не помешает нам посметь!

1954

228. ЧЕРНОБРИВЦЫ

Ведь есть же такие счастливцы,
что ранней осенней порой
следят, как горят чернобривцы,
склонившись над грядкой сырой!

Их жарким дыханьем согрето
и пахнет, как в пробке вино,
осеннее позднее лето,
дождями на нет сведено.

Давай же копаться и рыться
в подмерзнувших комьях земли,
чтоб в будущий год чернобривцы,
как жар, в холода расцвели!

1954

229—231. *ВЗМОРЬЕ*

1

Утренняя песня дрозда,
вылетевшего из гнезда;
в небе — сверкающая,
переливающаяся
утренняя звезда...

О, если бы всюду, везде
думать об этой звезде,
помнить
об этом дрозде!

2

Над морем
наклонилась туча,
синя, сурова и сверкуча;
но я ее дыханьем сдую,
сырую, серую, седую.

На сердце
навалилась злоба,
тупа, угрюма, низколоба;
но я ее глухую ношу
биеньем сердца
с сердца сброшу.

3

Мы здесь жили
в сообществе ласточек,
муравьев и пчел;
их,
трепещущих, блещущих, пляшущих,
я числа не счел...

И «павлиньего глаза» пыланье,
изумрудных стрекоз слюда
пробуждают в нас вновь желанье
возвратиться сюда.

1954

232. ДОМ

Я дом построил из стихов!..
В нем окна чистого стекла, —
там ходят тени облаков,
что буря в небе размела.

Я сам строку свою строгал,
углы созвучьями крепил,
венец к венцу строфу слагал
до самых вздыбленных стропил.

И вот под кровлею простой
ко мне сошлись мои друзья,
чьи голоса — не звук пустой,
кого — не полюбить нельзя:

Творцы родных, любимых книг,
что мне окно открыли в мир;
друзья, чья верность — не на миг,
сошлись на новоселья пир.

Летите в окна, облака,
входите, сосны, в полный рост,
разлейся, времени река, —
мой дом открыт сиянью звезд!

1955

233—237. *МИРСКОЙ ТОЛК*

1

Плотник сказал мне:
«Я буду работать —
просто убийственно!»
Он никого не хотел убивать.
Это обмолвка его боевая,
это великая,
неистребимая истина:
сталью сверкать,
добывая,
а не убивая!

2

Женщина вскапывает огород,
силу трудом измеряет.
Я к ней с приветом:
«Вот где работа — не лень!»
Слышу ответ:
«Кто не работает,
тот помирает!..»
Звонкоголосый
осенний
синеющий день!..
Вот она, правда:
безделье смертельно.
Вот оно, слово:
бессмертье артельно.

3

У плотника
стружка вьется,
как русые кудри
у юноши.
Он сам, напевая,
смеется,
на всякие беды
плюнувши...

«Кто дерево
ладно тешет,
тот радостью
сердце тешит;
кто ловко
пилою правит,
тот память
о себе оставит».
Таков его говорок,
такое присловье.
Ступает за ним
на порог
сосновой смолы
здоровье!

4

Вот говорят:
конец венчает дело!
Но ведь и венец
кончает тело?!
Один венец —
из золота литой,
другой —
в извивы лент перевитой;
один венец —
лавровый,
другой —
терновый.
«Какой себе,
подумай,
заслужишь,
человек?» —
спросил худой,
угрюмый,
но сильный
дровосек.

5

Каждый
счастью своему кузнец...
Так ли это
уж всегда бывает?
Часто
молота пудовый вес
только искры счастья
выбивает.
«Вот гляди, —
сказал кузнец, —
сюда, —
охлаждая
полосу в ведерке, —
счастья
будто нету и следа,
а оно кипит,
бурлит в восторге!
А когда
охладевает сталь,
мы опять
искать его готовы,
нам опять
былого счастья жаль,
как случайно
найденной подковы!»

1955

233. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Люди! Бедные, бедные люди!
Как вам скучно жить без стихов,
без иллюзий и без прелюдий,
в мире счетных машин и станков!

Без зеленой травы колыханья,
без сверканья тысяч цветов,
без блаженного благоуханья
их открытых младенчески ртов!

О, раскройте глаза свои шире,
нараспашку вниманье и слух, —
это ж самое дивное в мире,
чем вас жизнь одаряет вокруг!

Это — первая ласка рассвета
на росой убеленной траве, —
вечный спор Ромео с Джульеттой
о жаворонке и соловье.

1955

239

Вот и кончается лето,
яростно рдеют цветы,
меньше становится света,
ближе приход темноты.

Но — темноте неподвластны,
солнца впитавши лучи, —
будем по-прежнему ясны,
искренни и горячи!

1955

240

Стихи мои из мяты и полыни,
полны степной прохлады и теплыни.
Полынь горька, а мята горе лечит;
игра в тепло и в холод — в чет и нечет.

Не человек игру ту выбирает —
вселенная сама в нее играет.
Мои стихи — они того же рода,
как времена круговращенья года.

1956

241

Мозг извилист, как грецкий орех,
когда снята с него скорлупа;
с тростником пересохнувших рек
схожи кисти рук и стопа...

Мы росли, когда день наш возник,
когда волны взрывали песок;
мы взошли, как орех и тростник,
и гордились, что день наш высок.

Обнажи этот мозг, покажи,
что ты не был безмолвен и хром,
когда в мире сверкали ножи
и свирепствовал пушечный гром.

Докажи, что слова — не вода,
времена — не иссохший песок,
что высокая зрелость плода
в человечий вместилась висок.

Чтобы голос остался твой цел,
пусть он станет отзывчивей всех,
чтобы ветер в костях твоих пел,
как в дыханье — тростник и орех.

1956

242. НЕБО

Небо — как будто летящий мрамор
с белыми глыбами облаков,
словно обломки какого-то храма,
ниспровергнутого в бездну веков!

Это, наверно, был храм поэзии:
яркое чувство, дерзкая мысль;
только его над землею подвесили
в недосягаемо дальнюю высь.

Небо — как будто летящий мрамор
с белыми глыбами облаков,
только пустая воздушная яма
для неразборчивых знатоков!

1956

243. ЕЩЕ ЗА ДЕНЬГИ ЛЮДИ ДЕРЖАТСЯ

Еще за деньги
люди держатся,
как за кресты
держались люди
во времена
глухого Керженца,
но вечно
этого не будет.
Еще за властью
люди тянутся,
не зная меры
и цены ей,
но долго
это не останется —
настанут
времена иные.
Еще гоняются
за славою —
охотников до ней
несметно, —
стараясь
хоть бы тенью слабою
остаться на земле
посмертно.
Мне кажется,
что власть и почести —
вода соленая
морская:

чем дольше пить,
тем больше хочется,
а жажда
всё не отпускает.
И личное твое
бессмертие
не в том,
что ктó ты,
кáк ты,
гдé ты,
а — всех земных племен
соцветие,
созвездие
людей планеты!
С тех пор,
как шар земной наш кружится
сквозь вечность
продолжая мчаться,
великое
людей содружество
впервые
стало намечаться.
Чтоб все —
и белые,
и черные,
и желтые
земного братства —
вошли в широкие,
просторные
края
всеобщего богатства.
1956

244. СОЛОВЕЙ

Вот опять
соловей
со своей
стародавнею песнею...

Ей пора бы давно уж
на пенсию!

Да и сам соловей
инвалид...
Отчего же —
лишь осыплет руладами —
волоса
холодок шевелит
и становятся души
крылатыми?!

Песне тысячи лет,
а нова:
будто только что
полночью сложена;
от нее
и луна,
и трава,
и деревья
стоят завороженно.

Песне тысячи лет,
а жива:
с нею вольно
и радостно дышится;
в ней
почти человечьи слова,
отпечатавшись в воздухе,
слышатся.

Те слова
о бессмертье страстей,
о блаженстве,
предельном страданию;
будто нет на земле новостей,
кроме тех,
что как мир стародавние.

Вот каков
этот старый певец,
заклинающий
звездною клятвою...

Песнь утихнет —
и страсти конец,
и сердца
разбиваются надвое!

1956

245. ПАМЯТНИК

Нанесли мы венков — ни пройти, ни проехать;
раскатили стихов долгозвучное эхо.

Удивлялись глазастости, гулкости баса;
называли певцом победившего класса...

А тому Новодевичий вид не по нраву:
не ему посвящал он стихов своих славу.

Не по нраву ему за оградой жилище,
и прошла его тень сквозь ограду кладбища.

Разве сердце, гремевшее быстро и бурно,
успокоила б эта безмолвная урна?

Разве плечи такого тугого размаха
уместились бы в этом вместилище праха?

И тогда он своими большими руками
сам на площади этой стал наращивать камень!

Камень вздыбился, вырос огромной скалою
и прорезался прочной лицевою скулою.

Две ноги — две колонны могучего торса;
головой непреклонной в стратосферу уперся.

И пошел он, шагая по белому свету,
проводить на земле революцию эту:

Чтобы всюду — на месте помоек и свалок —
разнеслось бы дыхание пармских фиалок;

Где жестянки и щебень, тряпье и отбросы,
распылались бы влажно индийские розы;

Чтоб настала пора человеческой сказки,
чтобы всем бы хватало одеяла и ласки;

Чтобы каждый был доброй судьбою отмечен,
чтобы мир этот дьявольский стал человечен!

1956

246. ПЯТЬ СЕСТЕР

О музах сохраняются предания,
но музыка, и живопись, и стих —
все эти наши радости недавние —
происходили явно не от них.

Мне пять сестер знакомы были издавна:
ни с чьим ни взгляд, ни вкус не схожи в них;
их жизнь передо мною перелистана,
как гордости и верности дневник.

Они прошли, безвкусью не покорствуя,
босыми меж провалов и меж ям,
не упрекая жизнь за корку черствую,
верны своим погибнувшим друзьям.

Я знал их с детства сильными и свежими:
глаза сияли, губы звали смех;
года прошли, — они остались прежними,
прекрасно непохожими на всех.

Я каждый день, проснувшись, долго думаю
при утреннем рассыпчатом огне,
как должен я любить тебя, звезду мою,
упавшую в объятия ко мне!

1956

247. ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ

Приход докучливой поры...
И на дороги
упали желтые шары
прохожим в ноги.

Так всех надменных гордецов
пригнут тревоги:
они падут в конце концов
прохожим в ноги.

1956

218

Что такое счастье? Соучастье
в добрых человеческих делах,
в жарком вздохе разделенной страсти,
в жарком хлебе, собранном в полях.

Да, но разве только в этом счастье?
А для нас, детей своей поры,
овладевших над природой властью,
разве не в полетах сквозь миры?!

Безо всякой платы и доплаты,
солнц толпа, взвивайся и свети,
открывайтесь, звездные палаты,
простирайтесь, млечные пути!

Отменяя летоисчисленье,
чтобы счастье с горем не смешать,
преодолевая смерть и тленье,
станем вечной свежестью дышать.

Воротясь обратно из зазвездья
и в слезах целуя землю-мать,
мы начнем последние известья
из глубин вселенной принимать.

Вот такое счастье по плечу нам —
мыслью осветить пространства те,
чтобы мир предстал живым и юным,
а не страшным мраком в пустоте.

1957

249. ПЕСНЬ О ГАРСИА ЛОРКЕ

Почему ж ты, Испания,
в небо смотрела,
когда Гарсиа Лорку
увели для расстрела?
Андалузия знала,
и Валенсия знала, —
что ж земля
под ногами убийц не стонала?!
Что ж вы руки скрестили
и губы вы сжали,
когда песню родную
на смерть провожали?!
Увели не к стене его,
не на площадь, —
увели, обманув,
к апельсиновой роще.
Шел он гордо,
срывая в пути апельсины
и бросая с размаху
в пруды и трясины;
те плоды
под луною
в воде золотели
и на дно не спускались,
и тонуть не хотели.
Будто с неба срывал
и кидал он планеты, —
так всегда перед смертью
поступают поэты.
Но пруды высыхали,
и плоды увядали,
и следы от походки его
пропадали.
А жандармы сидели,
лимонад попивая
и слова его песен
про себя напевая.

1956—1958

250. ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА

Вам хотелось бы знать
тайну Эдвина Друда?
Это Диккенса
самый последний роман.
Он его не окончил.
Осыпалась груда,
и молочной стеной
опустился туман.
Вы мне станете петь
про нелепость,
про дикость
всяких тайн,
от которых и пепел остыл.
А ко мне приходил
в сновидениях Диккенс
и конец,
унесенный с собою,
открыл.
Что случилось действительно
в Клойстергэме,
в этом
автором выдуманном
городке?
Кто распутает узел,
затянутый в теме,
лед могильного камня
согреет в руке?
Было так:
двое юношей вышли к потоку,
и один не вернулся...
Другой обвинен.
И осталось
разгадывать тайну потомку
этих давних,
дождями залитых времен.
Тайна Эдвина Друда,
тайна Эдвина Друда!
Это
самый таинственный в мире
роман.

Не раскрыть,
не поднять,
не добыть из-под спуда,
не залезть любопытству
в загробный карман.
Но события
так убедительно явственны,
так участники драмы
в одно сведены,
что фантазия
яростно мечется
на́ стену —
увидать,
что за той стороною
стены!
Время движется шагом
величавым и медленным,
люди тают,
как призраки,
в бездне сырой.
Что стряслось,
что случилось с беднягою Эдвином?
Где в тумане укрылись
злодей и герой?
Эту тайну
я только пред теми открою,
наклонившись над ухом,
тому прошепчу,
кто докажет
всей страстью своею,
всей кровью,
что фантазия наша
ему по плечу.
Тот со мной
побывает сегодня в Вестминстере,
в серый камень столетья
всем сердцем встучась,
где, разгадку скрывая,
покоится исстари
всё, что позже случилось,
предвидевший Чарльз.

1958

251. ОСТАВАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ

Был ведь свод небес голубой?
Бил ведь в скалы морской прибой? . .
Будь доволен своей судьбой —
оставайся самим собой.

Помнишь, вился дым над трубой?
Воркотню голубей над избой?
Подоконник с витой резьбой? . .
Будь доволен своей судьбой.

Лес был весь от солнца рябой,
шли ребята веселой гурьбой —
лезть на сучья, на птичий разбой,
пересвистываясь меж собой.

Ведал вкус не дурой губой,
не дул в ус пред дурой судьбой,
не сходился с дружбой любой —
оставался самим собой.

Мята, кашка и зверобой
пахли сладко перед косьбой,
гром гремел нестрашной пальбой,
словно сказочный Громобой.

Не хвались удач похвальбой,
не кичись по жизни гульбой,
не тревожь никого мольбой —
оставайся самим собой.

Если сердце бьет вперебой,
если боль вздымает дыбой, —
не меняйся ни с кем судьбой —
оставайся самим собой!

1958

252—256. *ЗВЕЗДНЫЕ СТИХИ*

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?

Маяковский, «Послушайте!»

1

ЗАЯВКА

В преддверье межпланетных путешествий,
когда ракеты рвутся напролом,
не стыдно ль нам, как курам на нашесте,
сидеть, прикрывши голову крылом?

Земного притяжения уздою
прикручены к полям, к лесам, к горам,
таинственную встречу со звездою
мы представляем только по стихам.

2

НЕБО

Над вечности высотою,
рассыпанная по безднам,
звезда говорит со звездою
на языке небесном.

В теченье бессонных часов,
в великом безмолвии мира,
мне слышится хор голосов:
то — Вега, то — Дева, то — Лира.

К бесчисленным миллионам
прислушаться я усиливаюсь:
о чем говорит с Орионом
вовсю рассверкавшийся Сириус?

И Млечный рассеянный Путь,
подобием барсовых пятен
пестрящий небесную грудь,
мне явен и ясно понятен...

Но если беседуют звезды со мною,
то, значит, я что-нибудь стою
с моей небольшою земною
мерцающею звездою!

3

НАБЛЮДЕНИЕ

На утреннем свете,
когда только чуть рассветало,
как рыба, попавшая в сети,
звезда трепетала.

Небесное тело,
одна в беспредельности неба,
она не хотела
померкнуть бесследно и слепо.

И мы порешили, что сами,
взлетев над воздушным порогом,
ее небесами
помчим по безвестным дорогам.

4

ПОЛЕТ

Нас мчало, и мчало, и мчало
со скоростью неизменной —
к началу начала,
в дыханье плывущей вселенной.

Мы плыли, и плыли, и плыли,
ракетой несомы,
в пределах космической пыли,
собой невесомы.

И вдруг показали приборы,
звонки зазвенели,
что скоро, что скоро
мы будем у цели.

Тогда мы пошли на сниженье,
как будто свалившись с вершины,
замедлив движенье
могучей разумной машины...

Затем мы сошли на планету,
не нашу, иную,
совсем не такую, не эту,
ничуть не земную.

Сошли не на грунт, не на почву,
не в воздух, не в воду:
на неощутимое точно
и нам непривычное сроду.

Земным именам не коснуться
таких неземных впечатлений;
казалось бы, можешь проснуться,
но материализуются тени:

То горы... Но это не горы!
И тучи... Но нет же, не тучи!
То люди иль метеоры
медлительно движутся с кручи?!

Шестое? Девятое чувство?
Двенадцатое? Не запомнишь!
Подай же нам руку, Искусство,
приди нам скорее на помощь.

И очень пришлось бы нам туго,
замглила б нас навеки млечность,
когда б мы не встретили друга,
ушедшего ранее в вечность.

6

ВСТРЕЧА

В несуществующее время,
в отсутствующее пространство
летим, вдвоем с тобой дружа,
объединясь в заветной теме,

всё пламенней и беспристрастней, —
вселенской цели сторожа.

Без воздуха, воды и тверди
летим в безмерии бессмертья,
из жизни вынесши урок, —
летим лиловою вселенной,
следя за сменой постепенной
паденья молнийного строк.

Нет, мы не призраки, не тени —
напоминанье об Эйнштейне,
неповторимости лучи, —
мы дети дерзостной науки,
переведенное на звуки
сиянье мировой свечи.

Мы в существе неразделимы...
Года напрасно мчатся мимо,
пускай нас тщатся разлучить,
чтоб не был ты самим собою,
чтоб стал ты с тенью схож любою,
чтобы тебя не отличить.

Пускай биографы, судача,
хотят, чтоб выглядел иначе,
все измеренья изменя;
тех, с кем душа твоя дружила,
не может никакая сила
переменить, искореня!..

1958—1959

257. К ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ

Я обращаюсь к стихотворцу-другу,
к его таланта пламенному плугу,
которым он, взрывая сушь суждений,
готовил почву для живых рождений —
для выдумки, для сказки, для фантазий,
для слова, за каким в карман не лазай!

Вы самый удивительный рассказчик:
мы помним все ваш «Музыкальный ящик»,
в котором вы восстановили время,
осуществив былое в близкой теме.

Зачем же вам, который время сблизил,
предпочитать живому ветру дизель?
Живые чувства — паруса людские —
переводить на штампы заводские?
Передо мной вопрос неразрешимый:
зачем вам сердце заменять машиной?

Я сам писал про соловья стального,
пока не услыхал в ночи живого,
который пел с таким великим чувством,
что никаким не воссоздать искусством!

Я верю: и при взлете индустрии
нужны нам чувства, жаркие, живые.
Мы памятуем о машинном чуде,
но всё ж у нас на первом плане люди.
Кто ж спутает с машинным звук сердечный,
рискует в пафос впасть бесчеловечный!

1959

258. ОТЛЕТ

Когда за окном проносятся птицы
и ты на них смотришь в чужом краю,
как сердцу застонется, загрустится,
захочется родину видеть свою!

Вмешаться в движение птичьего флота,
в мелькающий росчерк летучих стай...
За ними, за ними! Пора для отлета
в далекий, зовущий, влекущий край.

Когда за окном проносятся птицы,
крылом перечеркивая стекло,
как хочется вместе туда торопиться,
где взору просторно и сердцу тепло!

1959

259. НИКЕМ НЕ СЛЫШИМЫЙ СТУК СЕРДЕЦ

День за днем,
недели за неделями
мчатся вихрем,
как на состязанье;
словно бы
в стальное время сели мы
и летим
с открытыми глазами.

Через нас
такая быль проносится —
звон в ушах,
и сердце втрое бьется,
словно
вон из ребер
прыгнуть просится,
это
лишь ему и остается!

Если ж сердце
удержать стараются,
бьет оно тревогу
вкось и криво! ..
Очень часто
сердце
разрывается,
только
гул не слышен
от разрыва.

1959

260. СЕМИДЕСЯТОЕ ЛЕТО

Я проснулся сегодня радостный,
огляделся счастливым взглядом:
радость бьется в душе — нету сладу с ней, —
ведь она со мной здесь, рядом!

Добролюбая, светлоплечая,
затененная дымкою сна —
и сказать о ней больше нечего:
нестареющая весна!

Небо дымится грозами,
в жаркий июль одето;
пахнет сосной и розами
семидесятое лето.

Вы, кому только двадцатое,
кто лишь вступает в стремя,
я не завидую и не досадую:
всякому свое время.

Время мое величавое,
время мое молодое,
павшее светом и славою
в обе мои ладони.

Вам, кому времени вашего —
новые долгие годы,
вам расцветать, выколашивать
наших посевов всходы.

1959

261. ИЛЬЯ

Тридцать три он года высидел,
скудно ел и бедно жил;
в рост поднялся — крышу высадил,
вширь раздался — стены сбил!

И подался к бору хмурому
на великие дела
из-под города с-под Мурома,
с Карачарова села.

Он берег коня саврасого,
дальним скоком не моря;
а с плеча копье забрасывал
через горы и моря.

И до города до стольного,
удалая голова,
он донес народа вольного
заповедные права:

Чтоб боярам не потворствовать,
не давать им всюду путь;
лжи и злобе не покорствовать,
биться с ними грудь о грудь!

Тем и любо, тем и дорого:
он не князю угождал —
он берег страну от ворога,
от татар освобождал.

Так проехал он по времени,
по стране во все концы;
у его стального стремени
встали новые бойцы.

И, как весен свежих отклики,
в честь старинного Ильи
продолжают снова подвиги
богатырские свои.

1959

262. РЕШЕНИЕ

Я твердо знаю: умереть не страшно!
Ну что ж — упал, замолк и охладел.
Была бы только жизнь твоя украшена
сиянием каких-то добрых дел.

Лишь доживи до этого спокойства
и стань доволен долей небольшой —
чтобы и ум, и плоть твоя, и кости
пришли навек в согласие с душой;

Чтобы тебя не вялость, не усталость
к последнему порогу привели

и чтобы после от тебя осталась
не только горсть ископанной земли.

И это непреложное решенье,
что с каждым часом глубже и ясней,
я оставляю людям в утешенье.
Хорошим людям. Лучшим людям дней!

1959

263. ПОРТРЕТЫ

Зачем вы не любите, люди,
своих неподкупных поэтов?
Взывая к векам о бессудье,
глядят они грустно с портретов.

Одни на дуэли убиты,
другие, не сладив с судьбою,
от сердца смертельной обиды
покончили сами с собою.

Не верят созданий их пользе,
осмеивают и ругают,
пока они живы,
                а после —
им памятники воздвигают.

Верните их к жизни скорее!
Пусть вышли из моды костюмы,
пусть выцвели снимки, серея,
но живы их мысли и думы.

Зачем вы не любите, люди?!
Зачем вы их губите, люди?!
Но нет на вопросы ответов,
глядят они грустно с портретов.

1952—1960

264. СТАНЦИЯ «ВЫДУМКА»

1

Вы толковали
о звезде
в рассветной
нежной бледности,
а я знавал
звезду
в нужде,
в величье
крайней бедности.
Она могла б
с небес упасть
земли во мглу
и в тень ее,
упасть,
отдав себя во власть
земного
тяготения.
Но ей на помощь
небеса, —
ковром
дорога млечная...
И вот
пошла она,
боса,
до ужаса
беспечная!
И я,
живой свидетель в том,
стоял,
мирясь с потерею,
стоял,
дивясь
с открытым ртом
на высшую
материю.
Ведь, значит,
если кто зажег

такую
непохожую,
то свет ее
никто б не мог
затмить
ночей рогожею!

2

С тех пор
как рассказом
о сестрах
мне сердце задела,
доверчивым глазом
мне в душу
до дна доглядела,
как,
вызов бросая,
в трамвай,
что набит каблуками,
вошла ты,
босая,
как будто бы
шла облаками.
(Так крох
было мало,
так трудно
давалась учеба,
но лба
не сгибали
тебе
ни бездушье,
ни злоба.)
Ты вышла из дома
и в ужасе
кинулась в люди
под грохоты грома
осколочных бомб
и орудий.
Так сталь
из расплава

горячей рекой
вытекает,
но,
взяв свое право,
потом
и звенит и сверкает,
ложится упруго
и в шлюза
стальные ворота,
и в лезвие
плуга,
и в синий прыжок
самолета!

8

Когда,
подобная лучу,
ты станешь рядом
с тем,
кто тебе не по плечу
по дням и взглядам,
я ничего
не мыслю красть
из тех сокровищ,
какие ты
другим во власть
отдать готовишь.
Но даже
если бы они
в сто крат пригожей, —
не дай их,
боже сохрани,
руке прохожей.
Я удержусь
от всяких ласк,
как от порока...
Дорога в даль,
колеса в лязг —
и ты далеко!

Но если рокот
дождевой
на листьях мокрых,
знай:
это мой
сторожевой,
тревожный окрик.
А если
солнечным лучом
метнет над садом,
то это я
плечо с плечом
с тобою рядом!

4

Поезда нас разомчали
через степи и пески,
содрогаясь от печали,
надрываясь от тоски.

Только стоило усесться
в дальний поезд, в долгий путь,
как пошло хватать за сердце
и впиваться рамой в грудь.

Даже для великой страсти,
для классической любви
всё б растаяло в пространстве,
что в глазах еще рябит.

А ведь вы совсем ребенок,
вас бы в мамок тесный круг.
Что вам до стихов любовных,
до глухих сердечных мук?!

В этот миг глухим разрядом,
дикий взгляд воспламеня,
туча с грохотом и градом
обвалилась на меня!

5

Проезжаем станцию «Выдумка»,
всю заплывшую в зеркало луж.
Вы б сказали: «Давайте выйдем-ка
прямо в чащу — в орешник, в глушь».

Пусть от станции только название,
только взорванный бомбами дзот,
битый щебень, песок да развалины,
но орешник-то все-таки тот!

Здесь работы — края непочатые,
лишь бы руки да пристальный глаз!
Так давайте про то напечатаем,
может, выдумка эта — про нас?

6

Мне не надо длиннобровых,
не встающих при звезде,
злых, завистливых чертовок,
ждущих выгоды везде;

Очерствелых, безразличных,
не хотящих жить, как все,
в вихрях слов и дел тряпичных
мчащих белкой в колесе!

Мне ж мила, чтоб бровки — тенью,
рот не крашен, волос прост,
голос — сам стихотворенье,
глаз сиянье — отсвет звезд;

Мне мила такая цаца,
чтобы с нею не дремать —
в помощь к тонущим бросаться,
в скользь упавших подымать;

Чтоб ходила, глаз не жмуря,
не кривила горько губ,
даже если в сердце буря,
даже если ветер груб!

7

Я сердце вверял
деревьям,
я жаловался
кустам,
и буря
ревела ре́вмя,
за мною гонясь
по пятам;
и море
металось следом,
выхлестывая залив,
в ответ
моим мнимым бедам
парчу
по пескам расстелив;
и тучи
толпились скопом,
склубившись
над головой,
грозя мне
вторым потопом,
распоротой
синевой...
А всё же
мне жаль разлуки,
когда,
чуть что-то шепча,
деревья
вздымали руки
сверх
моего плеча,
вершины
поднявши к высям,
указывали
в небосвод,
и целые тучи
писем
обрушивал
самолет!

8

О, если б был
такой бинокль,
чтоб
за пять тысяч верст
увидеть над собой
венок
кавказских
влажных звезд!
Ведь без бумаги,
без чернил,
из света
и добра
тебя я,
нет,
не сочинил,
а взял
из-под ребра.
Так ты бездонно
далека,
так детски
хороша,
что над Кавказом
в облака
вплыла
моя душа.

9

У Блока также звезда была,
но не того созвездия:
она в туманах ночных плыла,
даря дурные предвестия.

И Маяковский о том тосковал —
зачем они зажигаются?
Зачем, повернувши небесный вал,
уходят куда полагается?!

Да все стихотворцы о том говорят,
но редко кто взглядом встретится...
А звезды горят себе и горят,
горят и горят, и светятся.

1959—1960

265. В ЧУЖОМ КРАЮ

В чужом краю роднёй мне стали птицы:
они, пересекая вкось стекло,
сказали мне, что — нужно торопиться,
чтоб время не бесцельно протекло!

В далекой Праге, в боковом квартале,
прикован к койке был болезнью я;
а птицы ряд за рядом пролетали,
как старые привычные друзья.

Должно быть, все они стремились к югу:
погода стала чересчур свежа;
летели птицы, близкие друг к другу,
крыло в крыло дистанцию держа.

Но почему ж они так стали сродны?
Их цели были дивно далеки,
движенья так отчетливо свободны
земным поступкам мелким вопреки.

Пускай вовсю враги мои судачат,
что недоступен мне большой полет, —
я не привыкну к мудрости сидячей
среди куличьих, праведных болот.

1959—1960

266. ЗВЕРИНЕЦ ЯРОСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Лев был безмерно удивлен,
столкнувшись с укротительницей,
перед которой, вставши, он
старался в струнку вытянуться.

Поноску нес, как пес, за ней
под властью взгляда женского
и львиной долею своей
гордился и блаженствовал.

Бичом язвя ему бока,
так, что зубами взляскивал,
она была то жестока,
то безраздельно ласкова.

А было иначе нельзя,
его ж природа дикая:
рванется, когти в плоть вонзя,
и прочь уйдет, мурлыкая!

Так защищалась и она
по-женскому, по-своему;
была судьба им стать дана
мучительства героями.

Зверинец яростных людей!
Пустыня раскаленная!
Читатель, в ужасе седей:
вот правда не салонная.

28 октября 1960

267. ОСЕННИЕ СТИХИ

Взгляните на белые лилии,
на стройность их стеблей тугих,
на их молодые усилия
быть чище и выше других.

Следите за пламенным маком,
стремящимся к синеве
восстания огненным знаком
на ровно растущей траве.

А лица анютиных глазок,
которые расцвели,
как добрые гномы из сказок,
возникшие из-под земли.

А крупные яркие астры
в осенней сухой тишине

так пестры и разномастны,
что видимы и при луне...

Нет, лица цветов не бездушны!
Приметьте, как, слабо дыша,
в далекое небо послушно
от них отлетает душа.

1960

268. ПОСЕЩЕНИЕ

Талантливые, добрые ребята
пришли ко мне по дружеским делам;
три — не родных, но задушевных брата,
деливших хлеб и радость пополам.

Обручены единою судьбою,
они считали общим свой успех,
но каждый быть хотел самим собою,
чтоб заслужить признание для всех!

Они расселись в креслах, словно дети,
игравшие во взрослую игру;
им было самым важным — стать на свете
собратьями великих по перу.

Дыханье, дух, душа — одно ли это?
И что же их роднит в конце концов?
Передо мной сидели три поэта,
желающих продолжить путь отцов.

Вот — Грибоедов, Тютчев, вот — Державин.
А мне? Нельзя ли Баратынским стать?..
Был этот час торжественен и славен,
оправленный в достоинство и стать...

И я, традиций убежденный неслух,
поверил, что от этих — будет толк.
Три ангела в моих сидели креслах,
оставивши в прихожей крыльев шелк.

1960

269. БРОНЗА

Царь-колокол и царь-пушка...
Какая им нынче цена?
Как будто — старик и старушка —
старинные муж и жена.

Народу толпится немало,
вот кто-то и слово сронил:
«Она никогда не стреляла!»
«Да, но ведь и он не звонил!»

Расчет был на их многопудье,
угрюмый, старинный расчет...
Не бьет это чудо-орудье,
и колокол-чудо не бьет.

«Так чем же здесь можно гордиться?
Заумная старина!»
А всё ж их хулить не годится —
не ихняя в прошлом вина.

1960

270. МЕД И ЯД

Июль задышал и зацвел
расплавленным липовым цветом,
и каждой из тысячей пчел
достойно назваться поэтом.

Ведь так они дружно поют
и так неустанна их муза,
что полнится ульев уют
запасами сладкого груза.

А те, кто нарушит их труд
и песню медового лада,
почувствуют огненный зуд
и разницу — меда и яда.

1960

271—273. *ПРОСТЫЕ СТРОКИ*

1

Среди зеленой тишины
нахлынувшего лета
не все вопросы решены,
не все даны ответы...

Но ясен мне один ответ,
без всяческой подсказки,
что лучше в целом мире нет
той, кто пришла из сказки;

Чьи неподкупные глаза
в лицо беды смотрели,
то голубея, как гроза,
то холодней метели.

Мне скажут: вот, опять про то ж!
Знакомая затея,
что лучше той и не найдешь,
кто зорьки золотее!

О вы, привыкшие к словам —
казенным заявленьям,
всё это сказано не вам,
а младшим поколеньям!

2

Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя — сушь,
мне и в жары без тебя — стыть,
мне без тебя и Москва — глушь.

Мне без тебя каждый час — с год,
если бы время мельчить, дробя;
мне даже синий небесный свод
кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать —
слабость друзей, силу врагов;
я ничего не хочу ждать,
кроме твоих драгоценных шагов.

8

Что же — привык я к тебе, что ль?
Но ведь, привыкнув, не замечают.
Всё превращает любовь в боль,
если глаза равнодушно встречают.

А на тебя я — и рассержусь,
не соглашаешься — разругаюсь,
только сейчас же на сердце грусть,
точно на собственное не полагаюсь;

Точно мне нужно второе, твое,
если мое заколотится шибко;
точно одно у них вместе жилье,
вместе и горечь, и вздох, и улыбка.

Нет, я к тебе не привык, не привык,
вижу и знаю, а — не привыкаю.
Может, действительно ты — мой двойник,
может, его я в стихи облекаю!

1960

274. КУТУЗОВ

Кутузова считали трусом.
А он молчал. Не возражал.
Не потакал придворным вкусам —
и отступленье продолжал.

Вокруг него роились толки,
что он устал, что стал он слаб,
что прежних сил — одни осколки,
что он царю — лукавый раб.

Улыбки злобны, взгляды косы
вплоть до немых враждебных сцен;
доклады пишут и доносы
то сэр Вильсон, то Беннигсен.

Что им до русского народа,
до нужд его и до потерь:
они особенного рода,
мужик же русский — дикий зверь.

Зарытый в дебри да в болота,
живет во тьме он много лет.
Скачи, драгун! Пыли, пехота,
хотя бы прямо на тот свет!

А те, кто требовал сраженья
(чего и ждал Наполеон!),
случись бы только пораженье,
в двойной согнулись бы поклон.

О нем потом писали книги,
превозносился в нем стратег;
тогда ж вокруг одни интриги,
придворный холод, неуспех.

Стесняемый мундиром узким,
он должен был молчать, терпеть...
То был душой, без крика — русский,
что завещал и нам он впредь!

1960

275. ЗЕРНО СЛОВ

От скольких людей я завишу:
от тех, кто посеял зерно,
от тех, кто чинил мою крышу,
кто вставил мне стекла в окно;

Кто сшил и скроил мне одежду,
кто прочно стачал сапоги,
кто в сердце вселил мне надежду,
что нас не осилят враги;

Кто ввел ко мне в комнату провод,
снабдил меня свежей водой,
кто молвил мне доброе слово,
когда еще был молодой.

О, как я от множеств зависим
призывов, сигналов, звонков,
доставки газеты и писем,
рабочих у сотен станков;

От слесаря, от монтера,
их силы, их речи родной,
от лучшего в мире мотора,
что движется в клетке грудной.

А что я собой представляю?
Не сею, не жну, не пашу —
по улицам праздно гуляю
да разве стихи напишу...

Но доброе зреет зерно в них
тяжелою красотой —
не чертополох, не терновник,
не дикий осот густой.

Нагреется калорифер,
осветится кабинет,
и жаром наполнятся рифмы,
и звуком становится свет.

А ты средь обычного шума
большой суеты мировой
к стихам присмотрись и подумай,
реши: «Это стоит того!»

1960

276. СОН

Мне снилось: Хлебников пришел в Союз поэтов,
пророк, на торжище явившийся во храм...
Нагую истину самим собой поведав,
он был торжественно беспомощен и прям.

Вокруг него теснились мытари угрюмо,
но он, как облако, меж ними прошумел
о толстодушии былого толстосума...
А я помочь ему не смог и не сумел!

Я не отрекся, и петух не пел полуночь,
но сон прервался и вставать была пора...
А если мыслью и пылинки ты не сдунешь,
то как же ею с места сдвинется гора?

1956—1961

277. В КОНЦЕ КОНЦОВ

(На мотив Р. Бернса)

В конце концов всё дело в том,
что мы — как все до нас — умрем...
Тим-там, тим-том!

Матрос пьет ром, больной пьет бром,
но каждый думает о том;
ведь вот ведь дело в чем!

Один умрет, построив дом,
другой — в чужом углу сыром...
Тим-тим, там-том, тим-том!

Один был прям, другой был хром,
красавец — тот, а этот — гном;
ведь вот ведь дело в чем!

Один имел прекрасный слог,
другой двух слов связать не мог,
в грамматике был плох.

Один умолк под общий плач,
другого доконал палач:
уж очень был горяч.

А любопытно, черт возьми,
что будет после нас с людьми,
что станется потом?

Какие платья будут шить,
кому в ладоши будут бить?..
Тим-там, тим-там, тим-том!

Открыть бы хоть один бы глаз,
взглянуть бы хоть единый раз:
что будет после нас?!

Но это знать — напрасный труд,
пустого любопытства зуд;
ведь вот ведь дело в чем!

Все семь всемирных мудрецов
не скажут, что в конце концов...
Тим-тим, тим-тим, тим-том!

1956—1961

278. САДОВНИЦАМ ЗЕМЛИ

Нет на свете ничего прекрасней
женщины — садовницы земли;
солнце поднимается с утра с ней,
ведра звонко песню завели...

Вот она с лопатой и с мотыгой,
сея новой жизни семена,
над землей, как над раскрытой книгой,
с вечною заботой склонена.

Может быть, почетней быть ученым,
инженером, летчицей, врачом;
мне ж роднее с этой, с закопченным,
пропеченным полднями плечом!

Говорят, что Ева плод сорвала
с дерева познания добра и зла;
молния вокруг нее летала,
туча гневный ливень пролила.

А деревьям этого и надо,
грозовые не страшны враги;
женщина дождям и грозам рада —
разрыхлять приствольные круги;

Чтоб пошли вздыматься круче ветви,
чтоб зазеленел за садом сад,
чтоб завязывались все соцветья,
сорняки выпалывались с гряд.

То, что эти руки насадили,
матерински вызвали на свет,
выше Феокритовых идиллий,
ярче всех, кто раньше был воспет!

Потому — пока она со мною —
не страшусь я никакой беды:
вижу ясно — под ее ступнею
райские наметились следы.

1961

279. АБСТРАКЦИЯ

Деревья обнажены,
цветы поувядали;
безжизненной тишины
полны осенние дали.

Так в разницу зим и лет,
лишенный дыхания листьев,
выглядывает скелет
искусства абстракционистов.

1961

280. ХЕМИНГУЭЙ

Не в зарослях тропических лесов,
где млеют джунгли, —
в глазах банкиров и больших дельцов
желтеют угли.

Еще ты не был с хищником в бою,
лишь жаждал встречи,
а им уже расчет на жизнь твою
давно намечен.

Не ты за тигром — за тобою тигр,
тебе неведом,
огромной кошкой, терпелив и тих,
крадется следом.

Не ты, а он тебя предусмотрел
мерцаньем углей,
чтобы ржавел стальной твой самострел
в болотах джунглей.

1961

281. СКАЖИ, С КЕМ ТЫ ЗНАКОМ?

С кем я знакомствую?
                    Со Стендалем,
с Пушкиным, с Гоголем, с Достоевским.
«Да, но ведь эти из дальней дали!
А на сегодня знакомиться есть с кем?
Что ж на сегодня? . .»
                    Звенит мелочишка,
но не отметишь великих имен.
Может, еще подрастут мальчишки,
станут Мужами своих времен;
может, еще наберутся силы —
выдвинутся на века вперед,
чтобы им памятники постановили
не начальствующие, а народ!
Пушкин!
          В поэтах на первом месте,
не постаревший и после конца;
нет безупречней и чище чести
неувядающего венца.
Бешеной царской собакой укушен,
лишь пред народом он шляпу снял;
так вот его и вознес Опекушин
на всенародной любви пьедестал.

Из современников был я дружен
с тем, кто и в жизни великим был...
И для него я был в чем-то нужен,
а его я — как солнце любил.
И теперь, меж другими сидя,
во всеобщий впадая тон,
на судьбу я в глухой обиде:
почему нет таких, как он?
Те, о которых вы только читали,
далью времени унесены, —
так же любили, страдали, мечтали, —
в нашей памяти живы они!
Не одни мы живем на свете,
и не клином сошелся свет.
Верю:
    будет земля в расцвете,
знаю:
    встанет живой поэт!

22 января 1962

282. БЕССОННЫЕ СТИХИ

Мне не бабушкино
        знахарство,
не рецепты
        мудрых врачей, —
стих —
    единственное
        лекарство
от бессонных
        долгих ночей.
Нет в природе
        помощи лучшей,
поднимающей чувства
        ввысь,
как крылатостью
        двух созвучий
выводить на орбиту
        мысль.
На четыре
        стороны света

открывается
горизонт,
и душа
стихом обогрета,
и —
бессонница не грызет!
Это средство
вам не игрушки,
сонным людям
оно не впрок;
это все испытали:
Пушкин,
Баратынский,
Лермонтов,
Блок...
Маяковский?..
Должно быть, редко.
Надо вот что
иметь в виду, —
на вопрос он сказал бы:
«Детка,
я
работаю
на ходу!»
И,
услышанный всем народом,
в громогласье
своих стихов, —
гулливеровским
пешеходом
он ушел бы
за грань веков!

1962

283. СВЕРСТНИКИ

В путь-дорогу скарб уложившие —
и надежд и печалей остаток, —
много видевшие, пережившие,
разменявшие восьмой десяток,

Мы не только живущим сверстники
проходящего нынче года, —
мы, пожалуй, уже бессмертники
своего, особого рода.

Те, кто жили, любили, мучились,
пополняли рядами роты,
заслужили участи лучшие,
чем сведенные с жизнью счеты;

Те танкисты, миноискатели,
партизаны, парашютисты,
кто бесценную юность истратили
под осенней невзгоды свисты, —

Мы от ихних дней делегатами,
чтоб — не только внушая жалость, —
а чтоб новых событий богатыми
биографии их продолжались.

В свой последний поход идущие
на передовые,
всё равно мы верим в грядущее,
как и те, рядовые.

1962

284—285. *К МОЛОДЫМ ПОЭТАМ*

1

Мы — дети тех гитар.
Андрей Вознесенский

Ваша гитара-гитана, Андрюша, —
пусть ваше сердце ее сохранит, —
в сердце другое то громче, то глуше
отзывом-эхом звенит.

В сердце другое то звонче, то глуше
жалящей сладко змеей,
надо иметь нерадивые уши,
чтоб не услышать ее!

Надо иметь неподвижные души,
чтоб не попасть в ее плен,
к этой гитаре-гитане, Андрюша,
с ваших привставшей колен.

2

Кто право дал тому кретину
совать звезду под гильотину?!

Юнна Мориц

Печальные, недетские,
отверженные глаза.
Отчаянья крики резкие, —
несдержанная гроза.

То вспыхнет, то снова скроется
свет смысла слов...
Поэзия так и строится —
без прочных основ.

Без выверенной традиции,
скрививши рот,
иначе — не разродиться ей,
не выдать плод.

1962

283. РАЗГОНЯЮТСЯ ТУЧИ

Оправдали расстрелянных;
возвратили права
сотням жен их растерянных,
в ком душа чуть жива.

Были юны и пылки,
не страшились судей;
возвращались из ссылки —
стали снега седей.

Ни кибитки да тройки,
ни некрасовский стих
ореолом героики
не украсили их.

Снова в жизнь возвращенье,
правда вышла на свет;
только нет возмещенья
стужей выжженных лет.

Но иными заботами
обременена,
новостройки с заводами
поднимает страна.

Разгоняются тучи,
разметают следы
неминучей, горючей,
но летучей беды.

Словно сказ об Адаме,
словно смолкшая медь...
Хорошо, что с годами
стала память неметь.

Кто ж бесчувственно глянет
в даль недальних времен,
чья душа не отпрянет, —
тому — глаз вон!

1962—1963

287. ЖИВОЙ

Как по Питерской,
по Тверской-Ямской...

Старинная песня

Как по улице
по московской,
еще веющей
стариной,
шел — вышагивал
Маяковский,
этот самый.
Никто иной!
Эти скулы,
и брови эти,
и плеча
крутой разворот, —
нет других таких
на планете:
измельчал что-то
весь народ.
Взглядом издали
отмечаясь
посреди
текущей толпы,
отмечаясь
и отличаясь,
как горошина
от крупы,
шел он буднями,
серыми зимними,
через юношеские
года,
через площадь
своего имени —
Триумфальную
еще тогда.
Шел меж зданий
холодных каменных,
равнодушных
к его судьбе;

шел
живой человеческий памятник,
непреклонный
в труде — в борьбе.
Шел добыть
на обед монету —
не для жизненных
пустяков, —
шел прославить
свою планету
громовым
раскатом стихов.
С толстомясыми
каши не сваришь,
а худой
худому сродни:
сразу видно —
идет товарищ!..
Так мы встретились
в эти дни...
Вот идет он,
мой друг сердечный,
оттолкнув
ногой пьедестал, —
неизменный
и бесконечный,
тот,
кто бронзовым
так и не стал.

1962—1963

288. КОГДА ПРИХОДИТ В МИР...

Когда приходит в мир великий ветер,
против него встает, кто в землю врос,
кто никуда не движется на свете,
чуть пригибаясь под напором гроз.

Неутомимый, яростный, летящий,
валя и разметая бурелом,

он пред стеной глухой дремучей чащи
сникает перетруженным крылом.

И, не смирившись с тишиной постылой,
но и не смогши бушевать при ней,
ослабевает ветер от усилий,
упавши у разросшихся корней.

Но никакому не вместить участью
того, что в дар судьба ему дала:
его великолепное несчастье,
его незавершенные дела.

1960-е годы



ПОЭМЫ

289. «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

Баллада об английском золоте, затонувшем
в 1854 году у входа в бухту Балаклавы

1

Белые бивни
    бьют
    в ют.
В шумную пену
    бушприт
    врыт.
Вы говорите:
    шторм —
    вздор?
Некогда длить
    спор!

Видите, в пальцы нам
    врос
    трос,
так что и этот
    вопрос
    прост:
мало ли видел
    матрос
    гроз, —
не покидал
    пост.

Даже и в самый
глухой
час
ветер бы вынес
слугой
нас,
выгнувши парус
в тугой
пляс,
если б — не тот
раз.

Слишком угрюмо
выл
вал...
Буйный у трюма
был
бал...
Море на клочья
рвал
шквал...
Как удержать
фал?

Но не от ветра
скрипел
брус, —
глупый заладил
припев
трус:
«Слишком тяжелый
у нас
груз.
Слышите стен
хруст?»

Шкипер рванул его:
«Брысь
вниз.
Будешь морочить нас —
правь
вплавь.

Слишком башку твою
весь
рейс
клонит золота
вес».

Этот в ответ:
«Груз —
сух,
море — стекло,
и циклон —
глух,
если ты в траверс
чужих
бухт
станешь, как добрый
друг.

Если ж пушечный
рвет
рот
теплых и ласковых
вод
ход, —
даже речной
уведет
брод
в черный
водоворот.

Пороха с нами
сто
тонн.
В золоте нашем
злой
звон.
Тот, кто дрожа
сторожит
бастион, —
тот же моряк
он.

В тыл ему станет
    наш
    десант.
Тени бредут
    редут
    спасать...
Нет, если есть
    еще
    небеса,
наши слетят
    паруса».

Взрыв рук
    простерт
    за борт.
Темен
    восток
    и жесток.
Бурей рангоут
    всклокочен
    в стог...
А человек —
    листок.

Скалы видали
    в пяти
    шагах,
как человечья
    тоска
    нага,
как человечья
    душа
    строга
даже
    и у врага.

Белые бивни
    бьют
    в ют.
В шумную пену
    бушприт
    врыт.

Кто говорит:
    шторм —
    вздор,
если утес —
    в упор?!

2

Старая Англия,
    встань, грозна.
В Черное море
    пошли грома.
Станут русские
    тверже знать
мощь твоих
    плавучих громад.

Грянь канонадой
    в далекий порт,
круглые ядра
    на берег ринь.
Семь вымпелов,
    наклоните борт.
Стань в полукружье их,
    «Черный принц».

Золотом красным
    наполнен трюм.
Взвесил слитки
    лорд-казначей.
Много матросских
    суровых дум
сдавит оно
    в черноте ночей.

«Черный принц»
    покидает рейд.
Лорд-казначей
    отошел ко сну.

Сон его пучит
    клокастый бред:
руки со дна
    берут казну.

Страшно в трюме
    горит заря.
Ветер, что ли,
    трубит в жерло:
«Дна не найдут
    твои якоря,
канет в бездну
    тяжелый лот».

Хриплый голос
    гремит сквозь сон:
«Лорд-казначей,
    скажи жене, —
скрыли под грузом
    мое лицо
восемьдесят
    саженей.

Лорд-казначей,
    я — не трус.
Помни, помни,
    что я сказал, —
сильные руки
    подымут груз,
бросят в лицо
    твоим внукам залп.

Лорд-казначей,
    не спи, не спи.
Крепче в руке
    сжимай ключи.
Будет Вестминстер
    в пыль разбит
золотом, вставшим
    со дна пучин.

Станет луною
сверкать гладь.
Золотом будет
звенеть стих.
Это тяжелая
дней кладь
гордых потомков
потопит твоих».

С белой постели
встает лорд.
Окна в тумане
мешают спать.
Тих и спокоен
безмолвный порт.
Волны на Темзе
не всхлынут вспять.

3

Белые бивни
бьют
в ют.
В шумную пену
бушприт
врыт.
Вы говорите:
шторм —
вздор?
Мало ль их было
с тех пор?!

Месяца блеском
облит
мыс.
Долго ли шли
корабли
вниз?

Веет ли в Англии
    наш
    бриз,
переходя
    в свист?

Гор гранитный
    кулак
    груб.
Если скула
    о скалу —
    труп.
Ласково стелется
    поутру
    дым
из больших
    труб.

Мокрою крысой
    скользит
    кран.
Долго лизать нам
    рубцы
    ран.
Выйди же,
    лет прорезав
    туман,
бриг из чужих
    стран!

Грохот подъемных
    цепей,
    грянь.
Прошлое темных
    зыбей,
    встань.
Всё просквози
    и промой
    всклянь,
утра синяя
    рань.

Тот, кто погиб,
нам
не враг.
Наши враги
затаили
страх.
Видят: над зыбью
утихших
влаг
вьется советский
флаг.

Это не только
России
цвет.
Это — всем,
кто увидел
свет,
всем, кто развеял
клокастый
бред
ради алеющих
лет.

Кончен спор
дублона
с рублем.
Ветер в песню
навеки
влюблен.
Пойте ж эту
над
кораблем
каждый в сердце
своем!

1923

290. АВТОБИОГРАФИЯ МОСКВЫ

НЕКРОЛОГ

Я хожу от страха еле жив,
слышу —
                    разговаривает камень, —
что она,
                смертельно затужив,
взвизгнула вокзальными свистками;
что,
        вступивши в заговор,
                                                дома
заварили каменную кашу,
двинулись кварталами в туман,
огненными номерами машут;
что пошли Садовые в куски,
в три дуги скорежась над панелью,
и
    тошнит
                Плющиху
                            от тоски
под завшонной сношенной шинелью;
что трамваи
                    забивает кал,
мерзлый кал до вымерших площадок;
что гнетет дитя и старика
оторопь и стужа без пощады.

Наконец —
ни рельсов, ни карет, —
дни обратно повернули, что ли?
Город,
весь построившись в каре,
выпал тяжко на ладони поле.
Он заглохнул, человечий род,
под былого свистнувшею плетью;
Сивцев вражек
да Коровий брод
выпучили древнее столетье.
А полей распластанный удав
тихо дремлет,
кольца расправляя;
тускло меркнет
глаз его слюда
под тоскливый хрип ночного лая.

БУЛЬВАРНАЯ

Улицы Мещанские —
девочки несчастные,
улицы Садовые —
ботинки трехпудовые.
Тверская — темная,
идешь бездомная,
без роду-племени
одна по темени.
У вокзала Брестского
слеза от ветра резкого,
от Зубова до Кудрина
щека в метель напудрена,
улица Пречистенка,
пойдем со мной, пушистенький,
улицей Остоженкой
пойдем ко мне, хорошенький.
Брось мне пробовать
гнусавить проповедь,
пойдем — в пивную
на Сенную.

НАСЛЕДСТВО

Зажатый
в провалах Мясницкой,
в ущелье
у Красных ворот,
ты встретишься
с самою низкой
из всех
человечьих пород.
Не в этих ли самых
провалах,
не в пятнах ли
пятниц и сред
чума
на заре
пировала
глухой
вальсингамовский бред?
Еще —
не остывшие блюда,
еще —
не пропетая песнь,
и город —
весь грязная груда,
весь в язвах
и в похоти весь.
Летящие всхлипы
и всхрипы
коверкал,
и резал,
и рвал
в бульваров
остылые липы
отчаянной
флейты сигнал.
Куда
этот голос обманный,
изрезавший
сердце и слух?

Спасайся!
Беги по Басманной
с толпою
облавленных шлюх.
Вот в этот,
безлюдный и узкий,
где медленно падает снег...
Но
всюду кровавые сгустки,
весь вечер
от них покраснел.
Не надо
надежды на чудо,
повсюду — не песня,
а месть,
и город —
весь грязная груда,
весь в язвах
и в похоти весь.

ПОСЛЕ НЕЕ

Желтобилетная
листва бульварная,
толпой вечернею
теки с куста.
Расчет на золото,
и на товарные,
и на червонные,
и ночь — пуста.
Вконец изруганный
пивными рыжими,
где время пенится,
где гром — гульба,
я тихо радуюсь:
мы всё же выживем
с тобою,
стриженый
Цветной бульвар.

Дорожкам хоженым,
тропинкам плеваным,
никто не мил из вас:
иди любой.
Времен товарищи!
Даете ль слово нам —
не отступать по ним,
не бить отбой?
Под оскорбленьями,
под револьверами
по переулкам
мы
пройдем впотьмах,
и если — некому,
то станем первыми
под этой
жирной грязи
взмах...
И как не бросила
она меня еще,
с досады грянув:
отвяжись! —
неизменяемая,
неизменяющая
и замечательская
жизнь!

ПРИЗРАК БРОДИТ

Что вы притворяетесь
глухими
каменными
башнями Кремля?
Эти стены
сложены другими,
вам под ними
спин не распрямлять!
Знаете ль:
в Китайгородской башне,
от тупого сна
осоловев,

травленый,
запухший,
безрубашный
каменный
завелся человек.
Он живет
лишь думами о крысах,
на него
поближе посмотреть:
он бы
пылью башенною высох,
если бы
не вечная мокредь.
Он из жижи хлюпающей
соткан,
он невесел,
как вселенский мрак;
эти стены —
жгучею чесоткой
разъедает он,
построек враг.
Он невидим
и недосягаем,
он трактует вас
на свой манер;
от него,
сконфуженно шагая,
отвернется
милиционер.
Он хрипит:
«На свет бы не родиться!
Встретим ночью —
горло перервем!»
Как же жить,
хранители традиций,
с этим трупным
каменным червем?
Жмись плотней к земле,
Кутафья башня,
завернись
в свой каменный кожух:

я еще громчей
и бесшабашней
про твои причуды
расскажу.
Громозди
грозней
на ярус
ярус,
чтоб зеленой злобой
он припух.
Пусть вокруг
опять вскипает ярость
верящих в бессмертие стряпух!

ЕЕ ПРОШЛОЕ

Ему б на свет
не стоило родиться —
да жизнь не пожалела,
позвала.
И день зацвел,
и стала жизнь рядиться
о таинствах
квартиры и стола.
Москва — престол
лабазов и селянок,
смазных
замоскворецких молодцов,
квасных морей
и миткалей каляных,
засунувшая
сердце на засов.
Сплошной
апоплексический затылок,
затекший густо
кровью смоляной.
Воскресный звон
и бряканье бутылок —
гвоздили
гробовою стариной.

И выли псы
по плотным подворотням,
и ржавый
заряжался «велядог»,
когда,
полузамерзшим оборотнем,
он шел
между замоскворецких льдов.
Его скрывали
снеговые хлопья. . .
Был крепок
сап и сумрак богачов.
И вот —
уже шумел в снегах Отрепьев
и кровью
умывался Пугачев.
Теперь он что?
Трясучая усталость,
полк
молча умирающих теней.
Единственное,
что ему осталось, —
вНориться в землю,
ждать и цепенеть.
Теперь,
своей рукою вдавлен в стену,
он потерял
повольницкую стать;
он понял всё:
себе он знает цену, —
из грязи
Разиным —
теперь не встать.
Когда совбур,
скользящий на моторе,
его загонит в щель —
в Каретный ряд, —
ему одна надежда —
крематорий,
что выстроится вскоре,
говорят.

ЕЕ НАСТОЯЩЕЕ

Это я —
перекатная голь Москвы.
Это я —
голос ее тоски.
Это мне —
мешают петь и жить
коренастые ее этажи.
Мне не страшен ни Тоуэр,
ни паточно-тошный Версаль;
их свои раскачать готовы
и свалить
сердца.
Но мое
цепенеет и мрет
от зеркальных стуж,
оковавших толпу сирот
на Кузнецком мосту.
Но мое
истекает стыдом
двадцать раз на дню,
прославляя в слове худом
молодню-родню.
Груз поднимем Нью-Йорка
и величье Сорбонн,
только Швивая горка
заколеет горбом.
От Собачьих площадок
немоту переняв,
меж заборов дощатых
будет плыть старина.
Если жизни стоячей
не подрежет пила,
сколько ж будут маячить
и пылать купола?
Это я —
перекатная голь Москвы.
Это я —
голос ее тоски.

Это я —
подложив плечо
под пудовый строй,
под стеной завывал вечор
с нищетой-сестрой.

СНЫ

Я не хочу
фальшивой башней быть,
построенной
казенными руками;
от заводской
дымящейся трубы
не повернусь
к кресту под облаками.
Не стану ждать
пришествия времен,
лохмотья дней
сорву и в пламя рину, —
не заменю
изношенных имен
сюсюкающей кличкой:
Октябрина.
Я предлагаю имена:
Завод
Сталелитейнович,
Забой Заботыч, —
они
нигде не вызовут зевот,
стальные указатели
работы!
Но знаю:
посмеются, погалдят
и вырешат —
пустые бредни снятся,
и наскоро
поназовут ребят
по еле видоизмененным
святцам.
Я влипну в стену.
Лягу на трапье

и стану слушать
каменные шашни.
Железный голос времени
пробьет
на самой дряхлой,
самой ветхой башне.
Рассвет и стук.
Который час?
Входящий!
Голову нагните! . .
Но низкий вход —
Коровий брод —
его
к порогу примагнитит.
«Иди за мной.
Ты спал сто лет!
Ты желт и сморщен,
как пергамент.
Иди смотреть,
как этот бред
столетья старого
свергают!»
Зрачки
расщепили огни,
на свет
тянусь руками слепо.
Лишь
старой памяти
магнит
выводит пленника
из склепа.
И свежий
сладкий дух весны
щекочет
сморщенные бронхи,
и губы
белы и красны —
рубцов и язв сплошных
воронки,
и старой шкурой —
злая быль,

и свет
невиданно широкий,
и, грянув,
рассыпаюсь в пыль
на неперейденном
пороге!

ПРОЩАЛЬНАЯ РЕЧЬ

Тебе бы только кланяться,
грудями оземь плюхать,
замызганная пьяница,
растрепанная шлюха.
Ничьим слезам не верила,
аршином горе мерила,
сбивала в сбитень слабых
на ярах да ухабах.
Плыла опарой блинною
по звону да по рынку,
взрывала ночью длинною
из ржавых труб Неглинку.
Клялась крестом и золотом, —
клянись серпом и молотом!
Казнись губной избою
от хмелю да разбою.
Твоя сплошная кабала
кого от мук спасала,
пока пылали купола,
не золото — сусало?
Клялась грошом и верою, —
клянись шинелью серою,
тугой лабазной пользой
в ногах у сильных ползай.
Тот час пока не бил еще:
тебя мы, взмывши роем,
и вылущим, и вылощим,
и снова перестроим.
И, грозный праздник празднуя
над дней былых тоскою, —
ты станешь нашей, красною,
железною Москвою!

1923—1924

291. ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ

Памяти павших

ВСТУПЛЕНИЕ

Темен Баку,
дымен Баку.
Отчаянье.
Ночь.
Нефть.
Решетка у лба
и пуля в боку —
для тех,
кто не скрыл гнев.
Фонтаном встает
восемнадцатый год,
беспомощен и суров.
Британская Индия
маршем шлет
своих офицеро́в.
Им нефть нужна,
им нужен хлопо́к,
а хлыст и поход —
их страсть...
Но пуще —
хочет английский сапог
советскую смять власть.
Тарантул зол,
верблюд зобат,
шакала шкура — сера...

По их путям
идут в Ашхабад
английские офицерá.
Москва далека,
Кавказ высок...
Не им позволенья просить, —
они хотят
каракумский песок
возделать и оросить.
Затем они
и пришли сюда,
чтоб,
чуть шевельнув бровь,
узнать,
пресна ли у моря вода
и солона ль кровь.
Полковник спит,
и спит капитан,
уснул генерал-старик;
им снится,
как плотно давит пята
раба встающего лик.
Спокойно спи,
офицер,
засыпай,
размеренно, ровно дыши.
Тебя охраняет
твой раб — сипай —
и здесь,
в закаспийской глуши.
А в черном Баку,
в дымном Баку —
отчаянье.
Ночь.
Нефть.
Винтовка у лба
и пуля в боку —
для тех,
кто не скрыл гнев.
Не спи, товарищ,
не спи, подожди,
глазами
буравь мрак.

Зачем не с тобою
твои вожди,
когда
подступил враг?
Они за решеткой
заключены.
Их мало.
Их двадцать шесть.
И ночь не расколет
своей тишины —
в Москву
донести весть.
Москва далека,
высок Кавказ,
на море
надежда плоха...
Но
от советской власти отказ
врагам ее
не услыхать!

ПУТЬ

Белая рука меньшевика
мягко стелет,
только жестко спать.
У эсера
поступь широка,
да привык шагать он ею
вспять.
Вот и нет
советского следа,
вот и власть рабочих —
не в чести,
вот Баку
и надо покидать,
убегая,
двадцати шести.
Отчего ж не встанет
в грозный ряд,
отчего ж винтовок не сожмет? —

Он обманут,
пролетариат,
залил мысли
меньшевистский мед.
Пароход
от берега бежал,
уходил во мглу
Азербайджан.
Далеки
на Астрахань пути,
топлива не хватит
им дойти.
Прямо —
через море —
Красноводск.
Лица у рабочих там
как воск.
Эй, матрос!
Не дело — сходни класть
к пристани,
где нынче белых власть.
Не пройдет
сквозь сети осетер:
моря хищник
злобен и хитер.
Не ступай на сходни,
большевик:
не уйдешь отсюда
ты в живых!
Нет! Ступили!
Поднялись! Идут!
От голов их
не отвесть беду.
Не минует
вражеская месть
лучших,
самых сильных —
двадцать шесть.

СМЕРТЬ

Телеграф в Красноводске
стучит,
стучит:
«Передать... в эту ночь... от тюрьмы...
ключи...,
комиссаров взять... погрузить в вагон...
„Перевал“ — „Ахча-Куйма“... Перегон...»
В эту ночь весь край
в сон погружен,
но не спит капитан
Реджинальд Тиг-Джонс.
В окнах английской миссии
блещет свет,
в канцелярии миссии
ждут ответ.
И не спят шакалы
в песках степей,
слыша жалобный
перезвон цепей;
их клыки стучат,
их глаза горят,
дыбят шерсть они,
слыша залпов ряд.
Ничего не видать
в эту злую ночь.
Безоружным
никто не придет помочь.
Но мы знаем —
не дрогнет голос ничей,
о пощаде
не будет молить палачей!
Телеграф в Ашхабаде
стучит,
стучит...
Загораются
новой зари лучи.
Капитан Тиг-Джонс
тушит свет:
в канцелярии миссии
есть ответ.

КТО ПРЕДАЛ

Кто по тебе не горевал,
Ахча-Куйминский перевал?
Здесь каждый взор —
суров и строг:
здесь цвет коммуны в землю лег.
Он черные пески твои,
пустыня,
кровью напоил.
И не стереть с лица румян
и в землю в страхе не зарыться
тому,
кем предан Шаумян,
тому,
кем предан Джапаридзе,
кто затаился,
кто молчал,
кто вас обрек
на мрак и гибель,
кто у тупого палача
из рук оружие не выбил;
тому, кто знал,
что в этой тьме,
что в этой ночи
может крыться,
кто в это время
мог и смел
с английской миссией мириться!
Вам нет имен!
Вам нет имен!
И нет для вас рукопожатья.
Ваш общий список заклеймен
брезгливым словом:
«Соглашатель!»
Но не стереть с лица румян
и от проклятия не скрыться
тому,
кем предан Шаумян,
тому,
кем предан Джапаридзе.

КТО УБИЛ

Ты гордишься
военной выправкой,
капитан
Реджинальд Тиг-Джонс!
Ты забыл,
как, все слезы выплакав,
каменели глаза их жен.
Ты теперь
красуешься в Лондоне,
ты — на первых занят ролях.
Нет надежней
и верноподданней
офицера у короля!
Беспокоиться
нет тебе поводов,
ты надежной покрыт рукой:
все орудия
мощных дредноутов
охраняют твой покой.
Ты скрестил
руки холеные,
ты пригубил
полный бокал.
Вспомни:
ночью
кровью соленою
так же
вымочил пасть шакал.
Но не всё
королевской оперы
украшать тебе пурпур лож,
и когда-нибудь
смуглые докеры
приведут тебя в пот и дрожь.
И тогда,
в последнем отчаянье,
вскинув браунинг
у виска,

ты поймешь
глухое молчание
черной степи
о павших в песках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эта песня писана
в вашу честь,
эта песня о вас,
двадцать шесть.
Эта слава,
знаю, еще слаба,
это — голос
проснувшегося раба.
Но ничей сапог
не наступит вновь
на пролившуюся
вашу кровь.
И в родном Баку
вы погребены,
ваши кости —
гранит свободной страны.
И мой вольный стих
вашу смерть хранит,
как венок,
ложась на ее гранит.
Боль и гнев круша,
ночь и смерть круша,
ваш последний шаг —
всё звенит в ушах.
Той стране не пасть,
той стране цвести,
где могила есть
двадцати шести.

<1924>

292. КОРОЛЕВА ЭКРАНА

1

Жизнь отходит, как скорый, —
на коня!
Стисни зубы и шпоры —
нагоняй!
Сердце — порохом ночи
заряди,
жизнь — курьерским грохочет
впереди.
Ты со мной не поспоришь:
я могу
зацепиться за поручнь
на бегу.
Из-за кос этих рыжих
рубежа
я могу и по крыше
пробежать.
Затаясь от погони,
всех скупей,
ты в каком же вагоне
и купе?

2

И волосы вовсе не были рыжими,
и ветер не дул в лоб,
и в жизни —
гораздо медленней движимы
экспресс и конский галоп.
Да и на экране —
всё площе и мельче
отбрасывалось
и серей,
но был у механика приступ желчи, —
и лента пошла скорей.
Кружилось, мерцало, мелькало, мчало,
сошел аппарат с ума;
кончалась
и вновь начиналась сначала
не лента,
а жизнь сама!
Валились на зрителя метры и жесты
смешавшихся сцен и чувств. . .
И думалось залу:
в огне происшествий
не я ли уже верчусь?
Но если механик движенье утроит
в разгаре сплошных погонь, —
от тренья
нагреется целлулоид
и всё зацелует огонь!
Сухая коробится губ кожа,
и, воя, вал встал:
«О, боже, на что же это похоже!
Свет! Свет в зал!»
Но поздно. Уже истлела таперша.
Везде синеет беда!
И факелами живыми от Корша
проборы — в задних рядах.
Пола пополам, и глаза навыкат:
«Вот так ни за что пропал!
Пробейте костями запасный выход!»
Но гарью и он пропах.

Хрипенье и клочья жирного дыма...
И ты,
        над всеми — одна,
не сходишь заученно-невредимо
с горящего полотна.

8

И этого не было тоже!..
Но я поднимаюсь дрожа,
и сохнет, сжимаясь, кожа,
как будто и впрямь пожар,
как будто и вправду ночью
мне ветер коня ссудил,
и валятся пенные клочья
с закушенных тьмой удил.
С завязанными губами
увозит тебя сквозь мрак
на радость черной забаве
замаскированный враг.
А я валяюсь раздетым
за этим встречным леском
тяжелым взмахом кастета
с раскроенным навкось виском.
Но мне не больна эта рана —
царапина из-за угла, —
лишь ты б королевой экрана
сумела стать и смогла.
Закручивай ручку круче,
вцепился за поручнь — держись!
Стремглав пролетайте, тучи!
Под насыпь срывайся, жизнь!

1924

293. ЭЛЕКТРИАДА

> Кипи, мое новое горе,
> моя моревая слеза!
> Ссекай мое сердце под корень
> и разум под корень срезай!

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

Вот бы мне
запеть теперь такое,
чтоб сердца
рванулись из рубах,
чтоб и сам
лишился я покоя —
лишь слова б
светились на губах!
Я не с ветру,
не с далеких Ладог,
не с полярных
красно-синих льдин
отражу
сиянье этих радуг,
вспыхну
мертвым инеем седин.
Дорогое море
голубое,
помоги мне
выпенить прилив,
залпами
взыгравшего прибоя
каменное время
прострелив.

Чтоб
не умер я
и как бы умер
и,
родившись,
свет расцеловал
и из самой
сумрачной зауми
вылепетал
новые слова.
Что ты,
море,
лапы распростерло,
зацепившись когтем
за Машук?
Крепче
захвати меня за горло, —
высоко я голос
заношу!
Волны
всё лицо заморосили...
Век ли, что ль, лизать
теленком
соль?
Выследить бы
тягу лунной силы,
бросить
на тугое колесо!
Стой же, ветер!
Ты бежишь, как влага,
пухнешь
и густеешь
под грозой.
Не игрою
паруса и флага —
прессом бы
сдавить тебя в мозоль!
А земле,
сверлящей безграничье,
пляшущей
по звездному ручью, —

приказать бы
в нашу лямку бычью
эту силу
перевить
ничью.
Сам —
корабль, косящийся от крена, —
я
доверху
сердце нагрузил
и несу
сквозь гром,
сквозь блеск
из плена
снасть костей
и путаницу жил.
В непропетой юности
отчаясь,
волю
вечным бегом иступив,
вот —
бортами пьяными
качаюсь
на тяжелой
якорной цепи.
Я — корабль,
и я ж — матрос и штурман,
груз
тяжеловесного зерна,
павший в трюмы
урожаем бурным,
вписываю
в судовой журнал.
Стройтесь над бортами,
комсомольцы!
«Капитан!
Когда же курс левей,
к берегам
еще безвестной пользы,
где стальной
играет
соловей?»

«Капитан! —
сказал я. —
Год от году
всё яснее
пламенеет мир.
Если мы
еще прибавим ходу,
скоро ль нам
засветится КаИР?
Нет, не тот,
резной и раскаленный,
с тонким полумесяцем
вверху,
что,
зайдя за океан зеленый,
прежнему
салютовал мирку.
Вы подошвой вылощили кубрик:
сидя лучше слушать, —
вот скамья...
Красный
Интернационал
Республик —
вот кого
зову КаИРом я.
Если мы его
теперь не сыщем,
не увидим
четкий берег въявь,
что нам ждать,
измученным и нищим,
новым светом
навек засияв?»
Капитан ответил:
«Все мы — братья,
а твоих
мне не понять речей:
я, моря пройдя
в десятикратье,
не встречал
каировых лучей.

Может быть,
на землях давней Трои,
может, в Дувре,
может, в Гавре
мы
сами все
должны его построить
рядом зданий
светлых и прямых.
В море —
видишь —
тоже есть миражи,
ты меня
движенью не учи...
Слышишь ли
сирены голос вражий,
что вздыхает
буем из пучин?
Здесь, в тумане,
каждою саженью,
каждой пядью
угрожает риф.
Будем ждать,
застопорив движенье, —
солнце встанет,
море озарив!»
— «Нет, —
сказал я, —
латок мало дырам,
если вся одежда
сбилась с плеч.
Завтра
сам я стану командиром,
если в штиль
нам суждено залечь!»
И матрос,
стоявший у бизани,
чуть шепнул мне:
«Погоди, браток,
если
я не очень буду занят,
вечером
поговорим про то».

И когда
на борт свалился вечер
и звезда
забилась на воде,
я каленым словом
переметил
всех моих
товарищей в беде.

ТРЕТЬЯ ПЕСНЯ

Дуло —
это самый свежий довод,
хоть и жалко стало
старика,
но сильней,
чем жалостью,
готово
сердце было
бить о берега.
Вы,
забытых схваток ветераны,
знаете ль,
что изо всех скорбей
всех больней и глубже
эти раны,
что нанес
товарищ по борьбе?!
Уголь выл
и бунтовался в топке!..
Мы
такие развели пары,
что за нами
море в белой штопке
вихрилось
минуты полторы.
Развевались
яростные флаги,
алые
пылали вымпела, —

над весельем
моревой ватаги
всё красней
хотелось им пылать.
Мы пустили в рокот
все динамо,
мы к бортам снесли
рефлектора.
Прыгая
фосфорными тенями,
мимо мчались
моря хутора.
Буревое море
было радо
на бугристом
сумраке сыром
раскачать тебя,
Электриада,
легким
пламенеющим пером.
Наш корабль
единственного бега
шел встречать
Америку веков,
и дрожала
искристая Вега
компасом
на мировой рекорд.
Всё,
что в жарком сердце
мы копили, —
свет и грусть,
отчаянье и злость, —
всё
вскипевшей радугою пыли,
песней моревою
разнеслось:
«Яхту „Нарвал“
ветер сорвал
сразу со всех якорей.
С бурей вдвоем
в шлюпке встаем.

Пенься же, песня, скорей!
Если теперь
громко не петь —
взвоет белугою страх.
Немы — одни
бревна на дне,
шлюпки, разбитые в прах.
Мы же встаем
с бурей вдвоем,
воли и ветра сыны.
Грянь с якорей,
говор морей
самой высокой волны!»

ЧЕТВЕРТАЯ ПЕСНЯ

День настал,
от низких туч не вымыт.
Мы проснулись:
даль была сыра;
с двух бортов к нам стали
часовыми
серые чужие крейсера.
Сна ль ресницы наши
не согнали?! —
Три зрачки
и протирай, рука:
все — в поднятом
сумрачном сигнале,
к полной сдаче
боевой приказ!
В рубке —
бел двадцатилетний лоцман;
палуба —
предбурье тишины:
«Братья!
Нет надежды нам бороться, —
мы со всех сторон
окружены».
Голос снизу:
«Чья же мы добыча?»

Сверху стон:
«Эскадра старичья!»
И опять
противников обычая
палуба
речами горяча:
«Если это так,
то будь он проклят,
этот мир,
сегодня, встарь и впредь,
коли в нем
мошенники да рохли
будут лишь
плодиться и добреть!
Будь он проклят,
день тупого пота!
Пусть конец
и
ночь придет скорей,
если мы —
лишь только позевота
на его
безрадостной заре.
Снова ли идти
навек в наймиты,
ночь
не отличая ото дня? ..
Разве мало
в трюме динамиту,
чтобы
сразу дыбом всё поднять?!»
Вымпела
приспущенные, мрейте,
сумерки
игрою расцветив, —
мы на вражьем
зажигаем
рейде
порохом
пропитанный фитиль!

ПЯТАЯ ПЕСНЯ

Звук забылся,
боли было мало...
Сразу
полдень омглевал и мерк,
да горячим ветром
обнимало,
сламывало
и бросало вверх.
Веерами
брызнувших молекул
нас,
в туман морской переселив,
в одного
воздушного калеку,
дунув,
превратил пироксилин.
Но пока
метало наши клочья
(солнцем пахла
пороха теплынь),
видели мы,
сдвинувшись над ночью:
рейд и город
стали также плыть.
И гремели
берега от гуда,
дальним эхом
откликаясь в мир,
и земли
вздыхающая груда —
словно ветер,
хлопнувший дверьми...
Вот то место,
где стоял когда-то
сумрачный
и тягостный гранит,
вот то место.
Огненная дата
памяти
о нем не сохранит.

И лишь ты,
моя Электриада,
родина единая моя,
словно
брызг льдяного водопада
сохранишь
горящие края.
И лишь ты,
не знающее тленья,
ты,
кому душа была верна,
новое
литое поколенье,
прочитаешь
судовой журнал.
В этих строках,
писанных под ветер,
рвущихся
сквозь немоту и боль,
ты узнаешь тех,
кто на рассвете
пил
волны кипящей
йод и соль.
И когда
пустых веков громады
выполнишь,
как ветер небеса,
помни:
я, беглец с Электриады,
эти строки
для тебя писал.

1924

294. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

1

Читатель, стой!
Здесь часового будка.
Здесь штык и крик.
И лозунг. И пароль.
А прежде —
здесь синела незабудка
веселою мальчишеской порой.
Не двигайся!
Ты, может быть, —
лазутчик,
из тех,
кто руку жмет,
кто маслит глаз,
кто лагерь наш
разделит и разлучит,
а после
бьет свинцом враждебных фраз;
кто,
лаковым предательством играя,
по виду — покровительствует нам,
чья наглая уступчивость — без края,
чье злобное презрение — без дна.
Вот он идет,
уверенно шагая,
с подглазьями, опухшими во сне,

и думает,
что песнь моя нагая
его должна стесняться и краснеть!..
Скопцы, скопцы!
Куда вам песни слушать!
Вы думаете,
это так легко,
когда
до плеч пузыристые уши
разбухли золотухою веков?!
Вот он идет...
Кружи его без счета!
Гони его по лабиринту рифм!
Глуши его,
громи огнем чечеток,
трави его,
чтоб стал он глух и крив!..
А если друг, —
возьми его за локоть
и медленной походкой проведи,
без выкупа, без всякого залога,
туда, где мы томимся, победив.
Отсюда вот —
с лирических позиций,
не изменив,
но изменясь в лице, —
мне выгодней тревожить и грозиться
и обходить раскинутую цепь.
Мы здесь стоим
против шестидюймовых,
отпрыгивающих, визжа, назад;
мы здесь стоим
против шеститомовых,
петитом
ослепляющих глаза.
Читатель, стой!
Здесь окрик и граница.
Здесь вход и форт,
не конченный еще.
Со следующей он открыт страницы.
И только — грудью защищен!

2

Ни сердцем,
ни силой —
не хвастай.
Об этом лишь в книгах — умно!
А встреться с такой вот, бровастой,
и станешь ходить как чумной.
От этой улыбки суровой,
от павшей
до полу
косы
порывами ветра сырого
задышит апрельская синь.
От этой беды
тонколицей,
где
жизни глухая игра,
дождям и громам перелиться
через горизонтовый край.
И вскинет
от слова простого,
примявшего вкось ковыли,
курьерская ночь до Ростова
колесами звезд шевелить.
Ничем —
ни стихом,
ни рассказом,
ни самой судьбой ветровой —
не будешь так скомкан
и разом
распластан вровень с травой.
Тебе бы — не повесть,
а поезд,
тебе б — не рассказ,
а раскат,
чтоб мчать,
навивая на пояс
и стран
и событий каскад.
Вот так
на крутом виадуке,

завидевши дальний дымок,
бровей загудевшие дуги
понять
        и запомнить я б смог.
Без горечи, зависти, злобы
следил бы
            издалека,
как в черную ночь унесло бы
порывы паровика.
А что мне вокзальный порядок,
на миг
        вас сковавший со мной
припадками всех лихорадок,
когда я
        и сам
              как чумной?!

8

Скажешь:
            вона, заныл опять!
Ты глумишься,
                а мне не совестно.
Можно с каждой женщиной спать,
не для каждой — встаешь в бессоннице.
Хочешь,
        вновь я тебе расскажу
по порядку,
            как это водится?
Ведь каким я теперь брожу,
и тебе как-нибудь забродится.
Всё вокруг
            зацветет, грустя,
словно в дальние страны едучи;
станет явен
            всякий пустяк
каждой поры в лице и клеточки.
Руку тронешь —
                она одна
отзовется
            за всех и каждого,

выжмет с самого сердца дна
дрожь удара
самого важного.
Станешь таять,
как снег в воде, —
не качай головой, пожалуйста,
даже если б ты был злодей,
всё равно — затрясет от жалости.
Тьма ресниц и предгрозье губ,
запылавших цветами в Фаусте...
Дальше —
даже и я не смогу
разобраться в летящем хаосе;
низко-низко к земле присев,
видишь, — вновь завываю кликушей;
я б с размера не сбился при всех,
да язык
досиня прикушен!

4

За эту вот
площадь жилую,
за этот унылый уют
и мучат тебя, и целуют,
и шагу ступить не дают?!
Проклятая тихая клетка
с пейзажем,
примерзшим к окну,
где полною грудью
так редко,
так медленно
можно вздохнуть.
Проклятая черная яма
и двор с пожелтевшей стеной!
Ответь же, как другу, мне
прямо, —
какой тебя взяли ценой?
Молчи!
Всё равно не ответишь,
не сложишь заученных слов,

немало
за это на свете
потеряно буйных голов.
Молчи!
Ты не сломишь обычай,
пока не сойдешься с одним —
не ляжешь покорной добычей
хрустеть,
выгибаясь под ним!
Да разве тебе растолкуешь,
что это —
в стотысячный раз
придумали муку такую,
чтоб цвел полосатый матрас;
чтоб ныло усталое тело,
распластанное поперек;
чтоб тусклая маска хрипела
того,
кто тебя изберет!
И некого тут виноватить:
как горы,
встают этажи,
как громы,
пружины кроватей,
и —
надобно ж как-нибудь жить!
Так значит —
вся молодость басней
была,
и помочь не придут,
и день революции сгаснет
в неясном рассветном бреду?
Но кто-нибудь сразу,
вчистую,
расплатится ж
блеском ножа
за эту вот
косу густую,
за губ остывающий жар?!

5

От двенадцати до часу
мне всю жизнь к тебе стучаться!
Не по жиле телефона,
не по кодексу закона,
не по силе,
не по праву
сквозь железную оправу.
Даль весенняя сквозная!..
Я тебя другою знаю,
я тебя видал такою,
что не двинуться рукою.
В солнце, в праздник,
в ветер, в будень
всюду влажный синий студень.
От двенадцати до часу
мне сквозь мир к тебе стучаться!
Обо всё себя ломая,
сквозь кронштейны,
сквозь трамваи,
сквозь насмешливые лица,
сквозь свистки и рысь милиций,
сквозь забытые авансы,
сквозь лохмотья хитрованцев,
сквозь дома
и сквозь фиалки
на трясучем катафалке.
От двенадцати до часу
навкось мир начнет качаться!
Мир суровый, мир лиловый,
страшный, мертвый мир былого,
мир, где от белья и мяса
тучи тушами дымятся,
где стреляют, режут, рубят,
где губами
жгут и губят
теми ж,
ими же болтая
об эпитетах в «Полтаве».
Я доволен буду малым,
если грохнет он обвалом,

я и то почту за счастье,
если брызнет он на части,
если, мне сломавши шею,
станет чуть он хорошее...
Это всё должно начаться
от двенадцати до часу!

6

А покамест
сбивают биржи
с гранитных катушек, —
знаю:
эти вирши
задушат
пухом подушек;
и пока,
чадя Шейдеманом,
разлагается
в склепе
Стиннес, —
поворачивают вновь
дома нам
спины гостиниц.
Что мне скажет
о Макдональде
прямой провод,
если снова тоска моя
на лето
осталась без крова!
Пусть в Германии лица строги
и Болгария в прах разбита.
Чем
у нас
отдаляются сроки
переплавки быта?
Мне
не только одни наркомы
из-за мрака ложи,
мне — все лица в Москве знакомы
и, как трупы,
схожи.

Пусть дневник мой
для вас анекдотом
несерьезным будет,
но из вас переделался кто там,
серьезные люди?!
Почему бы из-под подушек
вам не вынуть ухо?
Неужели оно задушено
веков золотухой?
Если так,
то довольно шуток:
перед пузырями, —
гной течет, заражен и жуток, —
мы не козыряем!
Нет, довольно хлопать в ладоши,
обминая пузо!..
Что мне спеть теперь молодежи
из притихших вузов?
Мелких дел —
не поймать на перья,
в их расщеп
проползло столетье;
долго выживет морда зверья,
если сразу не одолеть ее.
Мой дневник!
Не стань анекдотом
лорелейной грусти, —
если женщину выкрал кто-то,
он ее не пустит.
Он забьет,
измучит,
изранит
и сживет со света,
в жизни
или на экране, —
всё равно мне это!
И она загрустит,
закрутит,
переменит званье,
разбазарит глаза и груди
и в старуху свянет.

7

Где же жизнь,
где же ветер века,
обжигавший глаз мой?
Он утих.
Он увяз, калека,
в болотах под Вязьмой!
Знаю я:
мы долгов не платим
и платить не будем,
но под этим истлевшим платьем
как пройти мне к людям?
Как мне вырастить жизнь иную
сквозь зазывы лавок,
если рядышком —
вход в пивную
от меня направо?
Как я стану твоим поэтом,
коммунизма племя,
если крашено —
рыжим цветом,
а не красным, —
время?!

8

Нет,
ты мне совсем не дорогая!
Милые
такими не бывают...
Сердце от тоски оберегая,
зубы сжав,
их молча забывают.
Ты глядишь —
меня не понимая,
слушаешь —
словам моим не веря,
даже в этой дикой сини мая
видя жизнь
как смену киносерий.

Целый день лукавя и фальшивя,
грустные выдумывая штуки,
вдруг —
взметнешь ресницами большими,
вдруг —
сведешь в стыде и страхе руки.
Если я такой тебя забуду,
если зубом прокушу я память —
никогда
к сиреневому гуду
не идти сырыми мне тропами.
«Я люблю, когда темнеет рано!» —
скажешь ты
и станешь как сквозная,
и на мертвой зелени экрана
только я тебя и распознаю.
И, веселье призраком пугая,
про тебя скажу,
смеясь с другими:
«Эта —
мне совсем не дорогая!
Милые
бывают не такими».

9

Убегая от слова прямого
и рассчитывая
каждый шаг,
сколько мы продержались зимовок,
так называемая
душа?
Ты училась юлить
и лизаться,
норовила прожить без вреда,
ты во время мобилизаций
притворялась
идущей в рядах...
И, когда колыхавшимся газом
плыли беды,
ты, так же ловча,

опрокинув и волю и разум,
залегала в дорожный ровчак.
В ряд с тобою был так благороден,
так прозрачен и виден на свет
даже серый, тупой оборотень,
изменяющий в непогодь цвет.
Где же взять тебе плавного хода,
вид уверенный,
                                        явственный шаг,
ты, измятый изломанный «кодак»,
так называемая
                                        душа?
Вот смешались поля и пейзажи,
всё, что блеск твоих дней добывал,
и теперь —
                              ты засыпана заживо
в черной страсти упавший обвал.
Что ж,
                попробуй, поди, прояви-ка, —
в этой пленке нельзя различить,
чьи глаза, чьи слова там навыкат,
чьих планет пересеклись лучи.
Как узнать там твой верный, любимый
облик жизни —
                                        большой и цветной?
Горя хлористым золотом вымой
расплывающееся пятно.
Если песням не верят, —
                                                то прочь их,
слепорожденных жалких котят.
Видишь:
                        спрыгнуть с нависнувших строчек,
как с карниза лепного, хотят.
Если делаешь всё вполовину, —
разрывайся ж
                                        и сам пополам.
О, кровавая лет пуповина!
О, треклятая губ кабала!

1924

295. СВЕРДЛОВСКАЯ БУРЯ

1

Я лирик
по складу своей души,
по самой
строчечной сути.
Казалось бы, просто:
сиди и пиши,
за лирику —
кто же осудит?
Так нет —
нетерпенье!
Взманило вдаль,
толкнуло к морю,
к прибою.
Шумела и пенилась лирика:
«Дай
стеной мне встать
голубою!»
Она обнимала,
рвала с корней,
в коленах
стала пошатывать,
и с места гнала,
и вела верней
любого колонновожатого.
Как на море буря,
мачтой маша,

до слез начинает
захлестывать,
так —
лирика это или душа —
бьет в борт
человечьего остова.

2

Нас бури несли
или снилось во сне?
Давно не видали
их мы.
Казалось:
лишь горы начнут яснеть —
и взмоют прибоем
рифмы.
Доехал до моря, —
но море не то.
Писать ли портрет
с такого?
Ни пены,
ни бури. . .
Молочных цветов.
В туманы —
берег окован.
Постыл и невесел
курортный режим,
к таким приучает
рожам,
что будто от них мы —
слегли и лежим
и на ноги встать
не можем.
Меж пухлых телес
застревает нога.
Киты —
по салу и крови. . .
Таких вот —
не смог продырявить наган,
задохся
в верхнем покрове.

3

От трестовских спин
и от спецовских жен
всё море
жиром замаслено.
А может,
я просто жарой раздражен,
взвожу на море
напраслины?
Но нет:
и оно,
наморщив гладь,
играя с солнцем
в пятнашки,
нет-нет да и вздрогнет,
нет-нет да и — глядь
с тоской
на вздутые ляжки.
И солнца
академический лик,
скользя
по небесной сини,
нет-нет да и вспыхнет,
и влажный двойник
в воде его —
голову вскинет.
А впрочем, что же,
курорт — как курорт,
в лазуревой хмари
ды́мок.
И я —
ни капли не прокурор,
и пляж —
не скамья подсудимых.

4

Но вот,
чугунясь загаром плеча,
нагретым
мускулом двигая,

над шрифтом
убористых строк Ильича —
фигура чья-то
над книгою.
Я лежмя лежал —
и не знал, что — гроза,
я встать и не думал
вовсе...
И вдруг
черкнули синью глаза:
упорист зрачок
в свердловце.
Ага!
Загудел над снастями шторм...
Но с виду —
всё было спокойно.
И мы говорили
про МОПР и про корм,
про колониальные
войны.
Потом посмотрели
друг другу в глаза,
и дрожь
от земли до неба
стрельнула —
и ходу не стало назад,
и нэп —
как будто и не был.

5

Он слово сронил —
и пошла колебать
волна за волною
снова...
И в слове —
не удаль и не похвальба, —
пальба была
в каждом слове.

И гребнями взмылился
белый отряд,
и в сердце —
ветра колотье;
и мы ночевали
три ночи подряд,
друг друга
грея в болоте.
От стужи
рассветного неба
дрожа,
следили мы
месяца смену;
камыш мы ломали
замест фуража
и пили
болотную пену.
И дыбил коня
на опушке казак,
в трясине нас
выискать силясь;
и звезды у нас
грохотали в глазах,
когда они
с неба катились.

6

Кто мог бы понять,
что меж этих толстух,
в которых
я рифмой возился, —
с грозовых просторов
рязанский пастух
стрелой громовою
вонзился?
Что,
голову на руки облокотив,
совсем поблизости,
рядом,

весь пляж и весь мир —
партийный актив
суровым
меряет взглядом?
Кто мог бы узнать,
что не из берегов
выходит море рябое, —
что он,
перешедший через Перекоп,
сигнал —
крутого прибоя?
И я увидал
в расступившихся днях —
в глазах его,
грозных и синих, —
проросший сквозь нэп
строевой молодняк,
не только —
осенний осинник.

7

И вот —
он свердловцем,
а я рифмачом.
И моря —
нежна позолота.
Но мы не забудем
его
нипочем —
воронежского
болота.
Мы с ним не на пляже,
мы с ним — на ветру,
и дали —
тревожны и сини...
И я — запевала,
а он — политрук,
лежим в болотной трясине.

Но мы не сдадимся
на милость врага,
пощады его
не спросим.
В лицо нам — звезда,
светла и строга,
взошла
и глядит из-за просек.
И если так надо, —
под серым дождем,
как день ни суров
и ни труден, —
и ночи, и годы,
и дольше прождем,
пока
не избудем буден.

8

И только,
прижавшись к плечу плечом,
друг друга
обмерив глазом,
над верным вождем,
над Ильичем,
мы вспыхнем
и вспомним разом:
как на море буря,
мачтой маша,
до слез начинает
захлестывать,
как —
лирика это или душа —
бьет в борт
человечьего остова.
И море,
откликнувшееся на зов,
плеснет,
седо и клокато,

взгремит
от самых своих низов
до самых
крутых накатов.
И в клочья
разорвана тишина,
игравшая
в чет и нечет,
и в молнии —
снова земля зажжена,
и буря
и рвет и мечет!

1925

296. СЕМЕН ПРОСКАКОВ

Стихотворные примечания к материалам по истории гражданской войны

ДВЕ ЭПИТАФИИ

I

1917 года, при свержении Николки Романова, я, Проскаков Семен Ильич, работал на Ленинском руднике, а всего проработал по разным рудникам Сибири 17 лет. И вот 1917 года я вступил в добровольную Красную гвардию и в партию большевиков. И тут же эта партия повела борьбу против эсеров, против учредилки, и наши советы начали работать, вести в полном смысле и организовывать партию большевиков и повели борьбу с эсерами и с другими партиями за советскую власть, а когда организовывали Красную гвардию, то она работала под руками советов и выполняла все распоряжения советов.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

В тысячах
повторенный
имен,
из-под глухого
земного покрова
я, партизан
Проскаков Семен,
жить начинаю
снова и снова...
Я проработал
семнадцать лет
на рудниках
и на шахтах Сибири...

Болью резал
глаза мои
свет;
ночь почивала
на мне
и на мире.
В сумерках шахты,
оледенев,
переходя
от забоя к забою,
с черной породой
наедине,
молча
я путь пробивал пред собою.
Этот упорный
и грозный труд,
скреп и подпорок
ломаемых
рокот,
грохот
обваливающихся груд
слышен в моих
неприкрашенных строках.
В год,
когда первому
ясному дню
было дано
надо мною зардеться,
бросил я дом,
жену
и родню
и записался
в красногвардейцы.
Я пролетел,
просквозил,
проскакал
сквозь пули
японцев
и чехословаков,

прям и упорен,
как эта строка,
черен
от угольной пыли
и шлака.
Я, рабочий,
шахтер,
большевик,
сумрачному
и охладелому
сердцу республики
молвил: живи,
бейся
и делай великое дело!
Кто остановит
меня на пути?
Мертвый,
я раны свои простираю
к дальнему свету,
к новому краю,
всё пережив
и всё победив!

II

— Вы адмирал Колчак?
— Да, я адмирал Колчак.

. . . .

Во время моего первого плавания... я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами. Я готовился к южнополярной экспедиции, но занимался этим в свободное время... У меня была мечта найти Южный полюс, но я так и не попал в плавание на Южном океане.

«Допрос Колчака», Центроархив, ГИЗ, 1925

Я,
отраженный
в сибирских ночах
трепетом
тысячей звезд
партизаньих,

Я,
адмирал Александр Колчак,
проклятый в песнях,
забытый в сказаньях.
Я,
погубивший мечту свою,
спутавший ветры
в звездном посеве,
плыть захотевший
на юг
и на юг
и отнесенный
далеко
на север.
Я
предупреждаю других,
жаждущих славы
и льнущих ко власти:
у́же
и у́же
сходились круги
темных моих
человеческих странствий.
Плыть бы и плыть мне
к седой земле,
бредящей
именем адмирала,
так —
чтобы сердце,
на миг замлев,
хлынувшей радостью
обмирало.
Но —
не иная земля
у плеча
и не акулье скольженье
у шлюзов, —
путь мой
искривлен
рукой англичан,
бег мой
направлен
рукою французов.

И
не на штиля
немой бирюзе
встали миражами
жизни виденья, —
кто-то
мне путь и судьбу
пересек
темной,
суровой,
взлохмаченной тенью.
Я,
изменивший стихии родной,
вышедший биться
на сухопутье,
пущен
болотам сибирским
на дно,
путами тропок таежных
опутан.
Я,
никаких не открывший стран,
вижу теперь
из могильного мрака:
жгучею болью
бесчисленных ран
путь заградил мне —
Семен Проскаков.
Против народа
безмерностью пагуб
оборотившему
острие,
если б мне
снова,
сломав свою шпагу,
в Черное море
бросить ее!

ЧЕРНЫЙ АТАМАН

Соратники его знают как человека, не курившего и не потреблявшего спиртных напитков, но много уничтожавшего конфет. Он не имел друзей, чуждался и женщин — он холост. Любил покататься на автомобиле, любил задавить кошку, собаку, курицу, барана. Хотелось задавить какого-нибудь киргизенка.

«10 лет контрреволюции», очерк следователя по важнейшим делам Верховного суда СССР Д. И. Матрона

Первое

1

Не кончились
эти дни,
не кончены
эти дни
горячечной
ломки и стройки.
Глаза мои
ледяни,
слова мои
ледяни,
ревущий ветер
героики!
Чтоб
не теплых цыплят
под строкой
высиживать, —
чтоб
пилою цеплять
выродка
бесстыжего.
Что такое —
хулиган?
Нож
сажая, —
жизнь ему
недорога —
своя,
чужая.

Еще ходят
по Москве,
в Харькове,
Киеве;
он и жулик
и аскет —
есть такие.
С ним
руками пустыми
не цапайся;
он —
не с нами,
не с ними,
он —
сам по себе.
Он кривит
усмешкой рот,
злой
и узкий;
он бахвалится
и врет:
«Я, мол,
русский.
Я останусь
таким
век
до гроба.
Все вы —
рвань,
дураки.
Я —
особый!
Я
об стену
в дому
развалю
башку,
лишь бы жить
моему
самолюбьишку.
Вздену чуни
да кожух —
нет препятствий;

всему свету
докажу:
брось трепаться!
Кой там черт —
социализм?!
Все —
евреи!
Лучше
богу помолись
поскорее:
без икон,
без лампад
мы забыли
о нем...»
Смотришь:
желтый лампас
загорелся
огнем.
Смотришь:
щурит бешено
глазки
узкие...
Сколько им
повешено?!
И все —
русские!

2

Не буяна
пьяненького,
на карачках
лезущего, —
мы судим
Анненкова,
округа
вырезывавшего.
Может,
жил бы тихо,
фарту б
дожидался,

если бы
не вихорь
войны
гражданской,
если бы не бури
широкая сила
пену от влаги
не относила.
Вот он
сидит —
«потомок»
декабриста.
В глазах
у судьи
тайга
серебрится.
Забелели
берега
белые
Байкаловы;
ночь темна
и велика,
хоть глаза
выкалывай!..
С ним —
его вояки,
страшные приспешники:
люди
или раки,
руки
или клешни?
На портретах
Брюллова
такие лица;
рот
у тонкоскулого
шевелится.
Губы —
тоньше ниточки, —
страх
на врагов;

генеральской
выточкой
светит
погон.
Чуб
из-под околыша
падает
на лоб;
по степи
такого же
нес его
галоп.
Поскрипывали
ремни
у седел
тугих...
Алые
деревни
средь
белой тайги.
Времени
не тратили
белые
каратели:
«Разбегайтесь
по домам,
...с вами —
нянькаться!
С нами
бог и атаман,
мы —
анненковцы.
Нечего медлить,
некогда мешкать:
если младенец —
на штык да об печку;
если взрослые —
встань в затылок,
не таскать же
мертвых до ям;

так,
чтобы заживо
кровь застыла,
рассчитайсь
у могил по краям!
Баб и девок
лови по гуменьям,
эти смолкнут —
другими заменим».
Не расскажут
про все их палачества
те деревни,
что выжжены
начисто;
позапомнило их
Семиречьице —
до сих пор
темнотою
мерещатся.
Вот он
сидит —
«потомок»
декабриста.
В глазах
у судьи
тайга
серебрится.
Как
заученных
слов
ни цеди —
трупы
замученных
в глазах
у судьи.
Если б были они мне
братья,
эти люди-звери,
я стрелял бы в них,
слов не тратя
и словам
не веря!

ПАРТИЗАНЫ

Приехав в деревню Тележину, там уже нас встретили неприятельской пулей. Тут нам пришлось задержаться на трое суток, и у нас вышли патроны, и нам стало воевать нечем. Тут издал приказ наш командир, чтобы кто как мог, так и спасался от белой сволочи. Здесь мое первое страдание при отступлении, нас искали везде и всюду, и я попал на заимку Елиновку, влез на высокую гору и там спасался пятеро суток, а хлеба ни крошки нет. В пятые сутки я встретился с одним мадьяром отряда нашего, и мы решили пойти скитаться вместе по незнакомой глухой тайге, и отправились по долинам гор, днем лежим, запрячемся, а ночью идем. И до чего же дошло это страдание, что у нас с почв наших ног были раны до костей. Ведь подумаешь это страдание и встретивши его, то все-таки становится тебе жутко.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

Второе

1

Можно написать:
«...Тропка вела
не то на небеса,
не то на елань».
Мы ж хотим —
без выдумок,
что жизнь нам
дала,
рассказать
о видимых
людях
и делах.
Чтоб,
к правде лицом,
пути не терял
сух
и весом —
наш материал,
чтоб
не теплых цыплят
холить нежненько,

чтоб
ноге не цеплять
по валежнику.
Ти-
ше,
ти-
ше,
ти-
ши-
на.
Спи, дитя,
и спи, жена.
Не шуми,
луга,
не дрожи,
осинник!
Нет
у
ми-
ло-
го
черных,
серых,
синих.
Мерцай,
звезд
круг,
темноту
цара-
пай.
Сердца
стук,
стук:
отдохнуть
пора бы.
Настоящими
топкими тропами
шел отряд партизанов
потрепанный.
Не герои-орлы
бессменные, —
шли
рабочие люди семейные.

Шли
без регалий,
шли
без патронов,
шли
и ругались,
хвою затронув.
Шли
по весенней хрусткой капели,
шли
и, вроде вот этого,
пели:
«Что ты невеселый,
наш товарищ командир?!
Скоро ль наши села
завиднеют впереди?
Шагу не наступишь:
натрудилася нога.
Ты ли нас погубишь,
распроклятая тайга?»
Отвечал печально
наш товарищ командир:
«Я вам
не начальник, —
кто куда хотишь, иди.
Много троп
наслежено,
да кончены пути;
вот она —
Тележина,
да к ней не подойти.
Стоит вам
послущать,
бойцы,
мои слова:
нечего нам кушать
и нечем воевать.
Сосны
еле шепчутся,
обстигла
нас беда.

Обнимемся покрепче,
разойдемся,
кто куда».
Мы тебе ответили,
товарищ командир, —
встретиться
на свете
суждено нам
впереди!
Слушайся приказу,
голодная братва,
расходись не сразу —
по одному, по два.
Тихий шорох,
раскатись
по тревожной ночке,
расходись,
расходись
в темь
поодиночке.
Разровняй, трава,
наш след
по зеленой улице.
Ночью были —
утром нет,
лишь туманы курятся...

2

Горемычно
одному в лесу,
тьма ведет
суконкой по лицу:
хоть и вспомнишь
после —
это ветвь,
на минуту
сердцу —
помертветь.
Одиноко
ночью без костра,

мягкой лапой
выступает страх,
подползает
оползнем когтей,
начинает
тысячу затей.
То ли
шум
несется от реки,
то ли
сумрак
нижут светляки,
и другие
сорок сороков
поднимают
шорох широко.
Горемычно
в сумрачном лесу...
Звезды тлеют
неба на весу.
И идет толпа
ветров тугих
по деревьям
вздыбленной тайги.
Горемычно
одному в лесу...
Солнце,
встань
и высуши росу,
принеси
из сонного села
дым еды
и заглушенный лай!..
Стой, ночь!
Мне с тобою страшно
наедине —
ты такой
тишиной окрашена,
оледенев,
ты такой
тишины ответчица,
вплоть до могил...

Если сердце
со страху мечется,
ты — помоги!
Видишь:
спавший
с камнями ветхими
береговой —
вновь
заводит
с верхними ветками
переговор.
Звякни, звякни
звездой хоть изредка
и урони,
от безлюдья
страшного призрака
оборони...
Шел Проскаков
мимо заимок.
Гнус бросался
в глаза ему,
гнусь лесная
да мошкара;
вместо хлеба —
еловая кора.
Ноги нагие
разбиты в кость.
Всюду враги,
напрямик и вкось.
По всей
по Сибири,
вблизи и далекó,
порки,
пожары
и паника:
справа Семенов,
сзади Калмыков,
слева
и спереди
Анненков.

Черные гусары,
синие уланы,
желтые лампасы
уссурийские —
в криках,
да в свистах,
да в шашек пыланье
всюду мелькают
и рыскают...
А в тайге,
заедены гнусом,
партизаньи головы
гнутся.
Эй, Семен,
бросай,
перестань-ка,
выходи
из дебри
с повинной!
Вот они —
огни полустанка,
теплые хлева
да овины.
Нет, не брошу,
не перестану,
не скули,
шахтерское сердце!
Оползи
кругом полустанок,
погляди
на то офицерство.
Тишь — темна;
бурелом не треснет;
ляг и слушай,
дух захолонув,
разговор,
бормотню
и песни
из открытых
окон салонов:

«...Здоровье его величества
обожаемого монарха!
...Какое угодно количество,
любая марка!
...Тише, поручик,
не вскидывать ручек,
это вам
не российский простор!
Без интеллигентских
штучек,
если пьяны —
ползите под стол!
...Под Тюменью
было именье
в семнадцать тысяч душ.
...Туш, туш. Туш!
Чего расклеились?
Чего раскисли?
Ждете,
чтоб мамка соску дала?
Выбросить к черту
кислые мысли!
...Я мммучительный талант!
Стойте, хорунжий!
В вопросах чести...
— Снимаю дамблэ!
В банке двести...
Пьем за здравие
адмирала!
...Марало!
— Тише, оратель!
Вы — овечка.
Где вам
большевиков свергать?!
Вы —
ни господу богу свечка
и ни дьяволу
кочерга.
...Предлагаю:
в банке сорок!

Ваня, уйдем,
начинается ссора.
...Сла-а-авен
выпивкой
и пляской
чудный полк
Ингерманландский!
— В ночь,
когда стали
все кошки серы,
в дикую ночь
над несчастной страной
вы записались,
я знаю,
в эсеры,
вы к офицерству
стали спиной!
Но,
большевизию
быстро покинув,
пальцы от злости
грызя,
вновь повернули
гибкую спину
к вашим
вшивым друзьям!
Что ж,
вас опять потянуло к онуче?
Тьму
пожаром усадьб
просветлять?..
Только
здесь
вам не место канючить,
демократическая тля!
— Это оскорбленье,
за это ответишь!
...Румяной зарею
покрылся восток.

— Полно,
всё условно на свете!
...В банке
четыре тысячи сто.
— Впрочем,
если вам нужен воздух,
выйдем
поговорить
при звездах!
И если то,
что на вас —
мундир,
можно прибавить
несколько дыр!..»
Отползай, Проскаков,
отползай:
выстрел
пламенем тебе в глаза;
на тебя,
приникшего в траве,
валится
убитый человек.
Снова тишь,
и в салон-вагонах
снова крики,
песни
и говор:
«...Вот последняя
сводка реляций:
двое непримиримых врагов —
хорунжий с поручиком —
вышли стреляться.
Один — наповал
на двадцать шагов.
— Это уж хуже.
...Вот он — хорунжий!
— Что случилось?
...Идите сюда!
— Всё в порядке,
прошу, господа.

Ставлю
дюжину свежих бутылок.
Адъютантские шпоры
слишком звенят:
красный шпион
застрелен в затылок,
так как шел
впереди
меня! . .»
Отползай, Проскаков,
отползай!
Зыбкий сумрак
от рассвета сер.
Не успел
подсумка отвязать
стрелянный
в затылок
офицер.
Хороши
для раненой ноги
мягкого опойка
сапоги;
хорошо,
свернувшись тихо,
лечь,
на плечи напялив
плотный френч.
Лес,
гори
разливами зари,
не до дремы тут,
не до спанья:
сухари в подсумке,
сухари!
И горячий
смоляной
коньяк!

Пробившись в Кузнецкий уезд, начали со знакомыми крестьянами подпольную работу, и тут опять работать было рискованно, несмотря на карательные отряды, а работы продолжались против Колчака, но и слышав про действия карательных, как они расправлялись с товарищами, а также семьями партизан, например, каратели издевались над моей семьей, а именно, над моей женой Татьяной Ефимовной Проскаковой, испороли ее в лоскутья и выстегнув ей глаз, которая в последнее время осталась с половиной свету... И тут уж пошли такие дела, что, начиная переносить порки и разные наказания, то те люди уже, бросая все и организуясь, шли в отряд партизан. И вот эта-то основная причина партизан, как уже выше указано.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

Третье

1

Паровоз
идет по рельсам
черным
погорельцем.
Бронированы
вагоны,
шитые
погоны.
...Тяжело,
тяжело
брать на гору
эшелон.
Хорошо,
хорошо б
растереть их
в порошок.
Хорошо бы
вкривь
и вкось
кувыркаться
под откос,
да зарубки
на колесах

не пускают
с двух полосок.
Вдаль, вдаль,
вдаль, вдаль
протянули шпалы
сталь.
Три зеркальных
фонаря
не устанут
в темь нырять.
Над ползущею
совой —
с пулеметом
часовой.
Паровоз
идет по рельсам
черным
погорельцем...
А кругом
кедровая
грозная
тайга,
будто
и не трогая,
смотрит
на врага.
Если подвести
под рельсы штангу,
поезд не дотянется
к полустанку;
вагонов стручки,
перед тем
как сплющиться,
друг на дружку
вздыбятся
и взлущатся;
паровоз,
перевертываясь,
медленный
и важный,
уляжется на бок,
как скот домашний;

и паром
от взорванного котла
окутает
сосен зеленые плечи;
и будут вагоны
гореть дотла,
и будет хрипеть,
надрываясь,
диспетчер:
«...Поезд № 8...
воинский... бис,
согласно графику,
вышел из...»
И снова —
ночные
диспетчера хрипы:
«№ 8...
еще...
не прибыл».

2

Сколько
этих поездов:
двести
или сто?
Всем
дорога им узка,
все
идут в тисках.
Чуя
красную беду,
много дней
подряд
паровозы их
гудут,
буксы их
горят;
машинисты их
бледны,
скулы их
остры,

и уже
вблизи видны
партизан
костры...
Станция Зима.
Чешский комендант Воня́.
Спрыгнул военком —
принимай коня!
Прям, суров и строг:
«Выдать Колчака!»
Дымом от костров
пропитана щека.
«Нас не то что горсть —
знаете поди, —
мы на триста верст
разберем пути».
Чех прищурил глаз, —
в этом есть расчет,
в этом есть соблазн:
кровь не потечет.
Сердце к миру склонно,
хоть душа храбра,
в чешских эшелонах
мало ли добра?!
Чех задумчив шибко,
чех глядит в окно:
...швейные машинки,
сахар и сукно.
Думы коменданта
очень высоки:
...мебель и пушнина,
шелк и рысаки.
В голове у чеха
розовый туман.
Щелкнул каблуками:
«То не есть обман!
Ко́лчака не згодно
о́тдавать на плен,
но то есть согласье,
но то есть обмен!»

Военком
в небритый
усмехнулся ус,
с сердца,
камнем срытый,
отвалился груз.
Ну, а что Проскаков?
Хочешь знать о нем?
Он стоит у входа
с военкомовым конем.

8

«Шпарь, Сенюха!
Выгорело дело:
взяли в плен,
душа его из тела!
Стой сторожи,
глазу не спускай,
в рот не ложи
единого куска.
До ветру бегая,
воду кипятя,
помни вагон
на дальних путях.
Каждую минуту
держи в голове:
нас ведь —
всего-то
шестьсот человек!»
Ни ночью,
ни днем
не снимая тесак,
Проскаков
стоит и стоит
на часах.
А сотни
Проскаковых
бродят вокруг
средь белых,
последних,
разнузданных вьюг.

И бродят
и бредят
о времени том,
когда они встретят
свой брошенный дом,
когда они в эти
вернутся
дома,
не слыша
нигде
атаманьих команд,
и в землю воткнутся
тупые штыки,
и всхлынут о них
боевые стихи.
...А пока мы здесь
разговариваем,
десять лет прошло
сизым маревом.
Пронеслись
и канули,
плавя
длинный след,
эти
великановы
десять лет.
Не под тем ли
градом,
с тех ли
злых дождей
виться
белым прядям
в головах
вождей?
Знаю:
встанут новые
в новый путь,
только те —
суровые —
не вернуть!
Свежая,
сырая,

злая моя жизнь,
ветром раздираемая,
вейся
и кружись!
Что в нее
заманивает,
что влечет?
Только бы
сама она
коснулась
о плечо.
Ходишь
проверяешь:
сердце
не старо ль?
Молодости свищешь
лозунг
и пароль.
Ты ведь
уже тоже
не очень
молода,
если подытожить
тяжелые года.
Как ни подытоживай
и как ни считай,
все-таки
выходит:
другим —
не чета.
Что же ты
не веришь,
сердце бережешь?!
Раз поцелуешь,
губы пережжешь?!
Свежая,
сырая,
неузнанная жизнь,
годы простирая,
взвивайся
и кружись!

«ВСТРЕТИТЬСЯ НА СВЕТЕ СУЖДЕНО НАМ ВПЕРЕДИ!»

Вот я, Проскаков Семен Ильич, и должен был описать как пережитое при Колчаке в 1919 году дня 8 марта за мартовское восстание; мне пришлось бежать, я скрывался, и в одно время я был предан двумя в дер. Моховой — сельским секретарем и старостой, которые получили за свое предательство меня белым. Ехав по станционной дороге, дали мне приказ слезть и сказав мне, что я тебя буду расстреливать, я, несмотря на свое бессилие, взял в свои изломанные руки кайлу и ударил гада кайлой, которого вышибло из памяти, и он забыл, что у него наган, отскочив от меня, и он начал в меня стрелять, стрелив семь раз, не попал, я избит был, унес половину смерти... Я почувствовал, что он, гад, меня легко ранил, я притаился, он, гад, прошел, бросив меня, понаблюдав, опять идет ко мне, наган в голову и дал три обсечки, в четвертый раз выстрелил наган в мою голову, не попал, а мою голову заменила сырая земля и приняла в себя кровожадную пулю и спасла меня. После отъезда гада я бежал, и после расстрела я попал в отряд тов. Роликова и действовал со своими ранами в отряде, после чего изгнали чехов, я попал в Кольчугино.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

Четвертое

1

Так не зовут
простого врага:
«гад».
Тот,
кто пóтом чужим
богат, —
гад,
тот,
кто мученью
чужому рад, —
гад,
тот,
чье веселье —
зарево хат, —
гад!..

Под шумы
речек,
под цокот
белок,
страшные речи
идут у белых:
«...Помните —
садик,
балкон,
река...
Щадить краснозадых
нам не рука!
Те,
кто прервал
эту ровную жизнь,
на интервал
от меня держись!
Я,
моему государю
хорунжий,
нервов
и слабости
не обнаружу.
Я их,
как зайцев,
буду травить
плетью казацкой
из-под травы!..»
Беги,
Проскаков,
кройся в кусты;
гонят,
наскакивают
кони
в хлысты!
Слева
в плети
взят аргамак,
прямо
в плечи
шашки замах.

Беги,
Проскаков,
зверем травимый,
кровью горячей
следы свои вымой.
Жив ли ты,
нет ли,
друг мой
безвестный, —
свинцу
и петле
не стиснуть песни.
Пускай
убит ты,
немой
и строгий, —
тобою взвиты
эти строки!

2

Висков серебря
внезапную проседь,
стоял и стыл
Колчак на допросе.
Он никогда
не знал и не ведал
и не встречался
лицом к лицу
с тем,
кто вырвал
над ним победу
из рук холеных
в таежном лесу.
Он никогда
не знал и не понял,
вежливо сдержан,
изящно лукав,
что
не Англия
и не Япония —

Проскаков
держал его жизнь
в руках.
И, лишь выслушав
приговор смертный,
жизнь
перебравши
в последний раз,
вспомнил и он
о силе несметной,
тяжкой силе
восставших масс.
Вспомнил,
увидев
дымок на костре,
мирно курившемся
утром пастушьим...
И разорвал
тишину расстрел
эхом распарывающим
и растущим!..
«...Как иркутская
Чека
разменяла
Колчака,
так и прочих
выловим
свидеться
с Корниловым...»
Может,
эта песня
груба,
но больше
нет у меня
притязаний,
чтоб и моей
гореть на губах
вроде
этакой,
партизаньей!

...Всё пережив
и всё победив,
с прошлым
будущее сличая,
встань,
Проскаков,
и обведи
землю
выцветшими очами.
Как не узнать ее,
как не понять?!
Разве тебе
эта даль незнакома?
Разве не ты
вскочил на коня,
на боевого коня
военкома?
Разве не ты
в боевых рядах
поднимаешь
лицо свое,
и под марш мой
идешь сюда,
и на строчках моих
поешь:
«...Сыты наши кони,
и крепок дом.
Нас никто не гонит —
мы сами идем.
Твердым, ровным шагом,
с веселым лицом.
Красную присягу
на сердце несем!»
Это тебе
петь и плясать,
радоваться
и веселиться.
Это твои
звонки голоса,
явственны взоры
и лица.

Это тебе
жить и дышать,
скинув
со счету всякого,
кто осмелится
помешать —
песне и жизни
Проскакова.

1927—1928

297. НЕОБЫЧАЙНОЕ

Чего я хочу? Необычайного.
Того же, что Гоголь и Шамиссо.
Чтоб нос путешествовал по проспекту,
а тень отделялась от каблуков,
свертывалась, как пергамент, в ролик
и исчезала в широких карманах
похитителя серых теней.

Необычайное — не только в этом,
не только в выдумке и балагурье,
но и в том, чтобы смотреть
преувеличенными глазами,
но и в том, чтобы дышать
преувеличенными глотками,
преувеличенными шагами
жизнь настигать и перегонять;
оно в нарушении хода событий,
в переиначенной жизни героя,
в том, чтобы выдать одно за другое,
в меткости слов и в яркости чувств.

Необычайное — всюду, всюду,
ходит, толкается по базару,
лезет в соседний карман за сдачей,
ржет тебе в уши меж двух трамваев,
каплею плющится в лоб с карниза,

лепит в профиль углы подушки,
неповторимостью цепенит.
Видели ль вы, чтобы шла купаться
торгово-промышленная газета?
Шла солидно и неохотно,
переваливаясь по пляжу,
в зад подталкиваемая дуновеньем,
подгоняемая ветерком?
Вначале она вздувалась, как парус,
и плыла, белея, как барка,
потом, распластанная волною,
колыхалась блаженно-глупо,
в соль пропитанная насквозь.

Видели ль вы, чтоб зеленые урны
для плеванья и для окурков,
встав в кружок, на заре под утро,
длили свой молчаливый митинг
в небеса вопиющими ртами —
о предстоящей тяжелой работе
и о том, сколько грязи и сору
за день приходится проглотить?!

Видели ль вы, наконец, собаку,
взятую гицелем на обрывок,
дворником вынутую из петли,
освобожденную от позора,
под мастерскую ругань и крик?
Как она жаловалась и визжала!
Как она бегала за оградой!
Как она лаяла на фургоны,
подозревая всюду измену,
гибель, предательство, петлю и плен!

Видели ль вы дитя в рубашонке,
вставшего раньше восхода солнца,
над цветниками застывшего с сеткой,
ждущего сосредоточенно, молча
бабочки близкое трепыханье?
Если его окликнете: «Толя!» —
он не ответит, не шелохнется,

он — как застывшее изваянье,
сгусток охотничьего терпенья,
сжатой в комок неразгаданной силы,
имя которой — упрямая страсть.
Вот я окликнул его — он не слышит,
вот я затронул его — он недвижим;
только досадливо шевельнулась
тоненькая золотая бровинка
на нарушителя тишины.

И тогда начало мне казаться,
что не бабочки пестроцветье
завладело его вниманьем,
что следит он, и ловит, и видит
то, что видеть мне не дано.
И, присев на корточки рядом,
стал следить я за направленьем
сосредоточенных детских глаз.
И, отодрав пелену слепую,
словно окалина мглящую взгляды,
я увидал внезапно и близко
всё, на что он глядел напряженно,
что разбирал он в цветенье формул —
листьев, тени, песка и росы.

Раз! И слетела завеса с сердца,
раз — это было широким утром —
что-то случилось с землей седою,
мир повернулся на синих призмах,
стал на зарубку больших времен;
что-то сменилось в земле и в небе:
тень пробежала, что ли, косая
и охватила игрою света
всё, чем я раньше жил и дышал.

Разом взлетели цветы на стеблях,
переменились песка оттенки,
в море стеклянные встали сваи,
песни людей зазвенели с неба.
Лица друзей просквозили ветром,
с губ послетели забот морщины,

страх и унынье упали в воду,
горечь и злоба распались в дым.
Мчалось по почте тепло на север,
по телеграфу неслась прохлада,
юность дарилась на именины,
сила стояла на перекрестках
и отпускалась слабым рукам.
Плечи работали, не потея,
в каждом движенье цвела удача,
каждое сердце кипело страстью
и не старело, не выгорало,
а — раскаленное до отказа —
переплавлялось в иной размер.
Тени машин колыхались мерно,
ритм нагнетая в людскую волю,
свет разливая везде и скорость,
шумом своим распрямляя жизнь.

Стала земля без щелей и рытвин,
дочиста вымыта и обрыта
сетью дорог, каналов и шлюзов,
ферм и мостов служа украшеньем;
свежесть и дичь ее не пропала,
не захирела лесов щетина,
но — выгонялись они фабрично,
как озонаторы-резервуары.
Там, где лысело пустынь пятно,
папоротник севера взвился пальмой,
мох распушился в густые степи,
вместе с прохладным морским теченьем
в Черное море плыли тюлени.
Стала земля без трясин и тины,
без грохотанья лавин и обвалов,
дочиста вымыта и одета
в платье искусственных удобрений,
в острые струи зеленых каналов,
в синие ленты воздушных линий.

Омоложенная влагой и светом,
мильонолетняя эта старуха
стала веселым и чистым котенком,
стала одним огромным хозяйством,

где никому не темно, не больно,
не одиноко, не сиротливо,
где тебе каждый дорогу укажет,
лаской обвеет и песню споет.

Что же такое случилось с землею,
что пронизало людские поступки? —
Необычайное вышло наружу,
необычайное стало законом.
То, что, смеясь, отвергали люди,
точно бессвязную небылицу, —
стало историей и дневником.

Только подумать, что это будет!
Это случится на том же месте,
где мы живем, ненавидим, любим,
где мы идем, как по дну водолазы,
двигая медленно и неохотно
будней свинцом налитые ноги.

Только подумать, что это станет!
Станет сверкать на столбах придорожных,
станет густеть в долголетье хроник,
в неописуемый влившись шрифт.
Пишущие машинки без стука
станут записывать сами мысли,
будут жилища перемещаться
вкось по воздуху в дальние страны,
будет — не только когда чихают —
каждое выполняться желанье,
будет веселье — как соль к обеду,
в каждом жилье заблестит термометр,
измеряющий счастье живущих,
ниже четырнадцати делений
не допускающий сил упадка.

Люди иной, хрустальной эпохи
станут внимательней и точнее,
станут видеть, что нам непонятно,
и о нас вспоминать, как о старых
консерваторах и неряхах,
головой с сожаленьем качая,

говоря, что это случилось
(точно мы о царе Горохе)
до распаденья атомных ядер,
до коммунизма на всей земле!

Может, другое названье будет,
лучше, звончее, понятней, ярче,
но назовем его коммунизмом,
так как, его ощущая сердцем,
кожей, ноздрями, весной, дыханьем,
так мы его пока понимаем.

И о таком непривычном веке,
и о таком невозможном свете
весть синеватую и сырую
я подсмотрел, подглядел, подслушал,
тихо нацелившись и наблюдая
в щелочки детских пытливых глаз.

Необычайными стали тени,
необычайными стали мысли,
необычайностью стало время,
мне отпущенное на жизнь.
Так как — бабочкою кружася,
пестрой выдумкою сверкая,
село будущее перед нами
на росой покрытый цветок.
Так как дитя со мной было рядом,
так как дитя его ждало жадно,
так как пред детским горячим взглядом
будущее не умеет лгать.

Необычайное ж — всюду, всюду,
только вглядись в него вровень с морем,
только лови его на обрывок,
только застынь над ним с плотной сеткой.
И не морской благодатный отдых,
а закипит дорогая тревога —
пестрым блеском, осколком сини,
тысячью непережитых мгновений
враз опрокинувшись на тебя.

1930

298. МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ

МАЯКОВСКИЙ ИЗДАЛИ

Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.

Маяковский,
«Владимир Маяковский»
(трагедия)

К чему начинать
историю снова?
Не пачкай бумаги
и время не трать!
Но где же оно —
первородное слово,
которое сладко
сто раз повторять?
Теперь —
эти всеми забытые встречи,
рассвет наших взглядов
и рань голосов,
едва повернувшись,

далеко-далече
откинуло времени колесо.
Тогда еще
чудо слыло монопланом,
бульварами
конка тащилась, звеня,
и головы,
масленные конопляным,
в кружок —
окружали
повсюду меня.

Москва грохотала
тоскою булыжной,
на дутых
катили тузы по Тверской —
торговой смекалкой,
да прищурью книжной,
да рыжей премудростью
шулерской.
Зеркальными гранями
вывеска к вывеске,
подъезды,
засунутые на засов,
и нищих,
роящихся раной у Иверской, —
обрубки, и струпья,
и дыры носов.
А там,
где снега от заката зардели,
где цепью гремели
мордастые псы, —
в лоскутное небо
вперяли бордели
закрытые ставни —
как бельма слепцы.

Солидные плеши,
тугие утробы,
алмазные цепи,
блистанье крестов;

в сиянии люстры,
в мерцанье сугробы:
земной и небесный
сверкает престол.
Империя!
Ты отдавила нам плечи.
Мы скинули тяжесть
тупого ребра:
свинцовые склепы,
пудовые свечи,
лабазы
и склады
лихого добра.

Таков был пейзаж,
что совался
постыло
повсюду нам в уши,
в глаза
и в сердца.
Казалось,
что семя
ничто не растило,
что время
застыло в сугробах мерцать.

В ряды их калашные
к рылам суко́нным
не лез я;
к их истинам прописным
не жался;
их толстым слежалым законам
не верил...
Тогда-то
я встретился с ним.

Он шел по бульвару,
худой
и плечистый,
возникший откуда-то сразу,
извне,

высокий, как знамя,
взметенное
в чистой
июньской
несношенной голубизне.
Похожий на рослого
мастерового,
зашедшего в праздник
в богатый квартал,
едва захмелевшего,
чуть озорного,
которому мир
до плеча не хватал.
Черты были крупны,
глаза были ярки,
и темень волос
припадала к лицу,
а руки —
тяжелые —
будто подарки
ладонями кверху
несли на весу.
Какой-то
гордящийся новой породой,
отмеченный
раньше не бывшей красой,
весь широкоглазый
и широкоротый,
как горы,
умытые на́свеж росой...

Я глянул:
откуда такие берутся?
Крутой и упругий
с затылка до пят!..
Быть может,
с Казбека
или с Эльбруса —
так
тело распластывает водопад?
Тревожный,
насмешливый

и любопытный,
весь нерастворимый
на глаз и на слух,
он враз отличался —
какой-то обидной
чертой превосходства
над всем,
что вокруг.

Казалось,
что каждая шутка
и шалость
всерьез задевала
по сердцу —
одним;
другие —
с ним спорили
и не соглашались
и все-таки
вслед семенили за ним.
Он взвил позвоночником
флейту на споры,
он полон был
самых нежданных затей,
он явно из сказки
из той был,
что в горы
уводит —
несчастных сограждан —
детей.
Сограждане ж
были на совесть добротны;
закат был —
что иконостас —
золотист.
И как им понять было,
что в оборотней
детей превращать
начинает флейтист?!

Был девятьсот пятый —
засвистан,

затоптан,
затерт
и засален по лавкам менял;
и в розницу предан,
и продан был оптом,
и заслан —
куда и Макар не гонял.

То пастырь Кронштадтский,
то Саровский инок
взмывали
в лученье крестов
и вериг...
Индусских учений
обложки — в витринах,
и тусклые блестки
огарочьих лиг.
Глаза были
плотно залеплены клейстером
наследственных прав
и жандармских облав.
Картины
елеем
выписывал Нестеров
из мироточивых
сочившихся глав.
Вы помните это:
«Медведь и отшельник»,
пчелиных роев
примиренческий гул...
И было неясно:
медведь ли мошенник,
мохнатого ль старец
на меде надул?

А рядом —
менады, наяды, дриады!
«Царь Федор Иваныч»,
шаляпинский туш,
концерты, концерны,
поставки, подряды...
Взъярилась

российская дикая глушь!
Их мануфактурных
да бакалейных
торговых домов
поднимались ряды.
И тщетно,
казалось,
прошли в поколеньях
«Былое и думы» —
следы и труды...
Теперь
Остроумовых
да Востряковых
английским проборам
открылась тропа.
А те,
что Владимирским трактом
в оковах
пылили, —
в потемки ушли,
запропав.
Бороться
с торгашьей лощеною шайкой?
Сражаться
с их Китайгородской стеной?!
И красное знамя
белесою чайкой
на сереньком занавесе
заменено.

Тогда —
вперерез,
ни минуты не мешкав,
в ответ их блудливым
пожатиям плеч,
в ответ ликвидаторским
кислым усмешкам
рванулась
сухая,
горячая речь.
Но речь эта —
в пальцах подпольных,

как порох,
чернела
на тонких рабочих листках,
взрываясь
в партийных
разросшихся спорах,
не всем
и доступна была
и близка.

Всей будничной
обыденщиной быта
от праздных,
пустых,
наблюдающих глаз
подполье партийное
было укрыто,
как шубой,
широким сочувствием масс.
И если в тиши,
опасаясь провала,
синеющие
по-весеннему дни
машинка гектографа
копировала,
не всякому
в руки давались они.

Угрюмый зрачок
чрезвычайной охраны,
морозящий оползень
шарящих рук...
И Блок
Незнакомку уводит во храмы
Нечаянной Радости
вызвенеть звук.
И вровень
душеспасительным догмам,
гастролям Кубелика,
дыму кадил
скулил в Камергерском
расстроенный Штокман,

и Сольнес-строитель
на башню всходил.

Да что там Кубелик
и что там их Ибсен?
Широкой натуре
войти только в раж:
Гогена с Матиссом —
Морозовым выписан
вагон! —
чтоб москвич
открывал вернисаж.
Пусть краски их пышут,
не глядя на зиму,
пусть всюду звенит
наш малиновый звон,
сюда,
к семихолмому
Третьему Риму,
приидут языци —
мошне на поклон!

Символики приторной
липкая патока,
о небе в алмазах
бессильная грусть.
А рядом —
озимых
заплатка к заплатке —
двужильная
да двухпольная Русь.
А рядом —
огромен,
угрюм,
неуютен
край гиблых снегов
да подсошных земель.
И вот он —
оттуда
приходит Распутин
и валит империю
на постель!

ЗНАКОМСТВО С МОСКВОЙ

В детстве, может,
на самом дне,
десять найду
сносных дней.

Маяковский, «Про это»

Но это —
не думай —
еще не паденье;
силен еще
взмет усмирительных грив;
московских окраин
глухое гуденье,
но это —
еще накипанье, —
не взрыв.
Парами наполненная
наполовину,
чуть приподымавшая
крышку котла,
кипела
московская котловина,
Россию прожегшая
в Пятом
дотла.
Начальство
не гладило по головке,
но небо синело,
и солнце пекло;
весной
по лесам
зацветали маевки,
гармонь голосила,
звенело стекло.

Тогда-то
сюда перебралось семейство
из-под Кутаиса —
брат, сестры и мать.
Конечно, побольше достаток
имейся —

не стали б
на Пресне
подвал нанимать.
Там —
в Грузии светлой, —
как барсова шкура,
пятнистые горы
желтеют вдали;
здесь —
только Трехгорная мануфактура
с трудом
поднимается от земли.
Здесь
всё по-иному —
слова и объемы
разверстанных чувств,
привилегий,
постов;
здесь горы —
названием Воробьевы —
топорщат горбы
невысоких пластов.

Народ сохраняет
оценки и клички
в названиях,
данных хотя б не всерьез;
народа приметы,
народа привычки —
как оспины
низко пронесшихся гроз.
Так —
всё здесь из сердца
высокое
выкинь,
здесь плоскости
и низкопоклонству
почет;
Ханжонков здесь властвует
и Неуссихин;
Неглинка-речонка
под почвой течет.

Здесь —
низкое солнце
из хмари рассветной
тускнеет в волокнах
седых паутин;
здесь —
не указует
перстом своим Тéтнульд
бездонную глубь
человечьих путин.
Здесь —
звезды
отсчитаны на копейки,
и за воду
платит по ведрам район;
а там
если волны —
без всякой опеки,
а звезды —
так падают прямо в Рион!
И голову здесь
задерет ли затея,
такие унылые видя места, —
как к Хвамли
прикованному Прометею,
до самого солнца
рукою достать?

Впервой
над Ламаншем
взвивается Блерио...
Мы — пялимся,
хмуро скрививши губу,
и сукна и мысли
аршинами меряя, —
в полет вылетать? —
не желаем — в трубу.
Напрасно
подняться старается Уточкин...
«Пущай отличается в этом Париж!»
«Купец не пойдет
на подобные шуточки:

пускать капиталы на воздух...»
«Шалишь!»

А впрочем —
что толку в летательном зуде?
Так век просидишь
в затрапезном углу.
Отец схоронен.
Выходить надо в люди.
Заплатами
мать начищает иглу.
На сердце —
копытом ступает забота.
Померкни!
И плечи ссутуль и согни...
Но он вспоминает
забытое что-то,
какие-то выстрелы,
крики, огни...
Миндаль в Кутаисе
торжественно розов...
Едва наступает
цветенья число —
дуреют с восторга
гудки паровозов,
и кажется —
небо на землю сошло.
Под небом таким
не согнешься дугою;
здесь —
грудь разверни
и до донца дыши.
В такое —
растешь
и повадкой тугою,
и взором,
и каждым движеньем души.

Так рос он,
задира и затевала,
с башкою — на звезды,
с грозой — на дому,

и первые знанья
преподавала
сестра Джапаридзе Алеши —
ему.

Так славься ж,
глухое селенье Багдади!
Тяжелые грозди,
орешник и граб,
принесшие горсти
такой благодати,
такой открывавшие
глазу масштаб.
Так славьтесь же,
люди веселой долины,
дышавшие
мужеством и прямотой!
И вы,
неподкупные гор исполины,
лицо обдававшие
свежей водой.

Но слава еще далека...
И, сощуря
глазенки,
он солнце вбирает за нас.
Он влазит
в огромные жерла чуури
опробовать
голоса резонанс.
И гулко трубят
глинобитные недра,
и слушают уши
предгорных пород
о том,
как «...суров был король дон Педро!»
и как «...трепетал его народ!»

Ответрилось детство
в садах Имеретии...
Под сердцем
навеки, гроза, затаись!

И девятьсот пятого залпами
встретили
подростка —
гимназия
и Кутаис.
Он дружбу ведет
с громовыми ударами.
Он чем-то заполнен
и затаен.
Он помнит,
как Гурия
билась с жандармами,
как против царя
бунтовал батальон.
Он ветром восстаний
спеленат и выпоен.
Он слышал
свободы
горячую речь.
Он ищет
на Пресне
отметин и выбоин,
какие
в горах
просверлила картечь.

ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.

Маяковский, «Люблю»

Не мед с молоком —
положение вдовье.
Поймешь и научишься,
что и к чему.
«Отец нам в наследство
оставил здоровье
и образованье», —
решили в дому.

Но образованье
тоже хромало:
был вышиблен
из гимназии сын,
когда громоглавье
девятого вала
отгрянуло
в эхе кавказских вершин.

В обед не останется
лишняя корка...
Росли без особых надзоров
и нянь.
Сестру приняла на работу
Трехгорка —
узор рисовать
на дешевую ткань.
Недаром
на Пресне
искали квартирку —
здесь день
начинался не позже семи;
направо — Трехгорка,
налево — Бутырки:
удобно
для небогатой семьи!
Вторая сестра
принята на почтамте...
Он рос,
от труда
и нужды
недалек.
О горах мечтал он,
но горным мечтам тем
пределом
был низенький потолок.

В семействе,
чтоб сахар
на лишнюю кружку
хватал
да не пялилось дно у корзин,

сдавали задешево
комнатушку
шумливым кочевьям
студентов-грузин.
То были
упрямые революционеры,
едва ль
теоретики
и вожаки:
враспашку рубашки,
вразмашку манеры,
небритые скулы
запавшей щеки.
Они были раньше
по семьям знакомы
и близки
по блеску сияющих глаз,
и с ними
вплотную водился —
о ком мы
ведем
свой невыдуманный рассказ.

Он строки запомнил:
что — *«годы и годы*
нужны, чтобы снова
страну раскачать».
Что ж делать?
Семье ли умножить доходы?
В партийную ль
закопаться печать?
Он чувствовал
нетерпеливую силу,
которая надвое
душу рвала,
которая тайной
остаться просила
и нá люди
выброситься звала.
Он начал стихами:
«Закат над заводом
пылает!»

Но обыск семейство постиг,
и пристав блистательный
был этим одам
редактором первым
в Сущевской части.

Как бусы —
один к одному денечки
земной
ожерельем увешали
шар,
а ты — посиди,
охладись в одиночке,
смири свою молодость,
радостность, жар.
Тюремная музыка
ржавого лязга,
карболовый запах
запятнанных стен, —
такой была
первая робкая ласка,
идиллия юных
лирических сцен.
Он много там думал.
И мир раскрывался
ему —
не жемчужною шуткой Ватто,
не музыкой штраусовского вальса,
а тенью решетки перевитой.
Он много читал там.
И старые басни
не шли
к его наново взятой
судьбе,
и жизнь толковалась
сложней и опасней,
и дни надвигались
тесней и грубей.

Стихи и брошюры,
Некрасов и Бебель,

тюремных проверок
вседневная явь;
не хочешь попасть
в эту нежить
и небыль —
возьми себя в руки,
мозги себе вправь.
Ему присылали открытки:
Билибин —
узорные блюда,
каличий костыль;
он их перечитывал,
безулыбен,
вдвойне ненавидя
их паточный стиль;
они
здесь
вдвойне ему были похабны, —
искусства,
допущенного в тюрьме,
собольи опушки,
секиры,
охабни:
весь ложноклассический ассортимент.

А люди вокруг
торговали, служили,
и каждый из них
что-то смел и умел;
им бабушки знатные
ворожили,
им слава сияла
и город шумел.
И вот он выходит.
Но что это за́ люди?
Хоть глуп, да богат,
хоть подлец, да делец.
С такими
скорее, чем брюки, засалите
всю юность
об жир их обвисших телес.

Такие —
с пеленок,
от самой купели
и вплоть до отхода
в последний ко сну —
считали, тупели,
копили, скупели,
превыше всего
почитая казну.
С такими
молчать,
обвыкать,
хороводиться?
Сносить их полтинничный
град оплеух?
Так пусть уж живот
подведет безработица,
чем блеск их зубов,
их искусств,
их наук!

Москва колотила
в булыжник копытами,
клубилась в дымках
подгородних равнин,
шумела,
гремела грошами добытыми,
поты выжимая
из мастеровни.
И вот он выходит:
большой,
длиннолапый,
обрызганный
ледниковым дождем,
под широкополой
обвиснувшей шляпой,
под вылощенным нищетою
плащом.
Вокруг никого.
Лишь тюрьма за плечами.
Фонарь к фонарю.
За душой — ни гроша...

Лишь пахнет Москва
горячо калачами,
да падает лошадь,
боками дыша.

ПРОБА ГОЛОСА

> Окном слуховым внимательно слушая,
> ловили крыши — что брошу в уши я.
> А после
> о ночи
> и друг о друге
> трещали,
> язык ворочая — флюгер.
>
> *Маяковский, «Люблю»*

Едва углядев
это юное пугало,
учуяв, как свеж он
и как моложав,
Москва
зашипела, завыла, заухала,
листовым железом
тревогу заржав.
Она поняла —
с орлами на вышках, —
что этот
не из ее удальцов;
что дай ему только
бульварами вышагать,
и — жаром займется
Садовых кольцо.
Она разглядела,
какие химеры
роятся
в рискованном этом мозгу...
И ну принимать
чрезвычайные меры:
круженье и грохот,
азарт и разгул.
Она угадала,
что блеском вожацким
лишь дай замахнуться

перу-топору —
поедут по площади
Минин с Пожарским
и вкось закачается
Спас на Бору.
Лишь дай
его громкосердечной замашке
дойти
до лампадного быта — жирка,
все Швивые горки
и Сивцевы вражки
пойдут вверх тормашки
в века кувыркать!

Тут —
первогильдейский
в ореховой раме
мильон подбирает
не дурой губой,
а этот —
сговаривается с флюгерами
и дружбу ведет
с водосточной трубой.
Тут —
чуйки подрезывать
фрачным фасоном,
к Европе равняться
на сотни ладов,
а этот —
прислушивается к перезвонам
идущих до сердца страны
проводов.

Она поняла,
что такого не вымести,
не вжать, не утиснуть
в обычный объем;
что этакой ярости
и непримиримости
не взять, не купить
ни дубьем, ни рублем;

что, как ни стругай его, —
гладок и вылощен,
не сядет он с краю
за жирный пирог...
И вот его
в Строгановское училище
засунула:
в сумрак,
в холсты,
за порог.

Авось! —
полагала премудрая старица, —
как там ни задирист он,
как ни высок, —
в художествах наших
он сам переварится
и красками выпустит
выдумок сок.
Бросай под шаги ему
камни и бревна,
глуши его
в звон сорока сороков,
чтоб елось несытно,
чтоб шлялось неровно,
чтоб спалось несладко и неглубоко.

Но нет,
не согнуть его
выдумке немощной
и будущностью
не сманить на заказ,
и если наряд
выполашивать не на что,
он рвет на рубаху
московский закат.
И желтая кофта
пылает над ночью,
топочущей тупо
толпы сюртуков;
и всюду мелькают

веселые клочья,
и голос глушит
перезвон пятаков.

(Но стоп!
Вы вперед забежали в азарте;
перо обсушите
и спрячьте в ножны;
вы повесть
на мелочь не разбазарьте,
хотя и детали
здесь — кровно важны.)

Светлее,
чем профессора
и начальники,
плетущие
серенькой выучки сеть,
ему
улыбаются маки
на чайнике
и свежестью светится
с вывески сельдь...
Он всё это яркое
взвихрил бы разом;
он уличной жизнью
и гулом влеком...
И тут он знакомится
с одноглазым,
квадратным
и яростным Бурлюком.

То смесь была
странного вкуса и сорта
из магмы
еще не остывших светил;
рожденный по виду
для бокса,
для спорта,
он
тонким искусствам
себя посвятил.

Искусственный глаз
прикрывался лорнеткой;
в сарказме изогнутый рот
напевал,
казалось, учтивое что-то;
но едкой
насмешкой
умел убивать наповал.

Они повстречались в училище...
Сказку
об них бы писать,
а не повесть плести...
И младший
заметил,
что чрез одноглазку
тот многое мог
примечать на пути...
Пошли разговоры,
иллюзии, планы,
в чем крепость искусства,
порыв и успех...
Годов забродивших кипением пьяны,
они походить не желали
на всех.

Тогда
новолуньем всходил Северянин,
опаловой дымкой
болото прикрыв...
Нет!
Не мастахином
в зубах ковырянье —
искусство, —
они порешили, —
а — взрыв!
И въявь убедившись,
что их не пригнуло,
что ими украшен
не будет мильон,
училище
их из себя изрыгнуло:

Кит Китыч
не вынес двух сразу Ион.

Однажды, —
из памяти выпала дата,
немало ночами
бродилось двоим, —
они направлялись
к знакомым куда-то,
к сочувственникам
и прозелитам своим.
«...А знаете, Додя!
Припомнилось кстати...
Один мой,
не любящий книг и чернил, —
во время отсидок в Бутырках, —
приятель
неглупый,
послушайте, как сочинил:
...*Багровый и белый*...
(Как голос раскатист!)
...*Отброшен и скомкан*...
(Как тепел и чист!)
...*А черным*...
(Скорее к нему приласкайтесь!)
...*Ладоням*...
(Скорей это время случись!)»
Какою огромною мощью
наполненный,
волна его
рябь переулков дробит!..
В нем —
горечь
недавних разгромов Японией
и грохот
гражданских неконченных битв.
Какой-то прохожий
на повороте
шарахнулся в сумрак,
подумавши: бред!
Бурлюк обернулся:

«Во-первых, вы врете!
Вы автор!
И вы — гениальный поэт!»

При входе —
к знакомым,
прямея в надменности,
взревел,
словно бронзу
впечатавши в воск:
«Мой друг,
величайший поэт современности,
Владимир Владимирович
Маяковский».
Себя на века
утвердив в эрудитах,
лорнетку, как вызов,
вкруг пальца завил.
«Теперь вы, Володичка,
не подведите —
старайтесь!
Ведь я вас уже объявил!»

С того началось...
Политехникум,
диспут,
подвески вспотевшие
люстровых призм...
Москва не смогла
залежать их и выспать —
везде на афишах в сажень:
ФУТУРИЗМ.
И вот обнаженные,
как на отрогах
осыпавшихся, —
на картинах без рам —
бегущие сгустки
людей многоногих,
открытая внутренность
будущих драм,
смещенные плоскости,

взрытые чувства,
домов покачнувшихся
свежий излом,
вся яростность спектра,
вся яркость искусства,
которому
в жизни не повезло.
Газеты орали:
«Их кисти — стамески!»
У критиков спазмы:
«Табун без удил!»
К ним вскоре
присоединился Каменский,
Крученых
в истерику зал приводил.

Что объединяло их?
Ненависть к сытым,
к напыщенной позе
душонок пустых,
к устою,
к укладу,
к отсеянным ситом
привычкам,
приличиям,
правилам их.
Он был среди них,
очумелых от молний,
шарахнувших в Пятом
с потемкинских рей;
он чем-то серьезным
их споры наполнил,
укрывшись
под желтою кофтой своей.
В них всё —
и неслыханность пестрой одежи,
несдержанность жестов,
несогнутость плеч, —
за ними —
толпою поток молодежи,
а против них —

„Ну, молодой!" –

Как этот | голос рассыпает

„Держи меня!".. Как он | и плакал и шаг

„Шаги повешенных" – Сказал и нашу прошлогоднюю!

Во весь железный фронт.. Слышишь это тебе лучше!

звенящих
Как и наизусть ~~незабвенным~~ ~~несказанный~~

„Кривые вилы" где его дробит

И как удары бьют обиженных ямок

И гром раздавался неудобных слов

Каким-то ударом мы на повадке

сущих оторвавшись
Ненавистным в ~~молодому~~, ~~будущему~~ – Лея!

Бурлит, победился во первых вы вдруг –

Вы автор! И вы – гениальный поэт

~~Не рада скорой, как будто на весне~~

любезной
И шуз же с народа в ~~свадебной~~ подписанной

Удивлен, молчно рукой негодный в доске

„Мой друг – великий поэт современности

Владимир Владимирович Маяковский!

Себя на веки увековечив в книге

~~И много~~
Подчеркну, как вызов невозможно давний;

~~Уж вы~~
Теперь вы, Наталочка, не подведите

Свидетелем, узнав я вас меньше обвинил!

«Русское слово»
и «Речь».

Но всё ж
футуризм
не пристал к нему плотно;
ему предстояла
дорога — не та;
их пестрые выкрики, песни, полотна
кружила истерика
и пустота;
искусство,
разобранное на пружинки;
железо империи
евшая ржа;
в вольерах искусства
прыжки и ужимки
«взбешенного мелкого буржуа».

Но всё это
сделалось ясно-понятно
гораздо поздней
и гораздо грозней.
Тогда же
мелькали неясные пятна
во всей
этой пестрой,
веселой возне.
Москва разгадала,
Москва понимала,
что нет на таких
ни кольца,
ни гвоздя,
но люди
не чувствовали нимало,
какая меж них
замелькала звезда.
И вот,
пошушукавшись по моленным,
пошире открывши
ворота застав, —

она его вышвырнула
коленом,
афишами
по стране распластав.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Теперь
начать о Крученых главу бы,
да страшно:
завоет журнальная знать...
Глядишь —
и читатель пойдет на убыль,
а жаль:
о Крученых надо бы знать!
Кто помнит теперь
о царевой России?
О сером уезде,
о хамстве господ?
А эти —
по ней
вчетвером колесили
и видели
самый горелый испод.
И въелось в Крученыха
злобное лихо
не помнящих роду
пьянчуг,
замарах...
Прочтите
лубочную «Дуньку Рубиху»
и «Случай с контра́гентом
в номерах».
Вы скажете —
это не литература!
Без суперобложек
и суперидей.
Вглядитесь —
там прошлая века натура
ползучих,
приплюснутых,
плоских людей.

Там страшная
простонародная сказка
в угарном удушье
бревенчатых стен;
полынная жалоба
ветра-подпаска
с кудрями,
зажатыми промеж колен.
Там всё:
и острожная сентиментальность,
и едкая,
серая соль языка,
который привешен,
не праздно болтаясь,
а время свидетельствовать
на века.

Наклеят:
«Он мелкобуржуазной стихии
лазейку тайком
прорывает в марксизм...»
Плохие чтецы вы,
и люди плохие,
как стиль ваш ни пышен
и вид — ни форсист!
Вы тайно
под спудом
смакуете Джойса:
и гнил, дескать, в меру,
и остр ананас...
А то,
что в Крученых
жар-птицею жжется,
совсем не про это,
совсем не про нас.

Нет, врете!
Рубиха вас разоблачает,
со всем вашим скарбом
прогорклым в душе.
Трактир ваш дешевый
с подачею чая,

с приросшею к скважине
мочкой ушей.
Ловчите,
примеривайте,
считайте!
Ничем вас не сделать
смелей и новей —
весь круг мирозданья
сводящих к цитате —
подросших
лабазниковых сыновей.
Вы, впившиеся
в наши годы клещами,
бессмысленно вызубрившие азы,
защитного цвета
литые мещане,
сидевшие в норах
во время грозы.
Я твердо уверен:
триумф ваш недолог;
закончился круг
ваших тусклых затей;
вы — бредом припомнитесь,
точно педолог,
расти не пускавший
советских детей.

К примеру:
скажите, любезный Немилов,
вы — прочно привержены
к классике форм
и, стоя
у «Красной нови» у кормила,
решили,
что корень кормила — от «корм»?
Вы бодро тянули
к чернилам ручонку,
когда,
Либединского
выся до гор,
ворча,
Маяковскому ели печенку;

ваш пафос —
не уменьшился с тех пор?
А впрочем,
что толку —
спросить его прямо?!
Он примется
с шумом цитаты листать.
Его наделила с рождения мама
румянцем таким,
что краснее не стать!

Так вот,
у таких и отцы были слизни;
их души тревожил
лишь шелест кушей.
А Вася Каменский —
возьми да и свистни
в заросшие волосом
дебри ушей.
Ух, и поднялось же!
«Разбой! Нигилисты!
Они против наших музеев и книг!»
Один — даже —
модный профессор речистый
«явленье антихриста»
выявил в них.
А свист был — веселый,
заливистый,
резкий!
Как нос ни ворочай,
куда ни беги,
он рвался — за ставни,
за занавески,
дразня их:
«Комолые утюги!»
Тот свист был —
всему
прожитому до реди,
всему
пережеванному на зубах,
всему,
что свалялось в родные,

в соседи,
что пылью крутилось
в дорожных клубах.

Как вам рассказать
о тогдашней России?..
Отец мой
был а́гентом страховым.
Уездом
пузатые сивки трусили.
И дом
упирался в поля —
слуховым.
И в самое детство
забытое, раннее —
я помню —
везде окружали меня
жестянки овальные:
«Страхование —
Российского общества —
от огня».
Слова у отца непонятны:
как *полисы,*
как *дебет и кредит,*
баланс и казна...
И я от них бегал
и прятался по лесу,
и в козны
с мальчишками дул допоздна.
А ночью
набат ударял...
И на голых
плечах,
что сбегались,
спросонья дрожа,
пустивши приплясывать
огненный сполох,
в полнеба плечом
упирался пожар.
Я видел,
как, бревна обняв и облапив
и щеки мещанок зацеловав,

прервав стопудовье
зловещего храпа,
коробит огонь
жестяные слова.
«Российского общества»
плавилась краска,
угрюмые
рушились этажи...
И всё это было
как страшная сказка,
которую хочется пережить.

Я вырос
и стал бы, пожалуй, юристом.
А может — бандитом,
а может — врачом.
Но резкого зарева
блеском огнистым
я с детства был
взбужен
и облучен.
И первые слухи
о новом искусстве
мне в сердце толкнули,
как окрик: «Горим!»
В ответ им
безличье, безлюдье, безвкусье,
ничей с ними голос
несоизмерим.
В ответ им
беззубый,
безлюбый,
столетний
профессорски-старческий вышамк:
«Назад!»
В ответ им
унылой,
слюнявою сплетней
доценты с процентами вкупе
грозят.
Язычат огнями
их перья и кисти,

пестреет от красок
цыганский их стан,
а против —
желтеют опавшие листья,
что стряхивает с холста
Левитан.
И тысячи
пламенной молодежи,
которая вечно
права и нова,
за ними идут,
отбивая ладоши,
глядеть,
как горят
жестяные слова!

ГОЛОС ДОКАТЫВАЕТСЯ ДО ПЕТЕРБУРГА

Здесь город был.
Бессмысленный город...

Маяковский, «Человек»

Одесса грузила пшеницу,
Киев щерился лаврой.
Люди занимались
самым разнообразным трудом,
и никому не было дела
до этой яркой и ярой
юности,
которой был он
в будущее
ведом.

Однажды он ехал,
запутавшись в путанице
колей, магистралей,
губерний, лесов,
и в тряском вагоне
случайная спутница
укором к нему
обратила лицо:
«Маяковский!
Ведь вот вы — наедине —

и добрый и нежный,
а на людях — грубы».
В минутном молчанье
оледенев,
широкой усмешкой
раздвинулись губы:
«Хотите —
буду от мяса бешеный, —
и, как небо, меняя тона, —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина,
а облако в штанах!»

Как пишет он:
«Это было в Одессе» —
его приобщение
к облакам;
с ним жизнь начинала
чудить и кудесить,
пускать
по чужим любопытным рукам.
И как бы те ни были руки
изнежены,
и как бы ни прикасались легко, —
скорей
сквозь буран он продрался бы
снежный
по скату
соскальзывающих ледников.
Скорей бы
нагрудник
действительной грубости
и в горло —
действительный рев мясника,
чем медная мелочь
общественной скупости,
к земле заставляющая
поникать.

Кто в том виноват?
Проследите по циклам.

Ни тот и ни этот,
ни эта, ни та.
Но горло замолкло,
и сердце поникло,
и щеки
свои изменили цвета.
Схватитесь за голову!
Как это вышло?
Себя разорить,
по кускам раздаря!
Срывайтесь со стен,
равнодушные числа,
ошибкою Гринвича
и календаря!..
Враги закудахчут:
«Он это — в Советском
Союзе
талант свой утратил на треть!»
Молчите!
Не вашим умам-недовескам
такого масштаба
дела рассмотреть!
Одесский конфликт —
лишь по «Облаку» ведом.
Но что там ни думай
и как ни судачь, —
в общественных битвах
привыкший к победам,
в делах своих личных
не знал он удач.
В напоре
привыкший
к ответным ударам,
по сборищам
мерявший звонкую речь, —
душою швыряться
привык он задаром
и комнатных слов
не сумел приберечь.
В толпе
аплодирующих и орущих,
среди пароходов и доков

в чести, —
он был
как огромный
натруженный грузчик,
не знающий,
как себя
в лодке вести.
На руль приналяжешь —
всё море хоть выпень,
за весла возьмешься —
назад вороти!
Кружит и качает
всесветная кипень,
волна за кормой
и волна впереди.

Из города в город
швыряло, мотало,
на отмели чувства
валило — несло.
И вот
посреди островков
и кварталов
о невский гранит
обломало весло...
Холодом бронзовела
Летнего сада ограда,
пик над Адмиралтейством
вылоснился, остер,
яснилась панорама
теперешнего Ленинграда,
тогдашнего Петербурга
холодный,
пустой простор.
Здесь люди жили
вежливо-глухи,
по пушке выравненные,
как на парад,
банкиры,
гвардейцы,
писатели,
шлюхи —

весь государственный
аппарат.
Торцы приглушали звуки.
Кругом залегли болота.
В тумане
влажнели ноздри
охранников и собак.
И скука сводила скулы,
как вежливая зевота,
в улыбку переходящая
на вышколенных губах...
Ты после узнал его
вооруженным,
когда он
в атаку,
по мокрым торцам,
лавиной «Путиловского»
и «Гужона»
пошел
на ощеренный череп Дворца!
Тогда же
спешили — жили,
каждый своей дорогой,
от Выборгской — до Дворцовой,
от нищего — до туза.
И здесь протекало детство
в перспективе строгой
мальчика — Оставь Не Трогай
и девочки — В Ладонь Глаза.

Обычного типа
их было семейство,
картин и портьер
прописные тона;
их жизнь
повторялась
и длилась
совместно,
как в зеркале — зеркало,
в стену — стена.
Такие же тучи
клубились над нею,

такие ж обычаи,
правила,
дни.
Хоть мальчик был
сдержанней и холоднее,
но вместе
от всех отличались они —
правдивостью, что ли,
и резкостью вкуса,
упорством характера,
ясностью глаз,
уменьем на вещи
не взглядывать куцо,
не ставить
на жизненном почерке
клякс.

Бездонный провал Империи,
собор,
засосанный тиной;
на седлах
и на подпорках
качающийся закон,
и — вздыбленный
Медный Всадник...
Такую они картину
вседневно,
ежеминутно
могли наблюдать из окон...
И девочка выросла
в девушку.
По складу схожи
во многом, —
лишь глаз ее круглых
и карих
больней по коже ожог...
В четырнадцать лет
совместно
они покончили
с богом.
И мальчик

среди одноклассников
вел марксистский кружок.
Листки календарные
никли...
Из девушки выросла
женщина.
Вкус к жизни,
к ее сердцевине,
был пробкой притерт,
как духи.
Они сообща ненавидели
чинушество
и военщину.
Но что же любить прикажете?
Себя лишь самих
да стихи?
Она б
и на баррикады —
не дрогнула,
и под своды
угрюмого равелина...
Но не было баррикад.
Единственной баррикадой —
дымившие далью заводы
свинцовым грузом привычек
от них отделяла
река.

Они полюбили друг друга.
Но розно
с родною рукой
обручилась рука.
Она его
навеки —
яростно,
грозно,
а он ее —
разумно,
ясно,
слегка.
И это взаимное
разновесье,

молекул и атомов
взвихренный ход,
грозил
рассверкаться
смертельною вестью
тому,
кто под тучу их крыши
взойдет.

Что с ними случилось?
Общественный обруч
не смог уже сдерживать
бочку без дна:
семьи не устроишь,
судьбы не задобришь,
когда в ней
непрочная клепка видна.
И эти,
любившие с детства друг друга, —
век раньше —
и не было б лучше жены,
и не было б мужа чудесней, —
из круга
им сродного
выбиты
и обречены!

И город
бездонных пучин
и провалов
над ними —
как призрак —
маячил и стыл;
и мелкою зыбью
Нева целовала
его
разведенные на ночь
мосты.

ЦЕНТР И ОКРАИНЫ

> Так вот и буду
> в Летнем саду
> пить мой утренний кофе.
>
> *Маяковский, «Человек»*

Вот каким был
этот город.
Чопорный
и надменный.
Город
холодных взглядов,
кариатид,
дворцов.
Город казенных складов,
чувств
и монеты разменной,
где гробовщик надумал
в гости созвать
мертвецов.
Город —
кусок Европы,
выхоленный,
бесстыжий,
камнем
на сердце легший,
камнем —
на грудь страны.
Город,
в котором выжить —
значило то же,
что — выжать,
где проживешь — без славы
и пропадешь — без вины.
Хмурый,
на Финском взморье,
тесанный
зорким зодчим,
полный химер и бредней,
тонких сукон и питей.
Город
прямых проспектов,
не исключавших,
впрочем,

самых косых
душонок,
самых кривых
путей.
Выверенный впервые
в точности астролябий,
выметнувший в туманы
взлет корабельных ростр;
выпяленный
двуглавый
в небе —
орел остролапый,
выметнувшийся над миром
в полный петровский рост.

Вот по таким проспектам
окаменелой славы,
оледенелой речи,
выправки неживой
шел
не согласный некто
с выспренностью державы,
будущего разведчик,
времени сторожевой...
Искрились
и сверкали
вспышки витрин
в тумане,
словно хотели вызнать,
выведать на свету, —
сколько у вас
в запасе,
сколько у вас
в кармане,
сколько у вас
пылает
радужных на счету?

Рифмы его сверкали
глубью
бездонных граней.
Мысли метались

дичью
неприрученных строк.
Будущего виденья,
четче,
чем на экране,
требовали ускорить
свой наступавший срок.

Тотчас при появленье
высчитан и расчислен
скупщиками валюты,
в чем бы душа ни жива,
в чем бы ни бились мысли —
продано будет кому-то,
пущено на подкладку,
банты и кружева.
Как бы его обставить,
как бы его обжулить,
как бы его освоить,
выкроить,
утрясти?
Пасть на него раззявить,
глаз на него сощурить,
выгоду —
тем утроить,
этим —
на нет свести?

Люди
на Петроградской
мало стихов читали,
разве что песня
льнула
к Выборгской стороне...
Времени было —
только
чтоб обточить детали
да от хозяйских штрафов
злобу
топить в вине.
Если ж
теснило душу

горечью стародавней, —
выходы находились
в слове крутом, своем.
Хором летели в небо
саратовские «страданья».
«Сами себе сложили,
сами себе споем!»

Он их расслышал сразу,
эти огромные
в малом
жанре
слова и чувства,
стиснутые взаперти.
Он облучал их глазом,
крылья ртом расправлял им,
только не знал —
от Нарвской,
с Выборгской ль подойти?
Нет! — он решил. —
По центру
сразу ударить.
В темя —
силою небывалых
слов, представлений, чувств.
Плохо искать в искусстве
прибыль
процент к проценту.
Крупному разговору
сразу за них научусь!
Эти — его не знали.
Тусклое было время,
мало в оконце свету.
Как ему цену дашь?
Трется промежду теми
в кофте желтого цвету,
дышит,
чегой-то пишет, —
барская, видно, блажь.

Некогда объясняться!
Выиграть темп — и в гущу!

...Вздыбилось.
...Флаги.
...Смеяться.
Взрывом — осколки слов!..
Вот как он очутился
между жующих
и лгущих,
чмокающих тунеядцев,
тысячных наглецов.

Литературной биржей,
биржи большой помельче,
был ресторанчик «Вена»,
пишущих лиц притон,
смесью цинизма
с желчью
вас обжигавший мгновенно,
всем
записным талантам
передававший тон.
Входит:
«Привет, арапы!»
Пальцев сжимают кончик,
хором:
«Ура! За здравье!
Шел разговор о вас.
Нам бы у вас пора бы
выудить фельетончик,
мы бы немедля
вам бы
выписали аванс».
Так на корню закупая
соду,
поташ,
галеты,
гениев и гранаты,
нежность и рыбий клей,
чавкала туша тупая,
переводя
на котлеты
всё,
что имеет цену

для большинства людей.
А у него
лишь — кофты
яркость,
да ясность взгляда,
да еще —
точно из тучи
низко плывущий гром.
Черт его знает, впрочем...
Может,
и это надо?
Купим на всякий случай.
Вдруг
наживешь на нем?

Ерники и подхалимы
вьются, точно налимы,
ходят вокруг да около,
мечутся по кривой.
Хайла свои разинув,
липнут неотразимо,
жабры топорщат —
метят
выскользнуть с-под него.
Синежурнальная сволочь,
купринские опивки,
пыль
Леониду Андрееву
слизывавшие с сапогов,
перья свои нацелив,
точно дикарские пики,
колют его,
идущего
через хребты веков.

А он на них шел
молодым и глазастым,
на войско,
ведомое
силой рубля,
на них,

перекатывавшихся балластом
по трюмам державного корабля.
И всё,
чем земля
его сердце украсила,
всю силу искусства
в открытом бою
он двинул
против литературного пра́сола,
в упор живописному шибаю́.

Быть может,
им путь
был неправильно начат.
Но — видите,
что он
наделал потом!
И многие ль — больше
и вровень с ним — значат,
пошедшие
более легким путем?!

ПЕРВАЯ ТРАГЕДИЯ

Я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Маяковский, «Облако в штанах»

В те дни,
вопреки всем преградам и проискам,
весна
на афиши взошла и подмостки:
какие-то люди
ставили в Троицком
впервые трагедию
«В. Маяковский».
В ней не было
доли
искусства шаблонного;
в ней всё —
неожиданность,

вздыбленность,
боль;
всё —
против тупого покроя
Обломова:
и автор,
игравший в ней
первую роль,
и грозный
цветастый
разлет декораций,
какие
от бомбами брошенных слов,
казалось,
возьмут —
и начнут загораться,
сейчас же,
пока еще действие шло.
Филонов,
без сна их писавший
три ночи,
не думал на них
наживать капитал,
не славы искал
запыленный веночек, —
тревогой и пламенем
их пропитал.

Теперь это
стало истории хламом,
куски декораций,
афиши...
А там —
это было
единственным самым,
что ставило голову выше.
Теперь это
давняя перебранка,
с которой
и в книгу не сунусь.
А было —
периодом

Sturm'a und Drang'a,
боями
за право на юность!

Представьте:
туманный,
чиновный,
крахмальный
день,
не выходящий из ряда,
и в нем
неожиданно,
звонко,
нахально
гремящая буффонада.
Представьте себе
этот профиль столичный,
в крахмале
тугого зажима,
в испуге
на окрик насмешливо-зычный
повернутый недвижимо.
Представьте себе
эти вялые уши,
забитые ватой
привычных цитат,
глаза эти —
вексельной подписи суше,
мигающие
на густые цвета.
Часть публики аплодирует:
«Наши!»
Но бóльшая,
негодуя, свистит.
Зады
поднимают со стульев папаши,
волнуясь, взывают:
«Где скромность, где стыд?!»

Да, скромностью
наши
не отличались тут;

их шум
в добродетелях — подкачал:
ни скромности,
ни уваженья к начальству,
ко всякому
в корне
началу начал.
Но то, что казалось папашам
нахальством
и что трактовалось
как стиль буффонад, —
не явной ли стало
размолвкой с начальством:
истерся
Россию вязавший канат!
Уже износились
смиренья традиции,
сошла позолота,
скоробился лак,
и стало
всё больше
в семействах родиться
бездельников,
неслухов,
немоляк.

Бездельем считалось
всё,
что — хоть постепенно,
хоть как бы ни скромно
и как ни мало́ —
примерного юношу
вверх по ступеням
общественной лестницы
не вело.
Бездельничество —
это всё,
что непрочно,
всё,
что не обвеяно
запахом щей,
не схоже с былым,

непривычно,
порочно
и — противоречит
порядку вещей.
Порядок же
явно пришел
в беспорядок!
По-разному
шли в учрежденьях часы...
И как ни сверкали
клинки на парадах —
рабочая сила
легла на весы.

И часто, в тоске,
ужасалась супруга,
и комкал газету
сердитый супру́г,
что
«...мальчик
из нашего выбился круга!»,
что
«...девочка
вовсе отбилась от рук!»
Потомство
скрывалось на горизонте.
«Ведь были ж послушны
и мягки, как шелк!»
«А нынче —
попробуйте урезоньте!»
«А ваш-то
небось в футуристы пошел!»

Вот так это всё
и случалось и было:
не то чтоб
начальственный окрик
ослаб,
но — детство
мамаше с папашей грубило
на весь
беспредельный российский масштаб,

А вместе с родительским —
царский и божий
клонился,
в цене упадая,
престиж,
и стала страна
на себя не похожей,
всё злей и угрюмей
в затылке скрести.

Конечно,
не спор о семейственном благе
массовкой
топорщился
у леска,
но —
массовой перебежкою в лагерь
редели
былого уклада войска.
Конечно,
не в этом была революция,
героика будней,
упорство крота,
но всё беспризорнее
головы русые
мелькали
украдкою за ворота.

Я знал эту юность,
искавшую выход
под тусклой опекою
городовых,
не ждавшую
теплых местечек и выгод,
а судеб —
торжественных и передовых.
Казалось —
всё скоро изменится...
Ждали
каких-то неясных предвестий,
толчков.

Старались заглядывать в завтра.
Но дали
хмурели
в обрывках газетных клочков.
Казалось —
всё скоро исполнится...
Слишком
была эта явь
и темна и тесна.
Ловили
отгулы грозы
по наслышкам,
шептались,
что скоро наступит весна.

И вдруг —
в этом скомканном,
съеженном мире,
где день не забрезжил
и сумрак не сгас, —
во всей своей молодости
и шири
пронесся призывом
грохочущий бас:
«Ищите жирных
в домах-скорлупах
и в бубен брюха
веселье бейте!
Схватите за ноги
глухих и глупых
и дуйте в уши им,
как в ноздри флейте».

Вот тут-то
и поднялась потасовка:
«Забрать их в участок!
Свернуть их в дугу!»
А голос взвивался
высоко-высоко:
«„О-го-го“ могу! ..»

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотри́те —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Маяковский, «Ко всему»

Вот он возвращается
из Петрограда —
красивый,
двадцатитрехлетний,
большой...
Но есть в нем какая-то горечь,
утрата,
какое-то облако над душой.
Сказали:
к друзьям он заявится
в среду.
Вошел.
Маяковского —
не узнать.
Куда подевались —
их нету и следу —
его непосредственность
и новизна.
Уж он не похож
на фабричного парня:
белье накрахмалил
и волос подстриг.
Он стал прирученней,
солидней,
шикарней —
по моде
последний со Сретенки крик.
(На Сретенке были
дешевые лавки
готовой одежи:
надень и носи.
Что длинно —

то здесь же
возьмут на булавки;
что коротко —
вытянут
по оси.)
Такого вот —
можно поставить к барьеру:
цилиндр,
и визитка,
и толстая трость.
Весь вид —
начинающий делать карьеру
наездник из цирка
и праздничный гость.

Они ему крылья
напрочь обкорнали,
сигарой зажали
смеющийся рот,
чтоб стал он картинкой
в их модном журнале
не очень опасных
построчных острот.
Они его в шик облачили
грошовый,
чтоб смех,
убивающий наповал,
чтоб голос его
разменять
на дешевый
каданс
их прислужников-запевал.

На нем же любое платье
выглядело элегантным;
надетым не для фасонов
и великосветских врак...
Он был
какого-то нового племени
делегатом,
носившим
так же свободно,

как желтую кофту,
фрак.
И в блеске
лоснящегося цилиндра
отсвечивал холод,
лицо озарив;
так —
в порохе блещущая
селитра
напоминает
про грохот,
про взрыв.

И — хоть он печатался
в «Сатириконе»,
хоть впутался в ленты
ермольевских фильм, —
весь мир его помыслов
был далеко не тем,
чем казался
для нас,
простофиль.
Он законспирировал
мысли и темы;
расширив глаза,
он высматривал год —
тот год,
где поймем и почувствуем
все мы,
что мир разделился
на слуг и господ.
Он больше не шел
против их обрядов;
он блуз полосатых
уже не носил.
И только одно
не укрыл он, упрятав:
сердечного грохота
в тысячу сил.

И сразу
все темы мельчали...

Одна —
до дрожи стены.
И сразу
друзья замолчали —
так были потрясены.
И после,
взмывая из мрака,
тянулись к нему голоса,
и пестрая вязь
Пастернака,
и хлебниковская роса;
и нервный, точно котенок
(к плечу завернулась пола),
отряхивал лапки Крученых;
Каменский пожаром пылал;
и Шкловского яростная улыбка, —
восторгом и болью
искривленный рот,
которому
вся литература — ошибка,
и всё переделать бы — наоборот!

Комедия
превращалась в «мистерию»:
он зря ее думал
развенчивать в «буфф»;
всё жестче
потерю ему за потерею
приписывал к жизни
всесветный главбух.
Всё чаще и чаще
впадал он в заботу,
судьбы обминая
тугой произвол;
всё гуще, как в лямки,
влегал он в работу
и книгу надписывал подписью:
Вол.
Огромным
упорным Самсоном остриженным
до мускульных судорог

вздувшихся плеч, —
он речь
от дворцов поворачивал
к хижинам,
других за собой
помышляя увлечь.

И это,
и всё,
что в стихах его лучшего,
толпа равнодушных
и сонных зевак
не видела
из-за лорнета бурлючьего,
из-за скопившихся в сплетнях
клоак.
Но были в России
хорошие люди:
действительно —
соль ее,
цвет ее,
вкус.
Их путь, как обычно,
был скромен и труден.
И дом небогат,
и достаток негуст.
Я знаю отлично:
не ими одними
спасен был
тогдашней России содом.
Но именно эти
мне стали родными,
с их вкусом,
с их острым событий судом.
Их пятеро было,
бесстрашных головок,
посмевших свой взгляд
и сужденья иметь,
отвергнувших путь
ханжества и уловок,
сумевших

меж волков
по-волчьи не петь.

Сюда сходились все пути
поэтов
века нашего;
меж них,
блистательных пяти,
свой луг
рифмач выкашивал.
Как пахнут
этих трав цветы!
Как молодо
и зелено!
Как будто бы с судьбой
на «ты»
им было стать повелено.
Здесь Хлебников жил,
здесь бывал Пастернак...
Здесь —
свежесть
в дому служила.
И Маяковского
пятерня
с их легкой рукой дружила.
Взмывало солнце петухом
в черемуховых росах.
Стояло время пастухом,
оперш имся о посох.
Здесь начинали жить
стихом
меж них —
тяжелокосых.
Но мне одному лишь
выпало счастье
всю жизнь с ними видеться
и общаться.
Он,
заходя к нам,
угрюм и рассеян,
добрел

во всю своих глаз ширину,
басил про себя:
«Счастливый Асеев —
сыскал себе
этакую жену!»

Я больше теперь
никуда не хочу выходить
из дому:
пускай
все люстры в лампах
горят зажжены.
Чего мне искать
и глазами мелькать по-пустому,
когда — ничего на свете
нет
нежнее моей жены.
Я мало писал про нее:
про плечи ее молодые;
про то,
как она справедлива,
доверчива и храбра;
про взоры ее голубые,
про волосы золотые,
про руки ее,
что сделали в жизни мне
столько добра.
Про то,
как она страдает,
не подавая вида;
про то,
как сердечно весел
ее ребяческий смех;
про то,
что ее веселье,
как и ее обида,
душевней и человечней
из встреченных мною всех.
Про то,
как на помощь она
приходит быстрее света,

сама никогда не требуя
помощи у других;
про то,
как она служила
опорою для поэта,
сама для себя не делая
ни из кого слуги.
И каждое
свежего воздуха к коже
касанье,
и каждая
ясного утра
просторная тишина,
и каждая
светлая строчка
обязана ей,
Оксане, —
которая
из воспетых
единственная
жена!

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД

«Что задумался, отец?
Али больше не боец?
Дай, затянем полковую,
А затем — на боковую!»

Хлебников

Война разразилась
внезапно,
как ливень;
свинцовой волной
подступила ко рту...
Был посвист снарядов и пуль
заунывен,
как взрывы
тревожной лебедки в порту.
Еще не успели
из сумрака сонного
ко лбу донести —

окрестить —
кулаки,
как гибли уже
под командой Самсонова
рязанцы,
владимирцы,
туляки.
Мы крови хлебнули,
почувствовав вкус ее
на мирных,
доверчивых,
добрых губах.
Мы сумрачно вторглись
в Восточную Пруссию
зеленой волной
пропотелых рубах.
И хоть мы не знали,
в чем фокус,
в чем штука,
какая нам выгода
и барыш, —
но мы задержали
движенье фон Клука,
зашедшего правым плечом —
на Париж!
И хоть нами не было
знамо и слыхано
про рейнскую сталь,
«цеппелины»
и газ,
но мы опрокинули
планы фон Шлиффена, —
как мы о нем, —
знавшего мало о нас.
Мы видели скупо
за дымкою сизой,
подставив тела
под ревущую медь,
но —
снятые с фронта
двенадцать дивизий

позволили
Франции уцелеть.

Из всех обнародованных
материалов
тех сумрачных
бестолковых годин —
известно,
как много Россия теряла.
И всё ж
мне припомнился
новый один.
Один
из бесчисленных эпизодов,
который
невидимой силой идей
приводит в движение
массы народов,
владеющих судьбами
царств и людей.
Министры — казну обирали.
Шакальи
фигуры их
рвали у трупов куски.
А парни с крестами —
шагали, шагали,
разбитые пополняя полки. . .
Я ехал в вагоне,
забритый и забранный
в народную повесть,
в большую беду.
Я видел,
как учащенными жабрами
держава дышала,
как рыба на льду.
Вагон третьеклассный.
В нем — чуйки, тулупы,
тенями подрагивающими
под бросок,
огарок оплывший
и въедливый, глупый,
нахально надсаживающийся голосок.

Заученных слов
не удержишь потока:
«За матушку Русь!
За крушенье врага!»
А сверху глядела
папаха,
винтовка
и туго бинтованная
нога.
Оратор
захлебывался, подбоченясь,
про крест над Софией,
про русский народ.
Но хмуро и скучно
глядел ополченец
на пьющий и врущий
без удержу рот.
Оратор — ярился:
«За серых героев!
Наш дух православный —
неутомим!
Мы дружно сплотимся,
усилья утроив,
и диких тевтонов
вконец разгромим!»
Когда ж
до «жидов»
и до «социалистов»
добрался
казенных мастей
пиджачок, —
не то обнаружился
просто в нем пристав,
не то это
поезд сделал толчок,
но раненый ясно,
отчетливо,
строго,
с какой-то
брезгливостью ледяной
отрезал:
«Мы не идиоты!» —

и, ногу
поддерживая,
повернулся спиной.
«Мы не идиоты!» —
вот в чем было дело
у всех этих раненых
без числа;
вот что
и на стеклах вагонных нальдело
и на сердце
вьюга в полях нанесла.
На скошенных лезвиях
маршевой роты
мелькало,
неуловимо, как ртуть,
холодное это:
«Мы не идиоты!» —
и штык угрожало
назад повернуть.
И правда,
кому б это стало по нраву, —
пока наживалась
всесветная знать, —
на Саву, Мораву
и Русскую-Раву
своими скелетами
путь устилать?!

Вагон тот —
давно укатился в былое,
окопы
запаханы в ровную гладь,
но память
не меркнет
об этом герое,
сумевшем
в три слова
всю правду собрать.
Три слова —
плевком по назойливой роже!
Три слова —
где зоркая прищурь видна!

Три слова —
морозным ознобом по коже,
презрение
выцедившие до дна!

И в это же время, —
две капли таковский, —
с правдивостью
той же
сродненный вдвойне,
бросал свои реплики
Маяковский
Кащеихе стальнозубой —
Войне.
Он так же мостил
всероссийскую тину
булыжником слов —
не цветочной пыльцой;
ханже и лгуну
поворачивал спину,
в пощечины
с маху хлеща подлецов.
И понял я
в черных бризантных вихрях,
что в этой
тревожной браваде юнца
растет
всенародный
российский выкрик,
еще не додуманный
до конца.
Я понял —
не призрак поэта модный,
не вешалка
для чувствительных дев, —
что это великий,
реальный,
народный,
пропитанный
смехом и горечью
гнев.
Я понял,

что, сердце сверяя по тыщам,
шинель рядового
сносив до рядна,
мы новую родину
в будущем
ищем,
которая
всем матерински
родна.

Спросите теперь
у любого парнишки:
«Мила тебе родина?
Дорог Союз?» —
И грозно сверкнут
пограничные вышки,
в бинокль озирая
границу свою.
Ту, за которую
драться не стыдно,
которой
понятны нам цели
и путь,
с которой
и жить
и умереть —
не обидно
ничуть!

НЕВСКИЙ ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ

Октябрь прогремел,
карающий,
судный.

Маяковский, «Про это»

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит,
буржуй.

Маяковский

Земля
тех дней
никогда
не забудет,

тех массовой силою
кованных дней,
пока на ней
существуют люди,
покамест песня
звенит над ней!

Еще петушится
тщедушная прядка
на взмыленном
узеньком
керенском лбу;
но чаще
защитники правопорядка
с позором
проваливаются в толпу.
Уже пригляделись
к ораторам сытеньким,
выныривавшим
и исчезавшим во мглу,
на быстрых,
стихийно вскипающих
митингах,
везде —
то на том,
то на этом
углу.
Волненьем
уже относило в сторонку
пустых болтунов
и слюнявых растяп.
На Невском
вил за воронкой воронку
в матросских бушлатах
темневший Октябрь.

Ветер треплет
обрывки реплик,
полы и бороды
носит по городу.
Вот бас, умудренно рыкая,
прозреть призывает слепцов:

«Погибнет Россия!»
— «Какая?
Помещиков да купцов?!»
Насупились бороды строгие.
В упор. На каждом шагу.
«Но это же — демагогия...
Я так рассуждать не могу!»
Вот парень
в промасленной кепке,
изношен пиджак
до прорех...
Слова его
крупны и крепки —
отборный
каленый орех:
«Они на панелях-то смелы,
одетые в сукна-шелки...»
— «Которые
за Дарданеллы —
построились сами б
в полки!»
— «Пошли б в наступление
сами,
чем нас
выставлять норовить...»
— «С такими-то корпусами —
да кайзера
не раздавить?»

Вот дамочка,
выкатив бельма,
трезвонит горячую речь, —
что
«тайным агентам Вильгельма
себя не позволит увлечь»,
что
«всюду, во всем недостатки»,
что
«темный народ бестолков»,
что
«нужно кончать беспорядки
насильников-большевиков».

Аж зубы от злобы согнула —
так
жирная жизнь дорога!
Как вдруг
через плечи
шагнула
в огромном ботинке нога.
«Она у меня кошелек стащила!
Вчера, на Обводном,
вот так же врала.
Вот эта же самая
чертова сила
засунула руку в карман
и драла!»
Пунцовыми пятнами — дама,
у барыни рот окосел...
Но этот, Высокий,
упрямо
на пылкую даму насел:
«Она у меня кошелек
с получкой!..
Вот эта вот самая,
позавчера...
Да вы, мадам,
не машите ручкой,
невинность разыгрывать —
песня стара».
Смех, гомон,
свист, шум, —
лед сломан
злых дум.
«Вы, гражданка,
нам мозгов не туманьте.
Ишь бровки распялила
до облаков!»
Все руки
ощупали, как по команде,
карманы штанин
и борты пиджаков.
«Айда, Васюк!
Да пальто поплотнее,

видать, мастерица
насчет кошельков».
— «Постой!»
— «Да чего хороводиться с нею.
А треплется!
Тоже, про большевиков!»
— «Позвольте, однако,
побойтесь же бога!
Я вижу впервые вас.
Есть же предел!..»
— «Да что там с такой
разговаривать много!»
И — митинг таял, дробился, редел...
«Позвольте!
Ну что же это за диво?
Я вас не встречала
во веки веков!»
Высокий над ней
наклонился учтиво:
«Вот так же, мадам,
как и большевиков!
И как ваша речь
горяча ни была,
и как ваши чувства
ни жарки, —
вернувшись домой,
не срывайте зла,
прошу вас,
на вашей кухарке!..»

Земля
тех дней
никогда
не забудет,
тех кованных
массовой силою дней,
пока на ней
существуют люди,
покамест песня
гремит над ней!

ХЛЕБНИКОВ

Он говорил:
«Я бедный воин, я одинок...»

Хлебников

Вы Хлебникова видели
лишь на гравюре.
Вы ищете слов в нем
и чувств посвежей.
А я гулял с ним
по этой буре —
из войн, революций,
стихов и чижей.
Он был высок,
правдив и спокоен,
как свежий, погожий
сентябрьский день.
Он был действительно
бедный воин —
со всем, что рождало
бездумье и лень.
Глаза его —
осени светлой озера —
беседу с лесною вели тишиной,
без слов
холодя пошляка и фразера
суровой прозрачностью ледяной.
А рот —
на шиповнике спелая ягода —
был так неподкупно
упорен и мал,
что каждому звуку
верилось загодя,
какой бы он шелест
ни поднимал.
И лоб его,
точно в туманы повитый,
внезапно светлел,
как бы от луча,
и сердце тянулось к нему,
по виду
его из тысячей отлича.

Словно в кристалл времена разумея,
он со своих
недоступных высот
ведал —
за тысячу
до Птолемея
и после Павлова
на пятьсот.
Он тек через пальцы
невыгод и бедствий,
затоптанный в пыль
сапогами дельцов.
«Так на холсте
каких-то соответствий
вне протяжения
жило Лицо».
Он жил —
не ища
ни удобства, ни денег,
жевал всухомятку,
писал на мостах,
граненого слова
великий затейник,
в житейских расчетах
профан и простак.
Таким же, должно быть,
был и Саади,
таким же Гафиз
и Омар Хайям, —
как дымные облаки
на закате —
пронизаны золотом
по краям.
Понять его
медленной мыслью
не траться:
сердечный прыжок
до него разгони! ..
Он спал
на стихами набитом матрасе, —
сухою листвою
шуршали они.

Он складывал их в узелок
и — на поезд!
Внезапный входил,
сапоги пропыля:
и люди добрели,
и кланялись в пояс
ему украинские тополя.

Он прошумел,
как народа сказанье,
полупризнан
и полуодет, —
этот,
пришедший к нам
из Казани,
аудиторий зеленых студент.
И, словно листья
в июльском зное,
пока их бури не оголят,
встретились,
чокнулись
эти двое —
сила о силу,
талант о талант.

Как два посла
больших держав,
они сходились
церемонно.
Что тот таит
в себе, сдержав?
Какие за другим знамена?
«Посол садов, озер, полей,
не слишком ли
дремотно знамя?»
— «А ты?
Неужто веселей
твой город
с мертвыми камнями?»
— «Но в городе
люди живут,
а не вещи!

Что толку описывать
клюв лебедей?!»
— «Но лебеди плещут,
а рощи трепещут...
Не вещи ли делает
разум людей?
Завод огромен и высок.
Но он —
клеймом оттиснут
в душах.
Не мягше ли
морской песок,
чем горы
ситцевых подушек?»
— «Не тверже ли
сухой смешок,
дающий пищу
жерлам пушек?»
— «Да,
миром владеет
бездушный Кащей...
Давайте устроим
восстанье вещей!
Ведь: слово «весть»
и слово «вещь»
близки и родственны корнями, —
они одни — в веках —
и есть
людского племени
орнамент!
Смотрите же,
не забудьте обещанья:
отныне —
об одних больших вещах
вещанье».

Такой разговор,
может, в жизни и не был;
лишь взглядов обмен
да сердец перебой.
Но старую землю
под новое небо

они поклялись
перекрыть над собой.
Маяковский любил
Велимира, как правду,
ни пред кем
не складывающуюся пополам.
Он ему доверял,
словно старшему брату,
уводившему за руку
вдаль, по полям.
Он вспоминал о нем,
беспокоился,
когда Хлебников
пропадал по годам:
«Где же Витя?
Не пропал бы под поездом!
Оборвался, наверное,
оголодал!»

А Хлебников шел по России
неузнанный,
костюм себе выкроив
из мешков,
сам —
поезд
с точеными рифмами-грузами
по стрелкам
сочувствий,
толчков
и смешков.
Он до пустыни Ирана
донашивал
чистый и радостный
звучности груз,
и люди,
не знавшие говора нашего,
его величали
Дервиш-урус.
Он шел,
как будто земли не касаясь,
не думая,
в чем приготовить обед,

ни стужи,
ни голода не опасаясь,
сквозь чащу
людских неурядиц и бед.

Бывало, его облекут,
как младенца,
в добротную шубу,
в калоши,
и вот
неделя пройдет и —
куда это денется:
опять — Достоевского «Идиот»!
Устроят на место,
на службу пайковую:
ну, кажется, есть
и доход и почет.
И вдруг
замечаешь фигуру знакомую:
идет,
и капель ему щеки сечет.
Идет и теребит
от пуговиц ниточки;
и взгляда не встретишь
мудрей и ясней...
Возьмешь остановишь:
«Куда же вы, Витечка?»
— «Туда, —
отмахнется, —
навстречу весне!»

Попробуйте вот,
приручите, приштопайте,
поставьте на место
бродячую тень:
он чуял
в своем безошибочном опыте
ту свежесть,
что в ноздри вбирает
олень.
Он ненавидел
фальшь и ложь,

искусственных чувств
оболочку,
ему, бывало, —
вынь да положь
на стол
хрустальную строчку.
Он был Маяковского
лучший учитель
и школьную дверь запахнул
навсегда...
А вы — в эту дверь
напирайте,
стучите,
чтоб не потерять
дорогого следа!

ОСИНОЕ ГНЕЗДО

...Желаю
видеть в лицо,
кому это
я
попутчик?!

Маяковский, «Город»

К этому времени
сходится всё —
все нити
и все узлы.
Опять обозначился
жирный кусок
и вин моревой разлив.
У множества
сердце было открыто
и только рубахой защищено.
А мелочь
теснилась опять у корыта
богатств, привилегий,
наживы, чинов.
Уже прогремел монолог

«О дряни»...
На месяц
поставив себя за станки,
в партийные
начали метить
дворяне
какие-то маменькины сынки.
По книжке рабочей
отметив зарплату
и личико постно
скрививши свое, —
они добывали
секретно,
по блату,
особо ответственный,
жирный паек.
Они отъедались,
тучнели,
лоснились;
кто косо смотрел на них —
брали в тиски;
и им по ночам
в сновидениях снились
еще более лакомые
куски.
Они торопились,
тревожась попасться;
они заполняли
собой этажи;
они накопляли
для боя
запасы
валюты и наглости,
жира и лжи.

У партии
было заботы —
сверх меры,
проблем неотложных —
невпроворот!..
Метались
тревожно милиционеры

за валютчиками
у Ильинских ворот.
А те,
притаившись
за шторками в доме,
глядели,
когда эти беды минут;
их папа,
нахохлясь,
сидел в Концесскоме
и ждал для сигнала
удобных минут.
От них,
ограниченных,
самовлюбленных,
мечтавших фортуну
за хвост повернуть, —
вся в мелких словечках,
ужимках, уклонах,
ползла непролазная
слякоть и муть.

Москва
была занесена снегами
дискуссий, споров,
сделок и торгов;
Москва
была заслежена шагами
куда-то торопившихся
врагов.
Шаги петляли,
путались,
ветвились,
завертывали за угол
в тупик,
задерживались у каких-то
крылец,
и вновь мелькал
поднятый воротник.
Тогда-то
и возник в литературе
с цитатою луженой

на губах,
с кошачьим сердцем,
но в телячьей шкуре,
литературный гангстер
Авербах.
Он лысину
завел себе с подростков;
он так усердно тер ее рукой,
чтоб всем внушить,
что мир —
пустой и плоский,
что молодости —
нету никакой.
Он черта соблазнил,
в себя уверя б:
в значительности
своего мирка.
И вскоре
этот оголенный череп
над всей литературой
засверкал.
Он шайку подобрал себе
умело
из тех,
которым нечего терять;
он ход им дал,
дал слово им
и дело;
он лысину учил их потирать.
Одних — задабривая,
а других — пугая,
он всё искусство взял
под свой надзор;
и РАПП, и АХР,
и несказаль другая
полезли
изо всех щелей и нор.
Расчет был прост:
на случай поворота,
когда их штаб
страну в дугу согнет, —
в искусстве

их муштрованная рота
направо иль налево отшагнет.

Но как же с Маяковским?
Эту птицу
не обойти
ни прямиком,
ни вкось:
всю жадность
ненасытных аппетитцев
испортит,
ставши в горле,
эта кость!
И вот к нему
с приветом и поклоном
как будто бы
от партии самой:
«Идите к ним,
к бесчисленным мильонам,
всей дружной
пролетарскою семьей...»
Он чуял,
что и дружбой здесь не пахло
и
что-то непонятное
росло,
что жареным от МАППа
и от АХРа
на тысячу километров несло.

Тогда, увидев,
что за них не тянет,
они решили,
не скрывая злость,
так одурманить или оболванить,
чтоб свету увидать не довелось!
Они читали лекции
скрипуче,
темнили ясность
ленинских идей;
они словцом презрительным

«попутчик»
клеймили
всех не вхожих к ним людей.
Формальным комсомольством
щеголяя,
ханжи, лжецы,
наушники, плуты, —
они мертвили разум,
оголяя
от всей его сердечной
теплоты.

А он не поддавался —
он смеялся;
он под ноги
не стлался им ковром;
он — с партией —
погибнуть не боялся;
он сам
каленым метил их
тавром —
прозаседавшихся
чиновных
бюрократов
и прочих трехнедельных
удальцов;
он всё на свет вытаскивал,
что, спрятав,
они наследовали
от отцов;
он горлом
продирался сквозь препоны,
о стены
искры высекал виском!..
И я теперь
по-новому припомнил,
как голову носил он
высоко.

Однажды
мы шлялись с ним по Петровке;

он был сумрачен
и молчалив;
часто —
обдумывая строки —
рядом шагал он,
себя отдалив.
«Что вы думаете,
Коляда,
если
ямбом прикажут писать?»
— «Я?
Что в мыслях у вас —
беспорядок:
выдумываете разные
чудеса!»
— «Ну все-таки,
есть у вас воображенье?
Вдруг выйдет декрет
относительно нас!
Представьте
такое себе положенье:
ямб — скажут —
больше доступен для масс».
— «Ну, я не знаю...
Не представляю...
В строчках
я, кажется, редко солгу...
Если всерьез,
дурака не валяя...
Просто, мне думается,
не смогу».
Он замолчал,
зашагал,
на минуту
тенью мечась
по витринным лампам, —
и как решенье:
«Ну, а я
буду
писать ямбом!»

РАЗГОВОР С НЕИЗВЕСТНЫМ ДРУГОМ

> В шалящую полночью площадь,
> В сплошавшую белую бездну
> Незримому ими — «Извозчик!»
> Низринуть с подъезда. С подъезда...
>
> *Пастернак, «Раскованный голос»*

Теперь разглядите,
кого опишу я
из тех —
кто имеет бесспорное право
на выход
в трагедию эту большую
без всяческих объяснений
и справок.
Нас всех воспитали и образовали
по образу своему и подобью;
на собственный лад
именами назвали,
с младенчества приучая
к надгробью.
Но мы же метались,
мы не позволяли,
чтоб всех нас
в нули округляли по смете:
кистями,
мелодиями рояля,
стихами —
дрались
против пыли и смерти.
Мы, гневом захлебываясь,
пьянели,
нам море былого
было по колени,
и мы выходили
пылать на панели
глазами блистающего
поколенья.
Нет,
мы не давались
запрячь нас в упряжку!
Ведь то и входило
нам жизни в задачу,

чтоб
не превратиться
за денежку-бляшку
в чужого нам промысла
тощую клячу.

В четыре копыта
лошажья походка;
на лошади двигаться —
предкам пристало.
А если
вокруг задувает
погодка?
А если
дорогу
пургой обсвистало?
В четыре стопы
не осилишь затора,
уж как бы уютно вы
в сани ни сели...
И только
высокая сила мотора
полетом слепым
нас доводит до цели.
И как бы наш критик
ни дулся,
озлоблен,
какие бы
нам ни предсказывал
дали, —
ему не достать нас
кривою оглоблей,
не видеть,
как в тучах мы
запропадали.
О нет,
завожу не о форме
я споры;
но —
только взлечу я
над ширью земною, —
заборы, заборы,

замки и затворы
преградой мелькают
внизу подо мною.

Так что мне
в твоей философии тихой?
Таким ли —
теней подзаборных
пугаться?
Ведь ты же умеешь
взрывать это лихо,
в четыре мотора
впрягая Пегаса.
А я не с тобою
сижу в этот вечер,
шучу, и грущу, и смеюсь
не с тобою.
И в разные стороны
клонятся плечи,
хоть общие
сердцу страшны перебои!
Неназванный друг мой,
с тобой говорю я:
неужто ж безвстречно
расходятся реки?
Об общем истоке
не плещут, горюя,
и в разное море
впадают навеки?
Но это ж и есть
наша гордость и сила:
чтоб — с места сорвав,
из домашнего круга,
нас силой искусства
переносило
к полярным разводьям
зимовщика-друга.

Ты помнишь тот дом,
те метельные рощи,
которые —
только начни размораживать —

проснутся
от жаркого крика:
«Извозчик!» —
из вьюги времен,
засыпающей заживо.
Мороз нам щипал
покрасневшие уши,
как будто хотел нас
из сумрака выловить,
а ты выбегал,
воротник отвернувши,
от стужи,
от смерти спасать
свою милую.
Ведь уши горели
от этого клича,
от этого холода времени
резкого!
Ведь клич этот,
своды годов увелича,
по строчкам твоим
продолжает свирепствовать!

Так ближе!
Не в буре дешевых оваций
мы голос натруженный
сдвоим и сгрудим,
чтоб людям
не ссориться,
не расставаться,
чтоб легче дышалось
и думалось людям.
Ведь этим же
и определялась задача,
чтоб всё,
что мелькало
в нас самого лучшего,
собрать,
отцедить,
чтоб, от радости плача,
стихи наши стали
навеки заучивать.

Ведь вот они —
эти последние сроки, —
задолженность молодости
стародавняя, —
чтоб в наши
суровые
дружные строки
сегодняшних дней
воплотилось предание.

МАЯКОВСКИЙ РЯДОМ

Мне
и рубля
не накопили строчки...

Маяковский, «Во весь голос»

Не в приступе сожалений поздних
и не для того,
чтоб умаслить молву, —
боясь,
чтоб не вышел
великопостник, —
я начинаю эту главу.
Мне в Маяковском
важны — не мощи,
не взор,
горящий бесплотным огнем;
страшусь,
чтоб не вышел он
суше и площе,
чем жизнь —
всегда клокотавшая в нем.

Теперь,
на стене,
застеклен и обрамлен,
глядит он с портретов,
хмур и угрюм.
А где ж
его яростный темперамент,

везде поднимавший
движенье и шум?
Разве
из этого матерьяла
он сделан,
что тащат биографы в ГИХЛ?
В нем каждая жилка
жизнью играла
и жизнью играть
вызывала других!

Но мало было игроков:
один — хоть смел,
да бестолков;
другой — хоть и толков,
да скуп:
навар —
на свой снимает суп...
Обычный вид:
соратник
тыщонок сто царапнет
и мчит,
зажав под мышку,
запихивать на книжку.
Устроились все
от велика до мала;
обшились, отъелись,
зажили на дачах.
Такая ли участь
его занимала —
зарытых костей
да зажатых подачек?
Он всё продувал
с быстротою ветра;
ни денег,
ни силы своей — не жалел.
Он сердца валюту
растрачивал щедро.
Сердца — а не желе!

Не с тем,
чтоб пополнить

прорехи бюджета,
в заре,
наклоняя вихор к вихру,
мы с ним заигрывались
до рассвета
в разную карту,
в любую игру.
Он играл
на всё,
что мнилось, пелось, —
сердцу человечьему сродни.
Он играл
на радость и на смелость,
на большого будущего дни.
Ветерком рассветным обвеваем,
заполняя улицу собой,
затевал он игры
и с трамваем,
с солнцем, с башней, с площадью,
с судьбой.
Город спал,
тащились в гору клячи,
падал редкий сухонький снежок;
он сказал мне:
«После неудачи
пишется особенно свежо!»

Вкруг его фигуры
прочной, ладной
воздух накалялся до жары,
и летели
в празелень бильярдной
лунами мелькавшие шары.
Вкруг него
болельщики, арапы,
мазчики, маркеры и жучки
горбились, теснились —
поцарапать,
оборвать червончиков клочки.
Ну и шла ж игра!
Кии сгибались,
фонари мигали с потолка —

на огромно выпяленный палец,
на овал
тяжелого белка.
Всё огнем текло:
партнеры, ставки
разной масти и величины;
разгорался
самый тугоплавкий;
были все
в игру вовлечены.
Кто-то
кофе пил в соседнем зале;
чьей-то рыбы блекла чешуя...
«Вы вдвойне идете!
Заказали?
Не платите:
отвечаю я!»

Суетится
один краснобай несвежий,
по брюшку цепочкой обвит...
Маяковский
в угол
крупного режет,
а тот ему под руку
говорит:
«Опускайся на дно,
понапрасну сил,
дорогуша моя,
не трать!»
Маяковский
плечом его отстранил
и продолжает играть.
«Ну, такого не сделать ему
нипочем!
Это вам —
не стишки писать!»
Маяковский
оттер его вновь плечом
и опять продолжает играть.
Наконец,

когда случилось рядом
стать,
как будто видя в первый раз,
Маяковский
кинул сверху взглядом,
за цепочку взял его,
потряс...
Застыл остряк
с открытым ртом:
«Златая цепь на дубе том!»

Пишут,
бодрясь от вздыбленных слов,
усилием морща лоб,
и мелких статей
небогатый улов
бумажным венком — на гроб.
Что есть,
что нету их —
всё равно:
любительское дрянцо.
А лучше всех его помнит
Арнольд —
бывший эстрадный танцор.
Он вежлив, смугл, высок, худощав,
в глазах — и грусть и задор;
закинь ему за спину
край плаща —
совсем бы тореадор.
Он был ему спутником
в дальних ночах;
бывают такие —
неведомы
в людской телескоп,
а небесный рычаг
их движет
вровень с планетами.
Он помнит
каждое слово и жест,
живого лица выражение.
Планета погасла,

а спутник — не лжец —
еще повторяет движение.

Собрались однажды
любители карт
под вечер на воле
в Крыму.
И ветер,
как будто входя в азарт,
сдувал
все ставки
к нему.
Как будто бы ветром —
счастья посыл
в большую его ладонь.
И Маяковский,
довольный, басил:
«Бабочки на огонь!»
Азарта остыл каленый нагрев;
на море — и тишь и гладь;
партнеры
ушли во тьму, озверев...
«Пойдем, Арнольд, погулять!»
— «Пошли!»
— «Давай засучим штаны,
пошлепаем по волне?»
— «Идет!» — И вдаль уходят они
навстречу тяжелой луне.
Один высок,
и другой высок,
бредут — у самой воды,
и море,
наплескиваясь на песок,
зализывает следы...
Вдруг Маяковский
стал, застыв,
голову поднял вверх.
В глазах его
спутники с высоты
отсвечивают пересверк.
Арнольд задержался
в пяти шагах.

Спит берег, и ветер стих.
Стоит, наблюдает,
решает: «Ага!
Наверное, новый стих?»
Вдруг до них
из дальней дали,
лунной ленью залитой:
«Мы на лодочке катались,
золоти-и-стый, золотой!»
Где-то лодка в море чалит,
с лодки — голос молодой,
и тревожит и печалит
эта песня над водой.
И сама влетает в уши:
«Золотистый, золотой!» —
и окутывает душу
в свежий вечер теплотой.
И молчим мы
или спорим, —
замирая вдалеке,
всё плывет она над морем,
не записана никем.
Маяковский
шел под звездным светом,
море отражало небеса.
«Я б считал себя
законченным поэтом,
если б смог
такую
написать».

Всё так же поют
соловьи в Крыму,
которых не услыхать ему.
Всё те же горы
в сизом дыму,
которых не оглядеть ему.
Иудино дерево цветет,
розовое от пен.
А он под ним
никогда не пройдет,

отгрохотав,
отпев.
И столько новых
людей родилось,
что всех их
взглядом не охватить,
с которыми в жизни
не удалось
ни познакомиться,
ни пошутить.
А он —
с самим Ай-Петри шутил,
гудки пароходные понимал
и с самым жарким из наших светил
густой настой земли распивал.
И столько новых
событий и дел
построилось в мировой парад.
И без него,
крутясь, прогудел
над Барселоной первый снаряд.
И новые пчелы
несут свой мед,
и новые змеи
копят свой яд.
Но знает Земля,
что свое возьмет
над счетом горечей
и утрат.
Над синевой
углубленных рек,
над глубиной
плодоносных руд —
настанет он,
непреложный век,
где будет
сладок
и пот и труд!
Наступит он
со всей полнотой,
чей облик
нам лишь по песне

знаком,
кого мы звали:
«Приди, золотой!» —
своим пересохнувшим языком.
И голос-сокол
сойдет на низы,
неискореним и непобедим.
И мы его снова
услышим вблизи
совсем нерастраченным
и молодым.

КОСОЙ ДОЖДЬ

А зачем
любить меня Марките?!
Маяковский, «Домой!»

Мы все
любили его за то,
что он не похож на всех.
За неустанный его задор,
за неуемный смех.
Тот смех
такое свойство имел,
что прошлого
рвал пласты;
и жизнь веселела,
когда он гремел,
а скука
ползла в кусты.
Такой у него
был огромный путь,
такой ширины шаги, —
что слышать его,
на него взглянуть
сбегались друзья и враги.
Одни в нем видели
остряка,
ломающего слова;
других —

за сердце брала строка,
до слез горяча и жива.

Вот он встает,
по грудь над толпой,
над поясом всех широт...
И в сумрак уходит
завистник тупой,
а друг
выступает вперед.
Я доли десятой
не передам,
как весел и смел его взгляд;
и — рукоплесканье
летит по рядам
строке,
попадающей в лад.
Ладони бьют,
и щеки горят...
Еще ли — усмешка коса!
За словом —
слова тяжелый снаряд
летит, шевеля волоса.
Советский недруг,
остерегись,
попятившись,
кройся вдаль, —
так страшно
голоса нижний регистр
надавливает педаль.
Всё шире плечи,
прямей голова,
всё искристее глаза...
Еще,
и еще,
и еще наплывай,
живительная гроза!
И вдруг —
как девушку
нежной рукой —
обнимет веселой строкой.
А это —

надобно понимать,
как девушек обнимать.

Он их обнимал,
не обижая,
ни одной
не причиняя зла;
ни одна,
другим детей рожая,
от него обид
не понесла.
Он их обнимал
без жестов оперных,
без густых
лирических халтур;
он их обнимал —
пустых и чопорных,
тоненьких
и длинноногих дур.
Те, что поумней
да поприглядистей,
сторонились:
не шути с огнем!
Грелись
у своих семейных радостей,
рассуждая:
«Нет уюта в нем!»

Что б из них
додуматься какой-нибудь
кинуться на шею
на века!
Может бы,
и не пришлось покойнику
навзничь лечь
на горб броневика.
Нет,
не кинулись.
Толстели,
уложив в конце концов
на широкие постели
мелкотравчатых самцов.

Может,
и взгрустнет иная,
воротясь
к себе домой,
давний вечер
вспоминая,
тайно от себя самой.
Только
толку в этом мало —
забираться в эту глушь...
Погрустила
и увяла:
дети,
очереди,
муж.

Нет!
Ни у одной
не стало смелости
подойти
под свод крутых бровей;
с ним одним
навек остаться в целости
в первой,
свежей
нежности своей.
Только ходят
слабенькие версийки,
слухов
пыль дорожную крутя,
будто где-то
в дальней-дальней Мексике
от него затеряно дитя.

А та,
которой он всё посвятил,
стихов и страстей
лавину,
свой смех и гнев,
гордость и пыл, —
любила его
вполовину.

Всё видела в нем
недотепу-юнца
в рифмованной
оболочке:
любила крепко,
да не до конца,
не до последней
точки.

Мы все любили его
слегка,
интересовались громадой,
толкали локтями его
в бока,
пятнали
губной помадой.
«Грустит?» —
любопытствовали.
«Пустяки!»
«Обычная поза поэта...»
«Наверное,
новые пишет стихи
про то или про это!»
И снова шли
по своим делам,
своим озабочены бытом,
к своим постелям,
к своим столам, —
оставив его
позабытым.
По рифмам дрожь —
мы опять за то ж:
«Чегой-то киснет Володичка!»
И вновь одна,
никому не видна,
плыла любовная лодочка.
Мы все любили его
чуть-чуть,
не зная,
в чем суть
грозовая...
А он любил,

как в рога трубил,
в других аппетит вызывая.
Любовью —
горы им снесены;
любить —
так чтоб кровь из носу,
чтоб меры ей не было,
ни цены,
ни гибели,
ни износу.

Не перемывать чужое белье,
не сплетен сплетать околесицу, —
сырое,
суровое,
злое былье
сейчас под перо мое просится.
Теперь не время судить,
кто прав:
живые шаги его пройдены;
но пуще всего
он темнел,
взревновав
вниманию
матери-родины.

«Я хочу
быть понят моей страной,
а не буду понят, —
что ж,
по родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь».

Еще ли молчать,
безъязыким ставши?!
Не выманите
меня на то.
В стихах его
имя мое —

не ваше —
четырежды упомянуто.
Вам еще
лет до ста учиться
тому,
что мне
сегодня дано;
видите:
солнце
вовсю лучится,
а петушок уж пропел
давно!

Страна работала
не покладая рук,
оттачивала
острие штыка
и только изредка
вбирала сердцем звук
отважного,
отборного стиха.
Страна работала,
не досыпая снов,
бурила, строила,
сбирала урожаи, —
чтоб счастьем пропитать
всю землю до основ,
от новых городов
по древние Можаи.

Ей палки впихивали
в колесо
подъемного в гору движенья;
то там,
то здесь появлялось лицо
зловещего выраженья.
И желчный,
сухой,
деревянный смешок,
и в стеклышках —
тусклые страсти,
и трупный душок:

всю Россию в мешок —
лишь нам бы
добраться до власти.
Лицо это,
тайно дробясь и мельчась,
клубилось
в размноженном скопе:
то разом оно возникало,
то часть
его повторявшихся копий.
В нем прошлое
брать собиралось реванш
у нового
лозунгом злобным:
«Разрубим ребенка!
Не ваш и не наш!
Уйдем,
но — уж дверью-то хлопнем!»
Да, дел было пропасть.
Под тенью беды
куда уж там слушать «Про это».
Мутили ряды,
заметали следы
фигуры защитного цвета.

И вот,
покуда — признать, не признать? —
раздумывали, гадая,
вокруг него
поднималась возня
вредителей и негодяев.
«Кого?
Маяковского?!
Что за птица?» —
кривой усмешкою меряя...
Стихом к тупице
не подступиться —
слюной кипит в недоверии:
«Да он недоступен
широким массам!
Да что с ним Асеев
тычется!

Да он подбирался
к советским кассам
с отмычкою футуристической!»
А он любил,
как дрова рубил,
за спину
кубы отваливая;
до краски в лице,
до пули в конце
вниманье стиху вымаливая.

Как медленно
в гору
скрипучий воз
посмертной тянется славы!..
Обоз обгоняя,
взвиваю до звезд
его возносящие главы.
Мотор разорвется,
быть может,
в куски:
штормами
его укачало.
Но прошлого тропы
движенью — узки:
конец — означает начало.

ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО

Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place de la Concorde.

Маяковский, «Город»

Нет, не она,
не площадь Согласия,
стала его настоящей женой,
и не в ее фонарей желтоглазие
сердце расплавлено и обожжено.
Другая,
глазу привычней и проще,
еще не обряженная в гранит,
еще в лесах строительных

площадь
имя его несет и хранит.
Когда на троллейбусе
публика едущая
услышит надсадный
кондукторшин крик:
«Площадь Пушкина,
Маяковского — следующая!» —
поймешь,
как город к нему привык.

Как стал он вхож
в людские понятья!
Как близок строчкой,
прям и правдив!
Ведь ни по приказу,
ни на канате
к себе не притянешь,
сердца обратив...
Читая,
начнешь стихи его путать —
сейчас же
сто голосов —
на подсказ! —
как будто
не я,
а они
как будто
встречались с ним
по тысяче раз.

Ведь это
не выдумка барда бахвальная:
вот этот асфальт,
и эти огни,
и площадь —
не старая Триумфальная,
и — с Пушкиным рядом
встали они!
И всё повседневней,
всё повсеместней
становится —

миром
его родня.
Сюда он шагал
с Большой своей Пресни,
с шагов своих первых,
с мальчишьего дня.
Сюда по Садовым,
по Кудринским вышкам,
по куполам твердых
булыжных мозгов,
по снежным подушкам,
по жирным одышкам —
широких шагов
направлял он разгон.

Она
Маяковского площадью
названа;
не очень еще ее пышен уют;
и много народа, самого разного,
ее заполняют, толкутся, снуют.
Еще не обрушены
плоские здания,
но уже тем она
хороша,
что — въявь пределы ее
стародавние
раздвинула
новых привычек душа.
Две буквы стоят
квадратные, стро́чные,
как сдвоенный вензель печати ММ,
как плечи широкие,
крепкие,
прочные
у входа —
открытого всем, всем, всем.
Москвы в нутро
ведет метро;
один вагон,
другой вагон;
а он на нем

не ездил;
не видел он
стальных колонн,
подземных ламп —
созвездий.

И — глянешь в пролет
обновляемых улиц:
не тень ли метнулась
широкой полы?
Не эти ли плечи
с угла повернулись?
Не шляпой ли машет
он издали?
Он здесь.
Он с нами
остался навечно.
Ему в людской густоте —
по себе.
Он — вон он — шагает,
большой и беспечный,
к своей неустроенной
славной судьбе!

Как он шагал,
как проходил,
как пробивался Москвою
шагом широким,
шагом большим —
крупной походкой мужскою.
Ботинки номер сорок шесть!
Другим — вдвоем бы можно влезть
и жить уютно в скинутом,
согнув дугою спину там.
А он — не умел сгибаться дугою,
он весь отличался
повадкой другою, —
шагал,
развернувши
тяжелые плечи,
высокой походкою
человечьей.

И после каждого
его шага
метелью за ним
завивалась сага.

Однажды мы выехали
с Оксаной
вдвоем из гостей
по дорожке санной...
А он рядком
зашагал пешком,
подошвы печатая
свежим снежком.
Тогда еще в моде
извозчики были
и редко работали
автомобили.
Возница на клячу
чмок да чмок
и всё же его
обогнать не смог.
И нас
на полсажня опередя,
дорогу под носом
у нас перейдя,
он стал
и палкой нам отсалютовал,
дескать: «Привет!
До свиданья! Покудова!»

И в этом жесте
мальчишеском, гордом,
который движенье и радость таит,
хотел бы я,
чтоб стал он
над городом,
как в памяти нынче в моей
он стоит.
Стоял,
весельем
и силою вея,
чтоб так бы его

наблюдала толпа:
в пальтишке коротеньком
от Москвошвея,
в шапчонке,
сбитой к затылку со лба.
Вот так,
во всем и везде
впереди, —
еще ты и слова не вымолвишь, —
он шел,
за собой увлекая ряды,
Владимир Необходимович!

Но мысли о памятнике —
пустые.
Что толку,
что чучело вымахнут ввысь?!
Пускай эти толпы
людские густые
несут его силу,
движенье
и мысль.
Пока поток
не устанет струиться,
пока не иссякнет
напор буревой,
он будет в глазах
двоиться, троиться,
в миллионные массы
внедряясь живой.
На Мехико-сити,
в ущельях Кавказа,
в протоках парижского сквозняка —
он будет повсюду
в упор, большеглазо,
строкою раскручиваясь,
возникать.
И это —
не окаменелая глыба,
не бронзовой маски
условная ложь,
а вечная зыбь

человечьих улыбок,
сердец человеческих
вечная дрожь!

ЭПИЛОГ

Сегодня
с дерев срываются листья,
и угол меняет
земная ось,
и лес
как шуба становится лисья —
продут
и вызолочен насквозь.
И в свисте
этих порывов грубых,
что мусорный шлейф
подымают, влача, —
писатель
задумывается о шубах
и прочем отребье
с чужого плеча.
Писательство —
не искусство наживы,
и зря нашу жизнь
проверять рублем.
При этом
всплывут —
которые лживы,
потонут —
кто в строчку до слез влюблен...

А впрочем,
к чему предъявлять обвиненья, —
нужны организму
и нервы
и слизь.
Страна была — светом,
они были — тенью,
а свету без тени
не обойтись.
Пускай существуют,

меня не тревожа,
и если
о них я теперь и пишу, —
крепка моя сила,
груба моя кожа, —
я землю
для будущего пашу.
Чтоб новая
радостная эпоха —
отборным зерном человечьим
густа —
была от бурьяна
и чертополоха
обезопашена
и чиста.
Чтоб не было в ней
ни условий,
ни места
для липких лакеев,
ханжей
и лжецов,
для льстивого слова,
трусливого жеста;
чтоб люди людей —
узнавали в лицо.
Чтобы Маяковского
облик веселый
сквозь гущу веков
продирался всегда...
Им будет —
я знаю! —
Земли новоселы,
какая-то названа
вами
звезда.

1936—1939

ЗНАМЕНОСЕЦ РЕВОЛЮЦИИ

Чем дальше вглубь
уходят года, —
острей очертания лет, —

тем резче видишь,
какой он тогда
был
и остался
поэт!
Не только роста
и голоса сила,
не то,
что тот или та
влюблена, —
его
на вершине своей
выносила
людского огромного моря
волна.
Он понимал
ее меры могучесть;
он каплей в море был, —
но какой! —
стране поручив
свою звонкую участь,
свой вечно взволнованный
непокой.

Стихи до него
посвящались любви,
учили
любовные сцены вести.
А он,
кто землю б
в объятья обвил,
учил нас
высокой ненависти!
Ненависти
ко всему,
что на месте стало,
что в мясо
когтями вросло,
что новых страниц бытия
не листало,
держась
за прочитанное число.

Ненависти
ко всему,
что реваншем
грозило
революционной борьбе,
что в лад подпевало
и нашим и вашим,
а в общем итоге
тянуло к себе.
Зато и плевал он
на всё прописное,
на всё,
чем питалось
упрямство тупиц.
Его бы нетрудно поссорить
с весною,
за вид ее общепримерный
вступись!
Скривил бы губу он:
«Цветочки да птички?
В ежи готовитесь?
Иль в хомяки?
Весенние
тех привлекают привычки,
чьи не промокают в воде
башмаки!»

Ему
революции
были по нраву.
Живи —
он бы не пропустил
ни одной;
он каждой бы стал
знаменосцем по праву,
народным восстаниям
вечно родной.
Он был бы
с рабами восставшими Рима;
дубину взвивая,
глазами блестя,
он шел бы упорно

и непокоримо
на рыцарей
в толпах восставших крестьян.
С парижскими
сблизился б
санкюлотами,
за спины б не скрылся,
в толпе не исчез, —
пред Тьера огнем
озмеенными ротами,
он был погребен бы
на Пер-Лашез.
И снова
под знойною Гвадалахарою,
в атаке пехоты на Террихон
восстанию верность
и ненависть ярую
на белых,
возникнув,
обрушил бы он.
Он был бы
отборных слов
полководцем
в Великой Отечественной войне;
он нашим
везде помогал бы бороться,
фашистам
ущерб наносил бы вдвойне.
Чтоб вновь,
вдохновляя
к победе влеченьем,
звучало зовущее слово:
«Вперед!»
Чтоб вырос
в своем величавом значенье
советского времени патриот.

Но что говорить
о том,
что бы было, —
он зова не слышал
тревожной трубы;

военное время
еще не трубило,
а шло исступленье
безмолвной борьбы.
«Идиотизм деревенской жизни...» —
великая мысль
этих яростных слов!
Вот в этом
кулацком идиотизме
немало запуталось
буйных голов.
У них песнопевцем
считался провитязь,
мужицкого образа
изобразист,
стихи обернувший
в березовый ситец,
в березах
укрывший
разбойничий свист.
Против Маяковского
выставлен в драке,
кудрями потряхивал,
глазом блистал,
в отчаянной выхвалке забияки
корову
подтягивал на пьедестал.
«Бессмертна
мужицкая жисть,
и, покуда
заветам отцов
она будет верна,
достанет и браги
у сельского люда,
и хлеба, и сена,
икон, и зерна...»
И, вкусам кулаческим
втайне радея,
под видом естественности
и простоты,
готовила
старой закваски

Вандея
обрезы, обломы,
кнуты и кресты.
Они,
в Маяковском почуя преграду,
взрывали петарды,
пускали шутих:
«Да он моссельпромщик!
Да ну его к ляду!
Он классики строгой
коверкает стих!..»
Так банда юродствующих
орала,
хлыстовски кликушествуя
о былом,
но, как их досада
ни разбирала,
они,
а не он,
обрекались на слом!

А он
доверял коммунизму свято.
Коммуна
к нему обращалась
на «ты»!
Не фраза,
не вызубренная цитата, —
живые
ее наблюдал он черты.
С ней близкою встречею
озабочен,
не в блеске парадов
и мраморных зал,
он памятник строил
курским рабочим,
он голос рабочих Кузнецка
слыхал.
По всем безраздельным
советским просторам —
и в жгучих песках,
и в полярных снегах —

он шагом гиганта,
упрямым и спорым,
хотел
в скороходах пройти сапогах.
Он ездить любил,
и летать,
и плавать;
он вихрился в поезде,
мчался в авто!..
Ни в чью
тихоходную,
мелкую заводь
его заманить
не сумел бы никто.
Огромны мечты,
беспредельна фантазия!
На стройке заводов,
дворцов,
автострад,
по вышкам строительства
яростно лазая,
он стих на подмогу
расплавить был рад,
чтоб строчки сверкали,
по-новому ярки,
чтоб слышал их даже
кто на ухо туг,
чтоб пламя стихов
электрической сварки
любую деталь
освещало вокруг!
Он рад был
новой рабочей квартире,
леченью крестьян
в Ливадийском дворце,
всему,
что в советском прибавилось мире,
что рвалось вперед
в человеке-творце.
Он знал,
в чем сила народа-героя,
он чувствовал,

кто встает, величав,
в партийном содружье
советского строя,
в заветах Владимира Ильича.
И эти заветы
в последней поэме
без всякой напыщенности и лжи —
под марш пятилеток:
«Вперед, время!» —
простым языком
он сумел изложить.
И эти заветы
реальностью стали,
когда их
из планов, наметок и схем
года пятилеток
конвейером гнали
и сделали ныне
наглядными всем!

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Ко всему
прилагая советскую мерку,
он,
как сказочный,
созданный им же
Иван, [1]
по-хозяйски
обмерить и взвесить Америку
перемахивает океан.
Океан ему нравится:
правильный дядя,
от кудрей белопенных
до донных пят;
и ложится строкой
в боевые тетради:
«...Моей революции
старший брат».
Океан —

[1] В поэме «150 000 000».

он в трудах непрестанно,
бессменно...
Он плюет на блистанье
зеркальных кают,
и его
никоторые бизнесмены
Атлантическим пактом
не закуют.
С океаном
не раз им
беседовать запросто.
Океанского голоса
рокот и гром,
рев его несмиримости,
вечности,
храбрости
повторен Маяковского
вечным пером.
Океанский простор
пароходами вспахан;
волны — с дом:
слез с одной —
на соседнюю лезь.
Но
от приторно-постной
шестерки монахинь —
подступает морская болезнь.
Верхогляду
они только шуткой покажутся,
католическо-римской
смиренной икрой,
но в чертах лицемерия,
тупости,
ханжества
проступал уже
американский покрой.
Но еще не видать
воротил с Уолл-стрита:
пароход невелик,
пассажир — середняк.
И еще за туманом
Америка скрыта.

Маяковский с ней встретится
только на днях.

Путь к концу...
И уже, начиная с Гаваны,
потянуло удушливо сладким
гнильем:
то ли дух переспелый
ананасно-бананный,
то ли смрад от господ,
принимающих ванны,
прикрывающих плоть
раздушенным бельем.
Здесь,
какие бы дива
его ни дивили
и какой бы природа
цветной ни была, —
из-за пальм и бананов
увидел он Вилли,
у которого белым
разбита скула.
Черной с белою костью
приметил он схватку.
Как бы мог он
за негра
ударить в ответ!
Как лицо это наглое
мог бы он — всмятку!
Но нельзя:
дипломатия,
нейтралитет!

От Гаваны отчалили,
двинулись к Мексике...
«Раб», «лакей», «проститутка» —
гнилые слова,
уж давно потерявшие смысл
в нашей лексике,
здесь
опять предъявляют
свои права...

Трап опущен,
он сходит с борта парохода.
Всё чужое,
такое,
к чему не привык:
непохожи дома,
незнакома природа,
непонятны поступки,
несроден язык.
Мексиканские
широкополые шляпы,
плавность жестов,
точеность испанистых лиц...
Но повсюду Америки
тянутся лапы,
пальцы цепких концернов
в природу впились.
Дни ацтеков,
земля их забытых владений,
первобытной общины
уплывших веков...
Поезд мчится
меж кактусовых привидений,
южных звезд
и, как звезды,
больших светляков...
Ночь в вагоне.
Ларедо.
Подъезжаем к границе.
После долгих формальностей
визы даны.
Впереди
впечатлений пред ним
вереница,
но сгибается болью
и гневом страница
за индейцев —
исконных хозяев страны.
Спросят:
«Разве вы ездили с ним?»
Без отсрочки
объяснюсь:

«Да, ездил,
как еду сейчас!
Много лет
мне его дальнолетные строчки
помогают стремиться,
по времени мчась».

Наконец Маяковский
в стошумном Нью-Йорке.
На Бродвее светло —
электрический день.
А в порту,
подбирая окурки да корки,
безработицы клонится
тощая тень.
За границу езжали
и ранее наши;
приходили в восторг
от технических благ:
дескать, нету продукции
крепче и краше,
кроме той,
над которой Америки флаг.
Маяковский
глазами смотрел
не такими:
«Да, промышленность янки
наладить сумел,
выжимающую
потогонными мастерскими
соки прибыли
из человеческих тел».
Каждый шаг,
каждый миг
здесь на центы рассчитан.
Маяковский
грядущему
смотрит в лицо:
«Здесь последний оплот
безнадежной защиты
воротил капитала
и темных дельцов!»

И в конвейере шумов
без пауз,
распрямившись
во весь свой рост,
озирает он
Билдинг-хауз,
одобряет
Бруклинский мост.
Но куда бы ни поглядел он
и чего б ни привел
в пример:
«Это всё
может лучше быть сделано
и разумней
в СССР».
Он на фордовских
мощных заводах,
на рекламнейшем из производств,
где рабочим
в мертвецкой лишь отдых:
измотался —
к реке и — под мост!
Негры, шведы,
бразильцы, евреи...
Кто и как тут
друг друга поймет?
А надсмотрщик:
«Скорее!
Скорее!
Торопитесь!
Дело не ждет!»
Может, встретятся строчки
нежней и любовней
у поэтов,
поющих поля и леса.
Но страшней и короче
чикагские бойни
никогда никому
не суметь описать.
Он приметил
усталые лица,
черно-синие впадины глаз, —

как он мог
с этой жизнью смириться,
угнетенный
и преданный класс?!
Здесь свинцовый оттенок
впитала
кожа хмуро опущенных век.
Анонимного капитала
обезличенный раб —
человек!

Маяковский
сказал свое мненье:
«Нет!
Америка эта —
не та!
Делать деньги —
одно их стремленье,
их единственная мечта.
Не затем каравелла Колумба
подымалась
с волны на волну,
чтоб отсюда
бесстыже и грубо
экспортировали войну.
Пусть же
Морганы и Дюпоны,
придавившие горы горбов,
не рассчитывают на законы,
защищающие от рабов».
Ни фотоэлементов услуги,
ни дворцов их эйр-кондишен
не спасут
от кризисной вьюги,
если
весь их строй никудышен.
Перехлынет терпения мера,
швед бразильца и негра
поймет,
и дворца архимиллиардера
не сумеет спасти
пулемет.

В их зимних садах,
среди роз и левкоев,
придут опросить их,
побеспокоив;
придут,
чтоб сказать им
сурово и веско:
«Вам в суд всенародный
явиться —
повестка!
За то,
что, бессмысленно жадны
и лживы,
вы мир предавали
во имя наживы».
— «Кто ж судьи?» —
нас спросят.
Ответим, кто судьи:
«Те судьи —
простые Америки люди.
Кто избран
народною волей
единой.
Кто был присуждаем
судьею Мединой.
Двенадцать рабочих вождей
неподкупных,
пред кем столбенеет,
потупясь, преступник».
— «К чему ж их присудят?»
— «Не знаю,
не ведаю.
Я занят сейчас —
С Маяковским беседою.
На это бы
только он сам и ответил.
Ведь чистку такую
когда он наметил!
Великое он
завещал нам событие:
Америки новой
второе открытие!»
1950

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

52

Избрань
После строфы 4

То будет крик, то будет весть,
То будет взор твой синий цвесть,
То через темные века
В моей твоя блеснет рука.

71

Совет ветров
Вместо строф 3—5

Его не снесете в чеканном кивоте,
Не станете сладостно петь аллилуйя,
Он встанет пред вами в смертельной зевоте,
На раку кровавыми сгустками плюя.

Все, все, кого мучили, кости ломая,
Жгли в топках, давили и рвали клещами,
Подымутся на руки первого мая,
И красными мир обнесется мощами.

Руки трубой приложив ко рту,
Ору сестре — пароходной сирене,
Чтоб в каждом, чумой зараженном, порту
Она разнеслась дуновеньем сирени:

«Сегодня кончаются праздники лени,
Мы сами обуглены в жертвенном дыме,
И если сегодня преклоним колени,
То только пред нашего века святыми».

Избрань
Вместо строф 3—4

И в новое небо пропеллером ввинчен,
Собою засеет он синюю пустошь,
С тобою, с тобой мое звонкое нынче,
В твой рай трудовой я войду, если пустишь.

75

ТАЙГА

«Дальневосточное обозрение», Владивосток, 1918, 18 декабря

Раскалились в руках винтовки,
не успеют дула остыть,
и опять на изготовке
обивать у деревьев листы!

Сумасшедшие! Что вы сделали?
Ведь они приросли к рукам!
Оторвется живое тело ли,
Улетая под облака?

Или так же, стреляя пачками
И оттуда векам грозясь,
Будет облака перепачкивать
В пороховую грязь?

До сих пор небеса синели,
Выгибая солнечный мост,
А теперь к его серой шинели
Прикрепили пуговки звезд.

Этот гром барабаном грохочет.
Этот мир — стал надгробный плач,
А над ним, приседая, хохочет
Закровавивший бельма палач!

76

Бомба
Вместо строф 5—8

Но вновь — с колоколен
Красный звон,
И каждый — доволен
И сам не свой.

И в красные веки
Бессонных ночей
Вливаются реки
Моих кумачей!

82

Памяти лет
Вместо строф 3—6

Нет на свете выше воли,
чем на этих гребнях,
нет на свете краше доли
слов тебе хвалебных.

Ты с верховьев начиналась
звонкими ключами
и в низовье разблисталась
жаркими парчами.

Атаман Степан с тобою
связан был судьбою,
на зубастых псов царевых
шел тобою к бою!

А за ним летели струги,
поднимая вести,
то, опившись волей, други
распевали вместе.

84

С-1, т. 1
После
строфы 7

Чтоб была строка твоя верна, как
Сплющенная пуля Пастернака,
Чтобы кровь текла, а не стихи —
С Нарбута отрубленной руки...

88

Совет ветров
Вместо
строфы 2

И от ночного рубежа
Шар отвалился огнелицый,
И гул и трепет пробежал
По навзничь падавшим столицам.

104

Разнолетье
после
заключитель-
ных строк

Рабочий!
Узнай, как враг
жесток,
и песню
с жизнью сличи:
в товарищей —
пущен
смертельный ток.
И —
живы еще
палачи!

133

Молодые стихи
После 9

Под раскаты джаза,
свисты скрипок,
под концерт
международных нот —
эпидемией
гнилого гриппа
из столетий
погреба пахнет.

И встает, как встарь
и слеп
и робок,
и дрожит,
как в бурю —
тень листа,
перед мелкой силою
микроба
человечий
потрясенный стан.
И пока
ты хочешь постараться
ощутить и день
и облик наш, —
пред тобой,
как смена декораций,
сразу
изменяется пейзаж.

После 17

Начинают
бредить
и возиться,
в памяти
суставами хрустеть —
недопытанные
инквизицией
братья их
и жертвы во Христе...

147

Молодые стихи
После 59

Что нами
не владели
раздумье
и расчет,
что мы
не охладели
и до сих пор
еще!
Что нас
вздымал и двигал
безудержный
восторг
без выслуг
и без выгод —
простор,
простор,
простор!
Простор
шагов и песен,
простор
машин и книг,

морей
      и поднебесий,
доступных
            каждый миг.
Простор
         людей и зданий
без стражи
            и границ,
что мы его
            достанем,
клянись,
         клянись,
               клянись.

149

С-1, т. 2
После 36

Где без всяких вымыслов
и выдумок
много снизу дел идет
невидимых,
где углами сумрачными
тычется
быстрое, как юность,
электричество,
где, со всех сторон
сходясь из округа,
тучи — край крыла
вздымают мокрого.
И горят неведомыми,
странными
громовыми огненными
ранами.

155

Избр. 1953,
т. 1
После 76

Но, небо в свидетели призывая,
смотрите, как грозно сверкают зарницы,
следите, как туча растет грозовая:
терпенье народа имеет границы!

162

〈БАБКА〉

«Земля
и фабрика»,
кн. 1, Л., 1928,
в качестве
окончания
стих.
«Дед и бабка»

Бабка розовою была,
бабка
         иволгою плыла.
Из далекого,
               из веселого,
из зажиточного села.

Бабка ласковою была,
бабка
радугою цвела,
пирогами
да рукодельями
знаменита
и весела.
Свеж и чист
у старухи рот,
синь и быстр
у проворной глаз,
станет
сказывать —
дрожь берет, —
словно
вышивкой
шьет атлас:
— В дальних странах,
в чужом краю
люди ищут
судьбу свою,
я ж
кладу ее при тебе
под подушкою
в колыбель.
Будет жалиться —
не держи,
не нуди ее
жить силком,
расцветает пускай
во ржи
синеватеньким васильком! —
Бабка розовою была,
бабка иволгою плыла,
над грядами
да огородами
бабка радугою цвела.
Был у иволги
серый день,
села радуга
в тучу-тень,
дед
охотницкими шагами
перешагивал за плетень.

164

Автограф
После 54

То, что думал город Щигры,
то же ведали в Обояни.
И у Рыльска острили ум, —

чтобы, как у людей, не хуже,
общепринятое у Сум
повторялось точь-в-точь и в Судже.
Что отметил старый Оскол,
примененье нашло в Путивле,
чтобы крепко стоял престол,
чтоб его новизной не смутили.
Ибо — всем Петербург глава
и опасно умов броженье,
те же жесты, движенья, слова,
то же среднее лиц выраженье.

Автограф
После 72

Я их слышу так близко окрест,
точно щелк у меня из кармана.
Таково описание мест,
где кладется завязка романа.

187

Автограф
После
строфы 2

Так оно и сталось и случилось,
Точно как написано сбылось,
В реденькую мреть заморосилось,
Легкою поземкой замелось.

193

Автограф
Перед
строфой 1

Поговорим о простых вещах:
об овощах,
кипящих в щах, —
о хлебных злаках,
о хлеба куске,
о жизни, висящей
на колоске...
Мы с тобой тоже,
мое сокровище,
в общем борще
кипящие овощи!

236

«Литературная Россия», 1966, 16 сентября, с. 10
Вместо 13—20:

Поэтому
двусмысленно и горько,
Кто б ни был ты —
поэт,
пророк,
творец —

звучит для вас
людская поговорка:
конец —
делу венец!

263

Автограф После строфы 4

Искусство стоит у порога,
Его окликают сердито,
А Общему Месту дорога
Всегда и повсюду открыта.

267

Автограф

ДУША ЦВЕТОВ

Цветами не надышаться,
Не насмотреться на них;
Губами к розе прижаться —
Действительно девы двойник.

Я, может быть, слишком увлекся,
Людское к цветам применя,
По-девичьи стройные флоксы
Дыханием манят меня.

И астры — земные звезды,
И жертвенный жар георгин,
И полон разнеженный воздух
Дыханием их сердцевин.

Цветы, они не бездушны,
Упорно и страстно дыша,
В осеннее небо послушно
От них отлетает душа.

274

«Литература и жизнь», 1960, 30 ноября После строфы 6

Не отвечая на поклепы,
Он взгляд единый устремлял —
Не для спасения Европы, —
За башни древнего Кремля.

Он уступал врагов насилью,
Событий дальних видя ход:
Отдав Москву, спасал Россию,
Спасал от гибели народ.



ПРИМЕЧАНИЯ

Литературное наследие Н. Н. Асеева очень велико. При жизни поэта вышло около ста его книг. В настоящем издании представлены лучшие и наиболее характерные из его произведений.

Произведения Асеева печатаются в последней редакции по тем изданиям, где текст этой редакции впервые окончательно установился. В большинстве случаев источником текста является «Собрание сочинений в пяти томах», вышедшее посмертно (1963—1964). Для этого издания поэт заново пересмотрел все свои произведения. В ряде случаев он вернулся к ранним редакциям, последовательно убирая наслоения, возникшие при многочисленных и разновременных переизданиях. (Это возвращение к ранним редакциям отмечается в примечаниях к настоящему сборнику.) При выборе источника текста для каждого произведения принимались во внимание не только словесные изменения, но и изменения интонационного и ритмического рисунка данного произведения, отразившиеся на его графике.

В сборнике два основных раздела: «Стихотворения» и «Поэмы». Все произведения расположены в хронологическом порядке, согласно авторской датировке в «Собрании сочинений в пяти томах». В тех случаях, когда авторская датировка явно ошибочна, произведения датируются по первым публикациям (авторская датировка в этих случаях указывается в примечаниях).

Наиболее значительные, как правило ранние, редакции и варианты приводятся в соответствующем разделе. Те произведения, к которым имеются материалы в разделе «Другие редакции и варианты», отмечены в примечаниях звездочкой.

В примечаниях указаны первая публикация каждого произведения, последовательные ступени изменения текста и, наконец, источник, по которому печатается текст. В тех случаях, когда стихотворение не перепечатывалось или перепечатывалось без изменений, указывается только первая публикация. В связи с неразработанностью газетной и журнальной библиографии, первую публикацию некоторых произведений установить не удалось.

В данном издании сделана лишь первая попытка использовать материалы из архива Н. Н. Асеева, хранящегося у его вдовы К. М. Асеевой. Основная часть довоенного архива была уничтожена самим поэтом. Из сохранившихся архивных материалов, еще полностью не разобранных, удалось пока выявить лишь наброски к поэме «Маяковский начинается» и черновики стихотворений, написанных в последние годы жизни Н. Н. Асеева.

Составитель приносит благодарность К. М. Асеевой и В. Ф. Сулимовой за помощь в подготовке данного сборника.

Сокращения, принятые в примечаниях:

Альм. — альманах.
Бомба — Н. Асеев, Бомба, Владивосток, 1921.
Время лучших — Н. Асеев, Время лучших, М., 1927.
Высокогорные стихи — Н. Асеев, Высокогорные стихи, М., 1938.
Зор — Н. Асеев, Зор, М., 1914.
Избрань — Н. Асеев, Избрань, М.—Пг., 1923.
Изморозь — Н. Асеев, Изморозь, М.—Л., 1927.
Избр. 1930 — Н. Асеев, Избранные стихи, М.—Л., 1930.
Избр. 1933 — Н. Асеев, Избранные стихи, М., 1933.
Избр. 1938 — Н. Асеев, Избранные стихи, М., 1938.
Избр. 1947 — Н. Асеев, Избранные стихотворения и поэмы, М., 1947.
Избр. 1948 — Н. Асеев, Избранное, М., 1948.
Избр. 1951 — Н. Асеев, Избранные стихотворения и поэмы, М., 1951.
Избр. 1953 — Н. Асеев, Избранные произведения в двух томах, М., 1953.
Лад — Н. Асеев, Лад, М., 1961.
Леторей — Н. Асеев и Г. Петников, Леторей, М., 1915.
Маяковский — Владимир Маяковский, Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М., 1955—1961.
Молодые стихи — Н. Асеев, Молодые стихи, М.—Л., 1928.
Наша сила — Н. Асеев, Наша сила, М., 1939.
Ночная флейта — Н. Асеев, Ночная флейта, М., 1914.
Оксана — Н. Асеев, Оксана, М., 1916.
Октябрьские песни — Н. Асеев, Октябрьские песни, М., 1925.
Памяти лет — Н. Асеев, Памяти лет, М., 1956.
Пламя победы — Н. Асеев, Пламя победы, Л., 1946.
Поэмы — Н. Асеев, Поэмы, М.—Л., 1925.
Работа над стихом — Н. Асеев, Работа над стихом, Л., 1929.
Раздумья — Н. Асеев, Раздумья, М., 1955.
Разнолетье — Н. Асеев, Разнолетье, М., 1950.
С-1 — Н. Асеев, Собрание стихотворений в трех томах, М.—Л., 1928—1930.
С-1, т. 4, доп. — Н. Асеев, Собрание стихотворений, том IV, дополнительный, М.—Л., 1930.
С-2 — Н. Асеев, Собрание стихотворений, издание второе, исправленное, М.—Л., 1931.
Самые мои стихи — Н. Асеев, Самые мои стихи, М., 1962.
СЛ (1925) — Н. Асеев, Самое лучшее, М., 1925.
СЛ (1959) — Н. Асеев, Самое лучшее, М., 1959.

Совет ветров — Н. Асеев, Совет ветров, М.—Пг., 1923.
СП — Н. Асеев, Стихотворения и поэмы в двух томах, М., 1959.
СС — Н. Асеев, Собрание сочинений в пяти томах, М., 1963—1964.
Стальной соловей — Н. Асеев, Стальной соловей [1-е изд.], М., 1922.
Стихи — Н. Асеев, Стихи, 1912—1955, М., 1957.
Хлебников — Велимир Хлебников, Собрание произведений в пяти томах, Л., 1928—1933.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства. Москва.
ЧКС — Н. Асеев, Четвертая книга стихов. Ой конин дан окейн! М., 1916.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Ночная флейта, с. 14. *Анисимов* Юлиан Павлович (1888—1940) — поэт, переводчик, художник, товарищ Асеева по кружку «Лирика», вместе с Асеевым участвовал в альманахе того же названия. *Лал* — рубин.

2. Ночная флейта, с. 9. *Таракан Пимром* — персонаж одной из неопубликованных сказок Асеева. *Бобров* Сергей Павлович (р. 1889) — поэт, прозаик, стиховед, товарищ Асеева по кружку «Лирика». «В то время я еще дичился Маяковского, опекаемый Сергеем Бобровым, человеком требовательным и ревнивым в литературе. Бобров весьма неприязненно относился к Бурлюку, а Маяковского хотя и признавал за одаренность, но отвергал за «примитивизм»... К Боброву я скоро охладел в своей литературной дружбе, и хотя он много для меня сделал, но уйти от обаятельности Маяковского я уже не смог» (СС, т. 5, с. 654). Бобров написал «Предисловие» к кн. «Ночная флейта», где высоко оценил талант поэта: «Путеводительница Лирика одолжила Асееву свое самое нежное перышко...» (с. 5). Рецензия его на кн. «Леторей» уже содержит оговорки: «Стихи г. Асеева (кроме некоторых переделанных из старых) ясно показывают прогресс стихотворца, однако было бы много лучше, если бы г. Асеев избавился от задавливающего его техницизма и стремления именно к тому шаблонно-ритмичному и соразмерному стиху, который так поносит «Лирень» в предисловии» («Пета», М., 1916, с. 38). Боброву принадлежит также рецензия на кн. Асеева «Бомба» («Печать и революция», 1921, № 2, с. 203—204).

3. Ночная флейта, с. 10. Валерий Яковлевич *Брюсов* (1873—1924) позже высоко оценил Асеева как мастера стиха: «Из стихов В. Маяковского, особенно же Б. Пастернака и Н. Асеева, можно уже вывести определенную теорию новой рифмы. За последние годы эта новая рифма получает все большее распространение, усвоена, например, большинством пролетарских поэтов и покоряет постепенно стихи других поэтов, футуризму по существу чуждых» (В. Брюсов, Избранные сочинения в двух томах, т. 2, М., 1955, с. 499; см. также с. 345, 347). В кружке «Лирика» к Брюсову отношение было почтительное, но уже слегка ироническое. Начиная с кн. «Зор» и «Леторей», его разделяет и Асеев (см. примеч. 20).

4. Ночная флейта, с. 15. *Локс* Константин Григорьевич (1886—1956) — литературовед, педагог, участник объединения «Лирика». *Соборов сумрачное злато.* Имеются в виду Благовещенский, Успенский и Архангельский соборы московского Кремля. *Бармы* — ожерелья на парадной одежде русских князей. *Как грянет в ночь Иван: «Прийди!»* Имеется в виду колокольня Ивана Великого в Кремле.

5. Ночная флейта, с. 16. *Верьер* (франц.) — окно с цветными стеклами. *Восходит тяжко император.* Вероятно, имеется в виду Наполеон I Бонапарт. *И не у тех безумных скал.* Вероятно, имеется в виду остров Святой Елены, место ссылки Наполеона I.

6. Ночная флейта, с. 18. *Кардамон* — растение из семейства имбирных. *Ява* — остров Малайского архипелага. *Таэли* — серебряные украшения, кусочки серебра.

7. Ночная флейта, с. 11. *Станевич* Вера Оскаровна (р. 1890) — поэтесса и переводчица, жена Ю. П. Анисимова, участвовала в первом альм. «Лирика».

8. Ночная флейта, с. 17. Печ. по СС, т. 1, с. 27. *Гектор* — один из центральных героев «Илиады» Гомера, здесь: символ высоких героических стремлений.

9. Леторей, с. 11; С-1, т. 1, без загл. Печ. по СС, т. 1, с. 56, где Асеев вернулся к ред. кн. «Леторей». *Грозува* — гроза, угроза. *Посул* — обещание, ср. посулить. Неологизмы *«любовья», «давьего», «дневьего», «добычит»* близки хлебниковским словообразованиям типа: «любить любовью любязи любят безлюбиц» (Хлебников, т. 4, с. 317), «облачичь, небичь, звездичь, ясничь...» (т. 2, с. 263), «неумь, разумь и безумь — три сестры плясали вместе» (т. 2, с. 264). О Хлебникове см. статью Маяковского «В. В. Хлебников», где он писал: «Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе» (Маяковский, т. 12, с. 28). О поисках Асеевым «своего стиха, своего способа высказаться» см. «Путь в поэзию», с. 57 наст. издания. Сближение с Хлебниковым (1914—1917) открыло для Асеева новые пути словотворчества, о котором он рассказывал в статье «Жизнь слова»: «Глаголы «пить», «лить», «жить», «рыть», поставленные в ряд с глаголом «бить», дают любопытные результаты для сравнения производства слова:

бить — бой, битва, бивень;
пить — питва;
лить — лой, ливень;
жить — зой, житва, жито;
рыть — рытва, и т. д...,

Глагол «лить» не имеет в русском формы «лой»; но в братском украинском от «лить» осталось «лой» — слитое сало. «Жить» имело форму «зой» — род, но утеряло ее из-за отмирания значения слова.

Формообразование «битва» не имеет в письменной речи подобных себе форм от произведенных выше глаголов. Но в народном говоре сохранились и «питва», и «житва», и «рытва»...» (СС, т. 5, с. 451—452).

10. Ночная флейта, с. 23.

11. Ночная флейта, с. 26. Печ. по СС, т. 1, с. 36. *Пастернак* Борис Леонидович (1890—1960) был товарищем Асеева по кружку «Лирика». С предисловием Асеева вышла первая книга Пастернака «Близнец в тучах» (М., 1914). Позже Пастернак писал: «Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришел бы от сестер С<иняковых>, семьи, глубоко и разнообразно одаренной. Я узнал бы в вошедшем: воображение, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической натуры. Я его любил. Он увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. От искусства, как и от жизни, мы добивались разного» (Борис Пастернак, Охранная грамота, Л., 1931, с. 102). Об отношении Асеева к Пастернаку в те годы см. «Путь в поэзию», с. 55 наст. изд. См. также надпись Пастернака на книге «Сестра моя — жизнь», подаренной им Асееву (Борис Пастернак, Стихотворения и поэмы, «Б-ка поэта» (Б. с.), М.—Л., 1965, с. 550, 702). *Терцины* — староитальянская строфическая форма трехстиший; терцинами написана «Божественная комедия» Данте. *Мы пьем скорбей и горести вино.* В «Ночной флейте» было: «горечи вино». Ср. в стих. Пастернака «Пиры» (1914): «Пью горечь тубероз, небес осенних горечь». *Зане* — потому что. *Нудит* — понуждает. *Оратай* — пахарь. *Весь* — деревня, село. *Поднесь* — до сего дня, поныне. *Беатриче* Портинари — рано умершая возлюбленная Данте, которой он посвятил книгу сонетов «Vita nuova» («Новая жизнь»). Одна из главных ее тем — тема вечной жизни, бессмертия. Та же тема — в «Божественной комедии», где Беатриче сопровождает Данте по «Раю». *Довлеет* — здесь: подобает.

12. Ночная флейта, с. 29. Печ. по СС, т. 1, с. 38. *Гончарова* Наталья Сергеевна (1881—1962) — художница. Иллюстрировала сборники и альманахи русских футуристов. Многие ее работы посвящены современному городу. «Послесловие автора» к «Ночной флейте» хорошо передает настроение этого стихотворения: «Вы бродили среди электрических крокусов по звенящим магистралям сказочных улиц, и, в синей верьере неба отраженные, сверкнули вам строгие черты: лик Госпожи Большой Метафоры... Но то было лишь отраженье, лишь отзвук Ее дивной мелодии, раздробившейся на шумы и блестки волшебного города. И ты, каждодневно презиравший асфальт, — помнил ли, что и ты герой когда-то услышанной сказки. И нынче вы видели, как в сизом мареве тумана одиноко неслись черные авто, призывая на помощь; как странные существа тщетно старались убежать из оглобель, как стекленели в черной пустоте

слова торгашей» (с. 30—31). *Знак Фаренгейта* — температура по Фаренгейту.

13. Леторей, с. 11. Печ. по СС, т. 1, с. 55. *Буща* — неологизм от бунь и пуща. *Бунь* — от бунить, гудеть. *Ясовка* — сорт яблок.

14. «Проталинка», 1914, № 7, с. 496, в тексте рассказа Асеева «Ловчий рог»; Оксана; Избрань, под загл. «Перунья песня»; С-1, т. 1, в цикле «Сарматские песни»; Памяти лет, под загл. «Песни солнцу»; Стихи, под загл. «Песня солнцу». Печ. по СС, т. 1, с. 89, где Асеев вернулся к ред. кн. «Оксана». В СС дата: 1916. *Перун* — верховный бог в славянской мифологии. *Пядь* — старинная мера длины: расстояние между концами вытянутых большого и указательного пальцев.

15. «Проталинка», 1914, № 11, с. 712, под загл. «Старинная песня», было эпиграфом к рассказу Асеева «Первый князь Полянский. Из польских летописей»; Оксана; С-1, т. 1, в цикле «Сарматские песни». Печ. по СС, т. 1, с. 94, где Асеев вернулся к ред. кн. «Оксана». В СС дата: 1916. *Гопла* (Гопло) — озеро недалеко от г. Гнезно — древней столицы Польши. С ним связано много легенд. *Шерешь* — «молодой утренний ледок на лужах при первом морозце» (СС, т. 5, с. 656). *Попель* — легендарный польский князь. *Пяст* — легендарный родоначальник польской королевской династии. *Земовит* — сын Пяста, первый представитель (870—890) этой династии. События, о которых говорится в стих. Асеева, описаны в «Хронике и деяниях князей или правителей польских» Анонима Галла (XII в.).

16. «Проталинка», 1914, № 11, с. 723, в тексте рассказа Асеева «Первый князь Полянский. Из польских летописей»; Оксана; С-1, т. 1, под загл. «Самый быстрый», в цикле «Сарматские песни». Печ. по СС, т. 1, с. 88. В СС дата: 1916. *Ой, в пляс, в пляс, в пляс!* Ср. в стих. А. Н. Толстого «Заклятье смерти» (1911):

Мы распашем твердь, твердь!
Заклинаем смерть, смерть!
Чур огневый, глянь, глянь!
По оврагам прянь, прянь!

Н. И. Харджиев, сравнивая стихотворения А. Н. Толстого и Н. Н. Асеева, писал, что в «1914 г. Асеев впервые применил на протяжении всей строки сплошные «спондеи» — столкновение полнозначных ударных слов» («Новое о Маяковском». — «Литературное наследство», т. 65, М., 1958, с. 427). Плясовые ритмы стихотворений К. Бальмонта, С. Городецкого, А. Н. Толстого, Н. Асеева он рассматривает как источник маршей Маяковского.

17. Леторей, с. 13. *Миноноска* — ср. в стих. Маяковского «Военно-морская любовь» (1915): «миноносица», «миноносочка», «миноносина».

18. Леторей, с. 15. Печ. по СС, т. 1, с. 63. *Когда затмилось солнце.* 8 августа 1914 г. произошло полное солнечное затмение.

19. Леторей, с. 10; Совет ветров, где составляет первую часть стих. «Война», в качестве второй его части — стих. «И вот опять все то же...»; С-1, в том же составе, под загл. «Граница» (см. прим. 25). Печ. по СС, т. 1, с. 54, где Асеев вернулся к ред. кн. «Леторей». Последнюю строфу цитирует Хлебников в статье «Ляля на тигре», замечая: «Так пишет, выступая, Асеев с сдержанной гордостью, знающей о существовании еще больших гордостей...» (Хлебников, т. 5, с. 214). Хлебников высоко ценил ранние книги Асеева, находя в них полноту «азийского, персидско-гафизского упоения словесными кущами в чистоте их цветов...» (т. 5, с. 223), сравнивая «Леторей» и «Ой конин дан окейн!» с ледоходом Дона (т. 5, с. 214).

20. Зор, с. 2; Оксана, под загл. «Проба». Печ. по СС, т. 1, с. 39. В кн. «Зор» после стихотворения следовали прозаические строки:

«Закидывает громопал заплеча. Наезжает конем на солнце.

Вал. Брюсов с костылем и сумкой, бормоча заклятья весами и мерой, собирает брошенные тем славянизмы — в мешок. Наезжают запорожцы. Бр. прячется. Вдале гром». *Плыви Колываныо.* Колывань — древнее название г. Таллина (Ревеля). Возможно, здесь Асеев имел в виду: плыви морем, т. е. Балтикой.

21. Зор, с. 4, под загл. «Звенчаль конная, пенная немецкой стали!» с прозаической вставкой и окончанием; Оксана, под загл. «Песня сотен»; Стихи, под загл. «Песня запорожцев». Печ. по СС, т. 1, с. 40. *Звенчаль* — от звенеть. Ср. в стих. В. Каменского «Небовесную песнопьяный» (1914): «На игривых гривах дней со звенчальными звенчалками зарерайских тростников». *Тулумбас* — старинный музыкальный инструмент, род литавр. *Доломан* — старинная верхняя одежда, расшитая шнурами, здесь, возможно, — всадник. *Истрь* (Истр) — древнее название Дуная. *Харалужье* — броня, кольчуга, также сталь, булат. *Хоругвь* — знамя, стяг. *Сутемь* — потемки, сумерки.

22. Зор, с. 9, под загл. «Гремль II» (в книге было еще одно стих., под загл. «Гремль. Первый выпал»); Оксана, под загл. «Гремль — 1914 год»; С-1, т. 1, под загл. «Кремль — 1914 год», в цикле «Сарматские песни»; Стихи, под загл. «Кремль начала века». Печ. по СС, т. 1, с. 42. О цикле «Сарматские песни» Асеев писал: «Касались они судеб тогдашней Польши, ее самостоятельности, ее древней культуры» (Работа над стихом, с. 58). Сарматами иногда называли поляков. В эти годы судьбы южных и западных славян, в частности Польши, занимали и Хлебникова. В письме к А. Крученых (1913) он писал: «Между прочим, любопытны такие задачи: составить книгу баллад (участники многие или один). Что? — Россия в прошлом, Сулимы, Ермаки, Святославы, Минины и пр. ... Вишневецкий. Воспеть задунайскую Русь. Балканы... Заглянуть в монгольский мир. В Польшу... Заглядывать в словари славян, черногорцев и др. — собирание русского языка не окончено — и выбрать

многие прекрасные слова, именно те, которые прекрасны» (Хлебников, т. 5, с. 298). *Иван Великий* — златокупольная колокольня в Кремле. *Калики* — нищие. *Сыта* — хмельной медовый напиток. *Вериги* — груз (цепи, оковы, медные иконы), носимый для смирения плоти. *Острогонь* — от острога, шпора. Позже Асеев писал: «Почему «проплескавшего», почему «плашменной» лапой? И, наконец, что это за «светлошапая весна»? Так спрашивали, должно быть, меня тогда. А потому, что цокот копыт по булыжной мостовой в самом деле был похож на плеск весла по воде, а то, что копыто ложится плашмя, — широкое копыто рысака, это и подчеркивает его плеск о камень. А «светлошапая», по-моему, уж совсем понятно всякому. Ведь облака, белые как пуховая шапка, плывут весной так высоко; вот и светлошапая весна! Ощущение весны над Кремлем и контраста от столпившихся у Иверской калек, нищих, уродов было настолько резко, что об этом нельзя было не написать» («Советские писатели. Автобиографии в двух томах», т. 1, М., 1959, с. 94).

23. Зор, с. 12. *Уречина* Мария Михайловна (р. 1898) — одна из сестер Синяковых, с которыми были дружески связаны Асеев и Маяковский; художница, оформлявшая футуристические сборники, книгу Асеева «Зор». Вместе с Хлебниковым, Божидаром, Петниковым, Асеевым подписала футуристическую декларацию «Труба марсиан». «Мария — женщина необычайно величественной и спокойной красоты, большого скептического ума и резкой талантливости. . .», — писал о ней Асеев (Володя маленький и Володя большой. — «Красная новь», 1930, № 6, с. 181). М. М. Уречина — автор рисунков к поэме «Маяковский начинается» (М., 1940), которые Асеев высоко ценил. *Тунь* — безделье, беззаботная жизнь. *Очима* — очами, глазами. *Меледневеть* — медлить, заниматься пустяками, праздно жить.

24. Зор, с. 16. *Ковуи* — наемные войска, составлявшиеся в Древней Руси из татар и других кочевников и служившие русским князьям. *Лада* — возлюбленная, любимая.

25. Бомба, с. 10; Совет ветров, где составляет вторую часть стих. «Война»; С-1, т. 1 — в том же составе, под загл. «Граница» (см. примеч. 19). Печ. по СС, т. 1, с. 117, где Асеев вернулся к ред. кн. «Бомба». *Как черви, плоски и пра́вы, столпились людские истины.* Ср. в стих. Хлебникова «Чередованье поколений людепохожих плоских червей. . .»: «Из городов, где плоские черви мест службы. . .».

26. «Руконог», М., 1914, с. 20. *Гудошная* — от устаревшего гудок, род скрипки. *Титлы* — условные сокращения в древнерусских книгах, нередко отмечались ярко-красной краской (киноварью). *Злоем взрой* — см. примеч. 9. *Обрадова* — от обрадовать. *Мразовитыя руки* — холодной руки. *Баян* — певец, поэт в «Слове о полку Игореве», здесь: поэт высокой героической темы.

27. «Руконог», М., 1914, с. 21; С-1, т. 1, с опечаткой в загл. Вместо «Шепоть» было: «Щепоть». Печ. по СС, т. 1, с. 85, где Асеев

вернулся к ред. альм. «Руконог». *Окарячить* — изогнуть. *Гнутень* — дуга, лук. *Поять* — взять. *Мга* — сырой холодный туман, мгла.

28. Оксана, с. 21; С-2, т. 1, без посвящения. Печ. по СС, т. 1, с. 83. *Пастернак* — см. примеч. 11.

29. Леторей, с. 5. Печ. по СС, т. 1, с. 48. «Что это было? Обращение ли к древнему идолу истории? Отчаяние ли молодости, не находящей меры и веса собственным чувствам? По-моему, как я теперь это понимаю, — было прощание с Перуном языческого обоготворения истории, места своего рождения, прощание со своим детством. Но так я и вырвался из повторений пройденного на дикую бесшабашную волю собственного порыва. Так я отбросил размеры и строфы, руководясь лишь биением собственного сердца, когда оно билось шибче, — значит, слова были правильные, когда оно не чувствовалось, а поддавалось логическому рассуждению, — это были ненужные упражнения» («Советские писатели. Автобиографии в 2-х томах», т. 1, М., 1959, с. 93). *Вежды* — веки.

30. Леторей, с. 6; Оксана, без строфы 2. Печ. по СС, т. 1, с. 50. «Помню, как шел однажды по улице и в глаза мне бросилась вывеска над сенной лавкой: «Продажа овса и сена». Близость звучания ее и похожесть на надоевший церковный возглас «Во имя отца и сына» — создало в воображении пародийную строку из этих двух близко звучащих обиходных словесных групп... Радовала меня, помню, стройность звуковых волн, впервые улегшихся в интонационно-ритмическую последовательность, не скованную никакими правилами метра. Ирония взаимно перекликающихся звучаний в первых двух строках противопоставила себе пафос двух следующих:

улиц — глухо
руби — грохот
глупое —
глухое
ухо.

Эти вздохи и уханье уличной жизни мне казались соответствующими и смысловому содержанию стихотворения.

Помню еще, что наравне со стремлением к самостоятельности, неиспользованности наблюдения тогда же уже тянуло и к новизне звуковой — к необычности рифмовки, к заостренности звучания стиха» (Работа над стихом, с. 54—55).

31. Леторей, с. 8; Оксана, без подзаголовка. Печ. по СС, т. 1, с. 52. *«Великомученик Пантелеймон».* Броненосец «Потемкин» после восстания был переименован в «Святого великомученика Пантелеймона». В 1911 г. произошло его столкновение с кораблем «Святой Евстафий». *Ушкуй* — старинная плоскодонная ладья с парусом; здесь: судно.

32. Леторей, с. 12, с еще одним эпиграфом: «Был несчастен: никем не видимо кривляясь, как червяк под пятою»; Избрань; С-1,

т. 1, Печ. по СС, т. 1, с. 57, где Асеев вернулся к ред. кн. «Избрань». Эпиграф из стих. М. Ю. Лермонтова «Свиданье». Источник второго эпиграфа в кн. «Леторей» не установлен. *Слушайте звоночки монет.* В кн. «Леторей» было примечание автора: «Малороссиянки и жительницы гор часто носят ожерелья из серебряных монет». *Тлейте же, волосы Казбека* и т. д. Имеются в виду облака, постоянно лежащие на вершине Казбека; ср. также в стих. Лермонтова «Спор»: «Шапку на брови надвинул...» *Умыйница* — неологизм от «умыкать». *Зерцать* — от зерцало (зеркало). *И тот, кто тлеет повержен* и т. д. Использованы мотивы стих. Лермонтова «Свиданье».

33. Леторей, с. 15. Печ. по кн. «Оксана», с. 61.

34. «Взял. Барабан футуристов», Пг, 1915, с. 9. Печ. по СС, т. 1, с. 100. *Я знаю: все плечи смело ложатся в волны, как в простыни.* Ср. в поэме Хлебникова «Зангези»: «Подушка — камень, терновник — полог, прибои моря — простыня, а звезд ряды — ночное одеяло». *А ваше лицо из мела.* Ср. в стих. Хлебникова «Смугла, черна дочь Храма...»: «Иль смерть войдет в нее неровно и станет мелом все лицо». *Дары и таинства.* Имеется в виду церковный обряд приобщения к святым дарам: крови и плоти Христа.

35. ЧКС, с. 3 (ненум.). Здесь слова: «вольности река, смывая гибель и измену» (строфа 6) изъяты цензурой; «Дальневосточное обозрение», 1919, 7 июня, как «Вступление к поэме «Война» (Отрывки поэмы)»; Избрань, под загл. «Две войны»; Памяти лет, под загл. «Пьяное столетье». Печ. по СС, т. 1, с. 64. *Вояна* — ветер с войны, ср. моряна. *Когда, шумя стаканом крови, шагнуло пьяное столетье.* Имеется в виду русско-японская война 1904—1905 гг. *Как старый лекарь ржавым шилом* и т. д. Ср. в поэме Маяковского «Война и мир» (1915—1916):

...если не собрать людей пучками рот,
не взять и не взрезать людям вены —
зараженная земля
сама умрет —
сдохнут Парижи,
Берлины,
Вены!

Голубой мундир — намек на жандармскую форму. *Но то — рассерженный грузин* и т. д. Вероятно, имеется в виду черносотенный генерал И. А. Думбадзе, устраивавший после революции 1905—1907 гг. жестокие расправы на юге России. В. И. Ленин в статьях 1908 и 1911 гг. использовал его имя как нарицательное в качестве символа беззакония. *Но то — в пределы моряка* и т. д. Имеется в виду революционное движение во флоте. *А уж труба второй войны* и т. д. Речь идет о начале мировой войны 1914—1918 гг.

36. ЧКС, с. 5 (ненум.); Избрань, под загл. «Еще! Исковерканный страхом». Печ. по СС, т. 1, с. 66, где Асеев вернулся к ред. ЧКС.

Ст. 25—28 включены также в стих. «Как желтые крылья иволги...». См. примеч. 42. *И мир — только страшная морда.* Ср. в поэме Хлебникова «Война в мышеловке» (1915—1917): «Лютики выкрасим кровью руки, разбитой о бивни вселенной, о морду вселенной».

37. ЧКС, с. 6 (ненум.); Избрань, под загл. «Если ночь». Печ. по СС, т. 1, с. 68, где Асеев вернулся к ред. ЧКС. *Как платок полосатый сартовский* — из узбекского шелка абр (облако) с расплывающимися контурами рисунка. *Арктур* — одна из трех ярких звезд северного полушария.

38. ЧКС, с. 7 (ненум.); С-1, т. 1. Печ. по СС, т. 1, с. 69, где Асеев вернулся к ред. ЧКС. «В 1914 году, вскоре после объявления войны, под влиянием или вернее наперекор влиянию всеобщего шовинистического настроения, я попытался ответить на него следующим стихотворением: «Простоволосые ивы...». Стихи были лиричны и окрашены отчасти любовной темой; поэтому их установка была недостаточно ясна, но написаны они были искренно; упор их был против квасного патриотизма и солдатчины. И туманная семантика их была все же воспринята молодежью, так как они пользовались большим успехом у тех, кто сохранил свежую от милитаристического угара голову... Сказать: «мы не имеем родин» в пору, когда слово «родина» склонялось на всех официальных устах, — было уже не эстетическим, а действенным восклицанием.

Чайки кричали — «чьи вы?»
Мы отвечали — «ничьи».

Это подражание крику чибиса — было основным каркасом строки, и смысловое и звуковое совпадение темы стихотворения впервые здесь было ощутимо для меня во всей своей реальности» (Работа над стихом, с. 55—57). *Перун* — см. примеч. 14. *Один* — верховный бог древних германцев.

39. ЧКС, с. 7 (ненум.), слово «божьи» (ст. 7) изъято цензурой. Печ. по кн. «Избрань», с. 25. *Сити* — банковский район Лондона. *Соверен* — английская золотая монета достоинством в один фунт стерлингов.

40. ЧКС, с. 8 (ненум.), в ст. 6 слово «он» (бог) снято цензурой. Печ. по кн. «Избрань», с. 25. *Брут* М.-Ю. (85—42 до н. э.) — руководитель заговора против Юлия Цезаря, после поражения при Филиппах покончил жизнь самоубийством.

41. ЧКС, с. 10 (ненум.), в ст. 6 слово «церквей», в ст. 19—20 слова: «долой кресты! Наша теперь религия!» — сняты цензурой; Избрань. Печ. по СС, т. 1, с. 73. «Когда приехали в Петроград Пастернак и Асеев и прочли Маяковскому стихи... Маяковский бурно обрадовался этим стихам. Он читал Пастернака, стараясь подражать ему: «В посаде, куда ни одна нога...». И асеевское: «С улиц гастроли Люце...» (Л. Брик, «Чужие стихи». — В кн.: «В. Маяковский в воспоминаниях современников», М., 1963, с. 341). *Люце* В. В.

(р. 1879) — оперная певица, с 1913 г. гастролировала по России. *Разве шагнуть с холмов* — см. примеч. 298, с. 704 наст. изд.

42. ЧКС, с. 12 (ненум.). Печ. по СС, т. 1, с. 76. *Выпь* — болотная птица. *У облак темнеют лица* и т. д. Включено в стих. «Если ночь все тревоги вызвездит. . .». См. примеч. 36.

43. ЧКС, с. 13 (ненум.).

44. ЧКС, с. 14 (ненум.).

45. «Пета», М., 1916, с. 15. «В молодости мной написано было стихотворение, буквальный смысл которого я сам, признаться, понимал плохо, но оно мне казалось правдивым. Стихи были об отлетающих к югу птицах... И лишь позже, старым человеком, я понял, что эти стихи были об отлетающем времени, ощущение которого реализовалось через стаи птиц, летящих к югу. Это были предвестники осени, предвестники старости, ощущавшейся вместе с осенью» (СС, т. 5, с. 426).

46. Оксана, с. 6. *Тобой очам не надивиться* и т. д. Имеется в виду герб Москвы: в червленом щите Георгий Победоносец, поражающий дракона. *Калита* Иван Данилович — князь Московский (с 1325), великий князь Владимирский (1328—1340). Положил начало возвышению Москвы и собиранию вокруг нее русских земель. Прозвище Калита (денежный мешок) получил из-за своего богатства и скупости. *Крестовые братья* — побратимы, поменявшиеся крестами.

47. Оксана, с. 40; С-1, т. 1, в цикле «Сарматские песни». Печ. по СС, т. 1, с. 90, где Асеев вернулся к ред. кн. «Оксана». *Кунтуш* — польская национальная одежда: кафтан со шнурами и откидными рукавами. *Ягейло* — великий князь литовский (1377—1434), положивший начало династии королей, правивших Польшей. *Краков* — резиденция польских королей. *Круль* (польск.) — король.

48. Оксана, с. 54; Избрань, под загл. «Пусть новую»; Памяти лет, под загл. «Четырнадцатый год». Печ. по СС, т. 1, с. 98, где Асеев вернулся к ред. кн. «Оксана». *Пусть новую вывесят выдумку над стеклами новых наций.* Имеются в виду демагогические заявления империалистической пропаганды о самоопределении наций в годы первой мировой войны. *И остров Явы рассерженный* и т. д. Ява — см. примеч. 6. В 1915 г. развернулись военные действия в районе Тихого океана. *Карпаты* — место ожесточенных боев в 1915 г.

49. Оксана, с. 72; Избрань, под загл. «Ушла от меня». Печ. по СС, т. 1, с. 101, где Асеев вернулся к ред. кн. «Оксана».

50. Оксана, с. 73; Избрань, под загл. «Приветствую тучи». Печ. по СС, т. 1, с. 102, где Асеев вернулся к ред. кн. «Оксана». *Гафиз* (ок. 1325—1389) — персидский поэт; здесь: обобщенный образ поэта, воспевающего страстную любовь.

51. Оксана, с. 74; Избрань, под загл. «Нынче поезд»; С-1, т. 1. Печ. по СС, т. 1, с. 103, где Асеев вернулся к ред. кн. «Оксана». *Золочев* и *Мохнач* — железнодорожные станции под Харьковом.

* 52. Оксана, с. 76; Бомба, под загл. «Гляжу вперед». Печ. по СС, т. 1, с. 105, где Асеев вернулся к ред. кн. «Оксана».

53. Оксана, с. 77; С-1, т. 1. Печ. по СС, т. 1, с. 106, где Асеев вернулся к ред. кн. «Оксана». *Камка* — шелковая цветная узорчатая ткань. *Бёрдо* — одна из основных деталей ткацкого станка, пригоняющих нити друг к другу.

54. Оксана, с. 79; Избрань, под загл. «Осмейте». Печ. по СС, т. 1, с. 108, где Асеев вернулся к ред. кн. «Оксана».

55—56. Бомба, с. 5; Избрань; С-1, т. 1. Печ. по СС, т. 1, с. 111. *Пугачев* Е. И. (ок. 1742—1775) — вождь крестьянского восстания 1773—1775 гг.

57. «Временник» 1, М., 1917, с. 6, под загл. «Ось (Крики)»; Бомба, без разделения на части; С-1, т. 1. Печ. по СС, т. 1, с. 154. *Белокопытник* — растение мать-мачеха. *Хорунжий* — здесь: знаменосец. *Херешь* — см. примеч. 15. *Смушка* — шкурка новорожденного ягненка.

58. «Великий океан», Владивосток, 1918, № 4—5, с. 3; «Творчество», Владивосток, 1920, № 1, с. 9 в составе «„Рассказа ни о чем" (Вступление к поэме «Будетляне»)». Печ. по кн. «Бомба», с. 139. Автограф с разночтениями под загл. «Ветки звезд» находится в архиве С. П. Боброва. *Когда качнется шумный поршень* и т. д. В декларации футуристов «Труба марсиан», подписанной и Асеевым, есть строки: «Мы зовем в страну, где говорят деревья... где весенние войска любви, г д е в р е м я ц в е т е т к а к ч е р е м у х а и двигает как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и как токарь обращается с своим завтра» (Хлебников, т. 5, с. 152). *Одонья* — остатки. *Шабер* — сосед.

59. «Творчество», Владивосток, 1920, № 2, с. 1; Бомба; Совет ветров; С-1, т. 1. Печ. по СС, т. 1, с. 115. *Версаль* — резиденция французских королей. *Марат* Ж.-П. (1743—1793) — якобинец, знаменитый политический деятель и оратор времен Великой французской революции. *Малюта* Скуратов (Бельский Григорий Лукьянович, ум. 1572) — глава опричнины Ивана Грозного, известный своей жестокостью.

60. Бомба, с. 35. Печ. по СС, т. 1, с. 144. *Пенязь* — старинная польская монета. *Кунтуш* — см. примеч. 47. *Кожух* — шуба из овчины. *Орочи* — этнографическая группа, живущая в Хабаровском крае. *Остяки* — устаревшее название нескольких народностей Сибири. *Будда* (санскритск.) — букв. просветленный. В буддийской религии — существо, достигшее наивысшей святости. *Лотос* — растение, в Индии считается священным.

61. Бомба, с. 19; Совет ветров, под загл. «Пришельцам»; Избр. 1947, без строфы 9, после строфы 3 — строфа 6; Избр. 1953, т. 1. Печ. по СС, т. 1, с. 129. Дата в СС: 1917. В январе 1918 г. вслед за японским крейсером во Владивостокскую бухту «Золотой Рог» вошел английский крейсер «Суффольк». С этого момента началась объединенная интервенция империалистов на Дальнем Востоке. *Оливер Твист* — герой одноименного романа Диккенса.

62. Бомба, с. 24, под загл. «Ветка звезд. 1»; Избрань, под загл. «Еще и осени не близко». Печ. по С-1, т. 1, с. 87.

63. Бомба, с. 46; Избрань, под загл. «Мы пили песни». Печ. по СС, т. 1, с. 156, где Асеев вернулся к ред. кн. «Бомба». *Семенов* Г. М. (1890—1946) — белогвардейский казачий атаман, известный своей жестокостью. *Хам* (библ.) — младший сын Ноя, проклятый за непочтительность.

64. «Окно», Харбин, 1920, № 1—2, с. 8. Печ. по кн. «Бомба», с. 23. *Москва на взморье* — т. е. на Дальнем Востоке, где в те годы находился Асеев.

65—68. «Творчество», Владивосток, 1920, № 5, с. 4; Бомба, стих. 1, под загл. «Морские — стихающие»; Избрань; Памяти лет, стих. 1, без строф 5—6. Печ. по СС, т. 1, с. 159. *Гавот* — старинный французский танец. *Оксана! Жемчужина мира!* Сокращенно — Окжемир. Обращено к Ксении Михайловне Асеевой (Синяковой). Окжемир посвящена кн. «Стальной соловей».

69. Стальной соловей, с. 7; «Революционные песни и частушки», М., 1924, под загл. «Россия»; «Поэты наших дней», М., 1924, без загл.; Разнолетье. Печ. по СС, т. 1, с. 178, где Асеев вернулся к ред. кн. «Стальной соловей».

70. Альм. «Первое мая 1921», Чита, 1921, с. 5, под загл. «Первомайская песня», без строфы 11; Совет ветров; Избрань; «Заря Востока», 1926, 1 мая, в составе стих. Н. Асеева и В. Маяковского «Откуда повел рабочий класс 1 мая в первый раз»; С-1, т. 1; С-2, т. 1, под загл. «Первый первомайский гимн»; Наша сила; «Гудок», 1945, 1 мая, под загл. «Первомайская кантата». Печ. по СС, т. 1, с. 121. Об истории создания этого стихотворения см. «Путь в поэзию», с. 59 наст. изд.

* **71.** Бомба, с. 3, как вступление к книге, курсивом; Совет ветров; «Корабль», 1922, № 5—6. Печ. по СС, т. 1, с. 109, где Асеев вернулся к ред. кн. «Бомба». Написано к первомайской годовщине 1920 г. во Владивостоке, который в это время был еще захвачен японцами. Асеев вспоминал: «Мы в городе, кишащем интервентами и контрразведчиками, чувствовали себя... литературными партизанами... делающими вылазки против беляков на литературном фронте, ободряющими и перекликающимися со своими, отошедшими в сопки и затаившимися в них» («Дневник поэта», Л., 1929, с. 53).

*** 72—75.** «Дальневосточное обозрение», Владивосток, 1918, 18 декабря, под загл. «Тайга»; Бомба; «Красная новь», 1922, № 3, под загл. «Тайга»; Стихи, стих. 1 — вне цикла. Печ. по СС, т. 1, с. 118.

*** 76.** Бомба, с. 16, без строф 5 и 8; Избрань, без строфы 7; Совет ветров. Печ. по СС, т. 1, с. 123. *Красные ворота* — название триумфальной арки в Москве, существовавшей до 1928 г. *Калита* — см. примеч. 46.

77. Бомба, с. 28; Совет ветров, под загл. «Пляска песни на Севере», без ст. 23—26; Избрань. Печ. по СС, т. 1, с. 137, где Асеев вернулся к ред. кн. «Бомба». *Скальд* — скандинавский поэт-певец, исполняющий свои произведения под аккомпанемент музыкального инструмента.

78. Бомба, с. 34, с исправлением опечатки. В ст. 21 вместо «снеги» было: «неги».

79—81. Бомба, с. 37; «Жизнь», 1922, № 3, без стих. 3; Избрань; С-1, т. 1, под загл. «Океан». Печ. по СС, т. 1, с. 146. *Океания* — бассейн Тихого океана. *Брегет* — часы.

*** 82.** Бомба, с. 52; Памяти лет. Печ. по СС, т. 1, с. 162, где Асеев вернулся к ред. кн. «Бомба». В обращении «Вместо предисловия „К современникам“», предпосланном кн. «Бомба», Асеев писал: «Перед стихами начертываю прекраснейший узор имен моих братьев по славнейшему ремеслу мира — стихотворству — узор, который с благоговейной радостью будет созерцать иное — звучащее вдали человечество.

Вот эти имена: Виктор Хлебников, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Борис Пастернак; эти — ослепительный блеск вершинных снегов.

Другие: Сергей Третьяков, Александр Блок, Елена Гуро, Василий Каменский — эти ропот ручьев, бегущих с вершин в долины.

И только они — режут стекло вашего тусклого будня. Остальные — дешевая подделка под слепящий огонь самоцвета.

Гремучим студнем бесконечной взрывчатой силы моих друзей будетлян заряжаю мою книгу» (с. 1). *Кипень* — пена. *Пеньявода-Хлебник* — Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников (1885—1922), поэт-футурист. Ср. в его поэме «Война в мышеловке»: «Панна пены, панна пены, что вы, тополь или сон?» В 1920—1921 гг. Хлебников писал о волжской вольнице. См., например, его поэму «Уструг Разина». *Небо взять в стальные крючья учит Маяковский* — намек на богоборческие мотивы его поэзии. Ср. в поэме «150 000 000»: «руки, лапы, клешни, рычаги, туда, где воздух поредел, вонзенные в клятвенном единодумье». *Бурлюк Д. Д.* (1882—1967) — поэт и художник, один из зачинателей русского футуризма. *Жигули* — утес на Волге, связанный с легендами о Разине. *Загули Жигули, загудели пули* и т. д. Ср. в стих. Хлебникова «Обед»: «В столицы, где пуль гульба, гуль вольба, воль пальба шагнуть тенью Разина». *Степан Тимофеич* — Разин (ум. 1671), руководитель крестьянского восстания (1667—1671) в Поволжье.

83. «Наши дни», М., 1922, № 2, с. 57; Совет ветров; Избрань. Печ. по СС, т. 1, с. 203. *Майоран* — душистое растение.

* 84. «Красная новь», 1922, № 4, с. 23, без загл.; Избрань; Совет ветров. Печ. по СС, т. 1, с. 201. *Гастев* Алексей Капитонович (1882—1941) — пролетарский поэт, теоретик Пролеткульта. В 1919 г. он писал: «Мы идем к невиданно объективной демонстрации вещей, открытой грандиозности, не знающей ничего интимного и лирического» (О тенденциях пролетарской культуры. — «Пролетарская культура», 1919, № 9—10, с. 45). «Гастеву особенно удались те стихи, где поэт как бы сливается с жизнью машин, становится одной из их необходимых частей. Справедливо Ф. Калинин назвал эти стихи „выкованными из железа"» (Валерий Брюсов, Вчера, сегодня и завтра русской поэзии. — «Печать и революция», 1922, № 7, с. 63—64). *Овидий* (43 до н. э. — 17 н. э.) — римский поэт, прославившийся любовной лирикой.

85. Стальной соловей, с. 1; Совет ветров, под загл. «Стальной соловей»; Избрань; Разнолетье, без строф 5, 6, 9. Печ. по СС, т. 1, с. 172.

86. Стальной соловей, с. 3; «Современник», сб. 1, М., 1922, под загл. «Шехерезата». Печ. по СС, т. 1, с. 174. *Словолитня* — цех для отливки типографских шрифтов. *Петит* — мелкий шрифт. *Коран* — священная книга, в которой изложены догматы мусульманской религии. *Мулла* — мусульманский священник. *Бюль-бюль* (арабск.) — соловей. *Сераль* — гарем. *Фатима* — персонаж арабских сказок «Тысяча и одна ночь». *Россиньоль* (франц.) — соловей. *Нахтигалль* (немецк.) — соловей.

87. Стальной соловей, с. 8. *Пастернак* — см. примеч. 11. *Птичья песня.* Ср. со стих. Пастернака «Определение поэзии» (1922). *Дождем ты листы исхлестал.* «Световой ливень» назвала статью о кн. Пастернака «Сестра моя — жизнь» М. И. Цветаева: «Я попала под нее как под ливень. — Ливень: все небо нá голову, отвесом: ливень впрямь, ливень вкось, — сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых, — ты ни при чем: раз уж попал — расти!» («Эпопея», М. — Берлин, 1922, № 3, с. 13). «Но страстнее трав, зорь, вьюг — возлюбил Пастернака: дождь. (Ну и надождил же он поэту! — Вся книга плывет!) Но какой не осенний, не мелкий, не дождичек-дождь! Дождь-джигит, а не дождичек!» (Там же, с. 26). См. также стих. Пастернака «Дождь» (1922). *Ты иволгой вымелькал степь.* См. цикл стихотворений Пастернака «Книга степи» (1922).

* 88. Стальной соловей, с. 9; Совет ветров, без строфы 7; Разнолетье, без строф 6 и 7. Печ. по СС, т. 1, с. 182.

89. Стальной соловей, с. 19; СЛ (1925), под загл. «Вступление»; С-1, т. 1. Печ. по Избр. 1938, с. 131, с исправлением опечатки. В ст. 4 вместо «стронь» было: «стонь». *Грáйворон* — город в Курской области. *Звенигород* — подмосковный город. *Яблоновый хребет* — горная система в Восточной Сибири.

90. Стальной соловей, с. 20, ч. 2—без ст. 25—26, чч. 3 и 4 слиты. Печ. по СС, т. 1, с. 194. *Нарты* — санки для собачьей упряжки. *Швыдче* (укр.) — быстрее. *Повытчик* — делопроизводитель в суде XVI—XVII вв. *Перевертень* — стихотворение или фраза, одинаково читающаяся слева направо и справа налево. *Гиляки* (нивхи) — народность, живущая на Дальнем Востоке.

91. Альм. «Круг», № 1, М.—Пг., 1923, с. 11. Печ. по кн. «Совет ветров», с. 9. *«Гужон»* — металлургический завод в Петрограде.

92. Совет ветров, с. 28. *Ай, дабль, даблью* — I. W. W. (Industrial Workers of the World). «Индустриальные рабочие мира» — профсоюзная организация США, созданная в 1905 г. в условиях подъема американского рабочего движения как боевой революционный союз. См. также стих. Асеева под загл. «Ай, дабль, даблью» (СС, т. 1, с. 205).

93. «Молодая гвардия», 1923, № 2, с. 77, под загл. «Конная Буденного»; Н. Асеев, Песенник, М., 1935, без загл.; «Красноармейский песенник», М.—Л., 1930, под загл. «Конница Буденного», без строф 3, 6, 9; «Песни и стихи», М., 1932, под загл.: «„Сказ о Буденном“ (отрывок из поэмы)». Печ. по СС, т. 1, с. 354, где является заключительной главой 4 части поэмы «Буденный». *Но, помня Перекоп* и т. д. Имеется в виду разгром белогвардейских войск генерала Врангеля в ноябре 1920 г. на Перекопском перешейке.

94. «Молодая гвардия», 1923, № 2, с. 78, с исправлением опечатки. В строфе 6 вместо «спорых» было: «спорных». *«Карманьола»* — революционная песня-пляска, возникшая во времена Великой французской революции 1789 г. В «Карманьолу» часто вплетались куплеты из «Ça ira» с рефреном: «На фонарь!». Переходя из эпохи в эпоху, наполнялась новыми злободневными намеками и лозунгами. Была широко распространена в СССР в 1920-е годы. *Этих красных шапок сполох* и т. д. Намек на красные фригийские шапки или колпаки санкюлотов, солдат Великой французской революции. *Вотум* — решение, принятое голосованием. *Смолк угрюмо черный Эссен.* Речь идет о забастовке 400 тысяч рабочих горнодобывающей промышленности Германии в 1923 г.

95. «Русский современник», 1924, № 2, с. 82, после ст. 50 шли ст. 57—63; Изморозь. Печ. по СС, т. 1, с. 268. В СС дата: 1927. *Пикадор* — конный участник боя быков, вооруженный пикой. *Эспада* — шпага.

96. «Литературная Россия», 1966, 16 сентября, с. 10. Автограф — ЦГАЛИ, альбом А. Ахматовой.

97. «Красная нива», 1924, № 44, с. 2 (1052), под загл. «Семь лет»; Октябрьские песни; Н. Асеев, Громы о мрамор, Харьков, 1926, под загл. «Полет»; Изморозь, с разделением на главы: гл. 1 — ст. 1—45, гл. 2 — ст. 46—103. Печ. по СС, т. 1, с. 228, где Асеев вернулся к ред. кн. «Октябрьские песни». *Осьмушка* — 125 г. *Карат* — 200—

206 мг, мера веса для драгоценных камней. *Качнуло Японию.* Грандиозное землетрясение 1923 г. сильно разрушило города Токио и Иокогаму, погубив около 100 тыс. человек и уничтожив вместе с вызванными им пожарами 576 тыс. зданий. *Марс подходил к Земле.* Имеется в виду «великое противостояние» Марса в 1924 г. *Товарищ критик, не я против быта, а быт — против меня!* Имеются в виду, вероятно, отзывы критики о поэме «Лирическое отступление». *Бои у Никитских ворот.* 29 октября 1917 г. у Никитских ворот в Москве произошло решающее сражение восставших рабочих с юнкерами.

98. «Молодая гвардия», 1924, № 2—3, с. 3; Н. Асеев, Песня, М., 1931, под загл. «Прощальная»; сб. «О Ленине», т. 2, М., 1939, под загл. «Прощальная песня»; СП, т. 1. Печ. по СС, т. 1, с. 235. *Скован и смыт смех.* Во всех предшествующих изданиях было: «Скован и смят смех». *Стой, спекулянт-смерть, хриплый твой вой лжив.* Ср. в стих. Маяковского «Комсомольская» (31 марта 1924 г.): «Смерть, косу положи! Приговор лжив».

99. СЛ (1925), с. 12, с исправлением опечатки. В ст. 26 вместо «ледышкам» было: «ледникам». В СС дата: 1926—1927.

100—101. «Новый мир», 1926, № 3, с. 32, ч. 1 и ч. 2 как отд. стих., под общим загл. «„Декабристам". 3 стихотворения», с датой: 1925 г., декабрь, в цикл входило также стих. 102; Изморозь, в разделе «Стихи о декабристах»; С-2, т. 2, под загл. «Декабристы»; СП, т. 1. Печ. по СС, т. 1, с. 283. *Будто город — с того декабря* и т. д. Имеется в виду восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. *Чернышев мост* — цепной мост через Фонтанку в Петербурге, ныне: мост Ломоносова.

102. «Новый мир», 1926, № 3, с. 34, под общим загл. «„Декабристам". 3 стихотворения», с датой: 1925 г., декабрь. В цикл входили также стих. 100—101; Изморозь, в разделе «Стихи о декабристах»; С-2, т. 2; Н. Асеев, Зоревое пламя, М., 1939, под загл. «Декабристы». Печ. по СС, т. 1, с. 286. *Санки по Фонтанке летят вперед.* На набережной реки Фонтанки в доме № 25 у Никиты Муравьева собирались декабристы. *Литейный* — проспект в Петербурге. *Ментик* — гусарская накидка с меховой опушкой. *Южное братство* — Южное отделение тайного общества декабристов. *«Цыганы»* (1824) — поэма А. С. Пушкина. Отрывки поэмы были напечатаны в «Полярной звезде» на 1825 г.

103. «Заря Востока», 1925, 21 января, в цикле «Годовщина»; Н. Асеев, За рядом ряд, М., 1925; С-1, т. 1, без стих. 3. Печ. по СС, т. 1, с. 246.

* **104.** «Заря Востока», Тбилиси, 1925, 21 января; Н. Асеев, За рядом ряд, М., 1925; С-1, т. 1; Разнолетье. Печ. по СС, т. 1, с. 250. *Сакко* Н. (1891—1927) и *Ванцетти* Б. (1888—1927) — американские рабочие-революционеры. По ложному обвинению в убийстве с целью грабежа казнены на электрическом стуле. *Шериф* — высшее административное и полицейское лицо штата. *Сальцедо* — соотечественник

Сакко и Ванцетти, революционер. *Гудзон* — река в Северной Америке, протекающая через крупные промышленные районы.

105. Н. Асеев, За рядом ряд, М., 1925; С-1, т. 1; Избр. 1953, т. 1, под загл. «Первомай». Печ. по СС, т. 1, с. 237.

106. Октябрьские песни, с. 3; Изморозь, с разбивкой на главы: гл. 1 — ст. 1—47; гл. 2 — ст. 48—85; Разнолетье, без ст. 10—17, 57—64; СП, т. 1, без ст. 57—64. Печ. по СС, т. 1, с. 216. *На жизнь болоночью плюнувши* и т. д. Ср. в поэме Маяковского «Люблю»: «Что выищешь в этих болоночьих лириках?» *Теперь над глиняным склепом его* и т. д. В. В. Хлебников (см. примеч. 82) был похоронен в д. Ручьи Новгородской обл. *Вологда* в 1918—1920 гг. была важным центром борьбы с контрреволюционерами и интервентами на Севере. *Пермь* в ночь с 24 на 25 декабря 1918 г. была захвачена армией Колчака, стремившейся соединиться с англо-американскими войсками, наступавшими из района Архангельска. Освобождена в июле того же года. *Да здравствует Революция, сломившая власть стариков!* В манифесте футуристов «Труба марсиан», который подписал и Асеев, декларировалось: «Пусть возрасты разделятся и живут отдельно!» (Хлебников, т. 5, с. 152). «Старшие! Вы задерживаете бег человечества и мешаете клокочущему паровозу юности взять лежащую на ее пути гору» (там же, с. 154). Ср. также в стих. Маяковского «Мы идем» (1919): «Победители, шествуем по свету сквозь рев стариков злючий».

107. Октябрьские песни, с. 15; Разнолетье, без ст. 37—44. Печ. по СС, т. 1, с. 225.

108. «Журналист», 1926, № 11, с. 22, под загл. «Писатели о себе. Еще раз»; Время лучших. Печ. по СС, т. 1, с. 313. В СС дата: 1927. В первой публикации — среди материалов дискуссии о критике, в которой приняли участие В. Маяковский, А. Воронский, Л. Рейснер, В. Полонский, Ф. Гладков, В. Лидин, Вс. Иванов. *Вот почему, говоря о форме* и т. д. Имеется в виду отношение к художественной форме группы Леф, всегда подчеркивавшей необходимость эксперимента и новаторства. О Лефе см. с. 21—26 наст. изд.

109. Н. Асеев, Громы о мрамор, Харьков, 1926, с. 85. В СС дата: 1926—1927.

110. Изморозь, с. 31; СЛ (1959), под загл. «Веселое званье поэта», без ч. 5, ч. 1 — без ст. 18—27. Печ. по СС, т. 1, с. 271, где Асеев вернулся к ред. кн. «Изморозь». *Новый Свет* — Америка. *Нежданова* А. В. (1873—1950) — оперная певица, пела, в частности, партию Виолетты в опере Верди «Травиата». *ВЦИК* — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов. Верховный законодательный, распорядительный и контролирующий орган РСФСР в период между съездами Советов в 1917—1937 гг. *Как томно скулит Травиата* и т. д. Для Асеева, Маяковского и их товарищей по Лефу опера Верди «Травиата» была символом пошлости. Маяковский в стих. «Передовая передового» (1926) сетовал: «Почему теперь про чужое поем, изъясняемся ариями Альфреда и

Травиаты?» *«Мертвый хватает живого»* — французская поговорка. *Мы сами — взошли на подмостки Карпатско-Синайских высот.* Синай — горная группа в южной части Синайского полуострова. Согласно Библии, Синай — место Моисеева законодательства израильскому народу, здесь: символ духовных завоеваний человечества. *Стансы* — цепь четверостиший, каждое из которых заключает ясно выраженную, законченную мысль.

111. «Новые стихи» 1, М., 1926, с. 7; Изморозь. Печ. по С-2, т. 2, с. 87. *Явор* — белый клен.

112. «Молодая гвардия», 1926, № 7, с. 22; Время лучших. Печ. по СС, т. 1, с. 291.

113. «Новый мир», 1926, № 11, с. 113; Изморозь; С-1, т. 2; Избр. 1947. Печ. по СС, т. 1, с. 264. Ответ на распространенные в то время обвинения, предъявляемые критикой Маяковскому, Асееву и другим лефовцам, в недоступности их поэзии широкому читателю. Ср. в стих. Маяковского «Массам непонятно» (1927):

Между писателем
и читателем
стоят посредники,
и вкус
у посредника
самый средненький.
Этаких
средненьких
из посреднической рати
тыща
и в критиках
и в редакторате.

Стих. Маяковского написано вслед за стих. Асеева, на это указывает строка: «А еще посредников кроет Асеев». См. также статью Маяковского: «Вас не понимают рабочие и крестьяне» (1927).

114. Время лучших, с. 3. *Дзержинский* Феликс Эдмундович (1877—1926) — революционер, государственный деятель, умер от разрыва сердца 20 июля 1926 г. через 3 часа после выступления на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б).

115. Время лучших, с. 13; С-1, т. 2; Избр. 1953, т. 1, под загл. «Начало стройки»; СП, т. 1. Печ. по СС, т. 1, с. 296. *Тверская* и *Огарева* — улицы Москвы, на перекрестке которых в 1926 г. возводилось здание нынешнего Центрального телеграфа.

116. «Новый мир», 1927, № 1, с. 130, под загл. «Песня»; С-1, т. 2, под загл. «Москворецкая». Печ. по С-2, т. 2, с. 116. В СС дата: 1928. *Каменный мост* — мост через Москву-реку. *Балчуг* — неболь-

шая улица недалеко от Москворецкого моста. *Яуза* — приток Москвы-реки. *Чистые пруды* — у Покровских ворот в Москве.

117. «Октябрь», 1927, № 8, с. 156. *Караимы* — немногочисленная этнографическая группа, населяющая Крым. *Ялик* — двухвесельная или четырехвесельная шлюпка. *Чатыр-даг* — горный массив в центральной части Главной гряды Крымских гор.

118—121. Альм. «Ковш», кн. 2, Л., 1925, с. 163, под загл. «Ленинграду», стих. 1 — без ст. 20—23, стих. 2 — после ст. 16 шли ст. 25—33; стих. 3 — без ст. 25—33; стих. 4 — без ст. 29—33; С-1, т. 2; Избр. 1948, стих. 4 — без ст. 1—9; Разнолетье, стих. 1 — без ст. 12—19; стих. 2 — без ст. 51—58; стих. 3 — без ст. 13—16; стих. 4 — без ст. 1—9; Избр. 1951, стих. 2 — без ст. 51—66; стих. 4 — без ст. 1—17. Печ. по СС, т. 2, с. 43. Стихотворения написаны в связи с переименованием 26 января 1924 г. Петрограда в Ленинград. *Завитые копыта коня.* Речь идет о Медном всаднике, памятнике Петру I работы Фальконе. *Равелин* — Алексеевский равелин Петропавловской крепости, место заключения революционеров. *Юденич* Н. Н. (1862—1933) — белогвардейский генерал. В 1919 г. дважды наступал на Петроград. *И после, как вьюга шутила* и т. д. Речь идет о прощании с В. И. Лениным. *Путилов* — Путиловский завод. *Охта* — район Ленинграда. *И когда прибывает Нева* и т. д. Последнее большое наводнение в Ленинграде было в 1924 г. *Острова* — Елагин, Каменный и Крестовский острова в устье Невы. *По морям, морям, морям* и т. д. — неточная цитата из народной песни «Ты, моряк, красивый сам собою...», очень популярной в первые годы Советской власти. Переработка стих. В. С. Межевича (1814—1849).

122. «Новый Леф», 1927, № 1, с. 13, в цикле «Песни с позвоночками», с общим для цикла эпиграфом — неточной цитатой из стих. А. Фета «Ветер злой, ветр крутой в поле...»:

При луне, на версте
Мороз — огонечками.
Про живых весть донес —
Песню с позвоночками.

С-1, т. 2. Печ. по С-2, т. 2, с. 79.

123. «Новый Леф», 1927, № 3, с. 11; Избр. 1933; СЛ (1959). Печ. по СС, т. 2, с. 26, где Асеев вернулся к ред. Избр. 1933. *Чужие придут — сгорим от свечи.* Ср. пословицу: «От свечи — Москва сгорела». *Сивцев Вражек, Старо-Конюшенный.* Район старинных особняков в Москве близ Арбата. *Цуг* — запряжка в экипаж нескольких лошадей гуськом. *За пояс засунув огромную руку-клешню.* Вероятно, намек на известный портрет Л. Н. Толстого, написанный И. Е. Репиным. *Малахай* — шапка на меху с широкими наушниками. *Повойник* — старинный головной убор в виде повязки. *Мы только от города взяли ключи.* Имеется в виду ритуал сдачи города, когда победители принимают у побежденных ключи от ратуши.

124. «Новый Леф», 1927, № 5, с. 17. Печ. по СС, т. 2, с. 142. Стихотворение «было вызвано нападками на «Леф» объединенных в общей атаке критиков; оно ... имеет злободневный центральный образ, проведенный через понятие «защитников традиций», данных в подсобных сравнениях «судей над Коперником», то «рабовладельцев» и, наконец, наших отечественных «охотнорядцев», прославившихся своей склонностью устраивать самосуд над застигнутым в одиночку своим принципиальным противником. Такой резкий подбор образов может показаться читателю чересчур грубым и необоснованным. Но... следует напомнить обстоятельства, которыми этот фельетон был вызван... Летом 1926 года в ряде длинных статей, помещенных на страницах наиболее тиражных наших изданий, были сделаны незаслуженно уничтожающие выпады и окрики на работу небольшого журнала, являющегося теоретическим и техническим проводником наших принципов литературной работы. Статьи эти были: 1) Лежнева — «Дело о трупе», в «Красной нови», 2) Ольшевца в «Известиях» с заглавием незапоминающимся, 3) Полонского в «Новом мире» — «Блеф продолжается», его же в «Известиях», «Леф или блеф», Шенгели — отдельной брошюркой «Маяковский во весь рост» и другие менее ругательные, но не менее злорадные по поводу якобы имеющегося кризиса левого фронта. Это дружная, но далеко не дружественная критика нашего тоненького, малотиражного вестника новых взглядов и оценок искусства была единодушна по своему желанию скомпрометировать работу «Лефа» среди широких читательских кругов... Кампания открылась двумя громадными «подвалами» в «Известиях», написанными Полонским под общим названием «Леф или блеф»... Вот тогда-то в положении совершенно неравной борьбы с богатыми информационными возможностями крупнейшего издательства, противопоставившего их небольшому нашему изданию, мной и был написан этот „Литературный фельетон“». (Работа над стихом, с. 88—92); см. также «Выступление на диспуте „Леф или блеф?“» Маяковского (т. 12, с. 325). *Полонский* В. П. (1882—1932) — критик, литературовед, в 1927 г. редактор журналов «Новый мир», «Красная нива», «Печать и революция». *Лежнев* А. (1893—1938) — литературный критик. *Шенгели* Г. А. (1894—1956) — поэт, переводчик, стиховед. *Коперник* Н. (1473—1543) — польский астроном, основатель учения о гелиоцентрической системе мира.

125. «Октябрь», 1927, № 7, с. 130, под загл. «Курортная беспризорная»; Избр. 1930, без строф 6 и 7. Печ. по СС, т. 2, с. 51. *Курский вокзал* — вокзал в Москве, от которого уходят поезда южного направления. *Декапод* — марка паровоза. *Мы здесь пропадем.* Во всех предшествующих публикациях было: «Мы здесь пропадаем».

126. «Правда», 1927, 6—7 ноября; Работа над стихом; С-1, т. 4, доп.; Разнолетье, без ст. 41—48, 58—65. Печ. по СС, т. 2, с. 165.

127. Изморозь, с. 7; С-1, т. 2; Избр. 1948. Печ. по СС, т. 1, с. 257, где Асеев вернулся к ред. кн. «Изморозь».

128. Изморозь, с. 13; С-1, т. 3; Разнолетье, без строфы 7; Избр. 1951. Печ. по СС, т. 1, с. 259. *Малахай* — см. примеч. 123. *Медный*

остров — один из группы Командорских островов. *Выселок* — новый поселок, выделенный из деревни. *Становье* — место временного поселения.

129. Изморозь, с. 41. Печ. по СС, т. 1, с. 279. *Тверская* — центральная улица Москвы, теперь ул. Горького.

130. Время лучших, с. 9. Печ. по СС, т. 1, с. 293.

131. Время лучших, с. 42. Печ. по СС, т. 1, с. 318.

132. Время лучших, с. 45. Печ. по СС, т. 1, с. 320. *Ненасытец* — один из порогов Днепра, в районе которых построен Днепрогэс.

* **133.** Молодые стихи, с. 79; С-1, т. 2; Избр. 1951. Печ. по СС, т. 2, с. 19. *Сакко* и *Ванцетти* — см. примеч. 104. *Черные рубахи* — форма итальянских фашистов. *Флибустьеры* — пираты.

134. С-1, т. 2, с. 7. Печ. по СС, т. 2, с. 7. Резкость тона Асеева объясняется остротой литературной борьбы в те годы. См. примеч. 124. *Филистер* — обыватель.

135. «Новый Леф», 1927, № 1, с. 13, в цикле «Песни с позвоночками», под загл. «Зимняя, снежная»; С-1, т. 2; Избр. 1938, без ст. 25—28. Печ. по СС, т. 2, с. 32, где Асеев вернулся к ред. С-1, т. 2.

136. «Новый Леф», 1928, № 2, с. 4; Н. Асеев, Разгримированная красавица, М., 1928, в тексте очерка «Рим»; С-1, т. 4, доп., в цикле «Итальянские стихи»; Избр. 1938, без ст. 50—53. Печ. по СС, т. 5, с. 234, где Асеев вернулся к ред. кн. «Разгримированная красавица». *Термы Каракаллы.* См. в очерке Асеева «Рим»: «Перед нами вырастает грандиозная развалина вдвое выше наших Триумфальных ворот. Колоссальные провалы окон и дверей — этажей в пять размером каждое окно и этажей в восемь двери. Камень странной кладки, грубый, ноздреватый. А стоит тысячелетие. Подходим ближе, видим надпись: «Термы Каракаллы». Кто купался в этих банях и на чьи пропорции они рассчитаны? Здесь мог уместиться целиком весь тогдашний Рим» (СС, т. 5, с. 233). Каракалла — римский император (211—217). *Ладаном монашества взят ты в плен.* См. там же: «Студенты всевозможных духовных училищ шныряют толпами и в одиночку, быстроглазые, румянощекие, — опора и надежда папского Рима. Черные взмахи, черные четки, черные шляпы — Рим обсело воронье, как павшую тушу, и машут крыльями лениво и грузно, не взлетая, отяжелев от сытой безопасности своей кормежки» (СС, т. 5, с. 232).

137. Н. Асеев, Разгримированная красавица, М., 1928, с. 30, в тексте очерка «Варшава — Вена»; С-1, т. 4, доп., в цикле «Итальянские стихи»; Избр. 1933, вне цикла. Печ. по СС, т. 5, с. 225. *Земмеринг* — железнодорожная станция в Австрии на пути к итальянской границе. «Горы густо заселены, не считая пансионов и санаториев. Вот бы где устроить здравницу всемирного отдыха для трудящихся. Воздух чист, и будто свет пропущен сквозь чистейшие световые

линзы. Тишина. Солнечный настой на сосновых иглах. Станция Земмеринг» (СС, т. 5, с. 224).

138. «Журнал для всех», 1928, № 3, с. 7.

139—145. «Октябрь», 1928, № 7, с. 178, с подзаголовком «Семь стихотворений»; Избр. 1951, под загл. «Пять стихотворений», исключены стих. 2, 4. Печ. по СС, т. 2, с. 126.

1. «Октябрь», 1928, № 7, с. 178, без ст. 29—30.
2. «Октябрь», 1928, № 7, с. 179; С-1, т. 4, доп.
3. «Октябрь», 1928, № 7, с. 180, без ст. 19—20; С-1, т. 4, доп.; Избр. 1951, без ст. 44—51.
4. «Октябрь», 1928, № 7, с. 181; С-1, т. 4, доп. *Арбат* — район Москвы.
5. «Октябрь», 1928, № 7, с. 182; С-1, т. 4, доп.; Избр. 1951, без ст. 29—32.
6. «Октябрь», 1928, № 7, с. 183; С-1, т. 4, доп.; Избр. 1951, без ст. 1—16. *Баптисты* — одна из христианских сект, проповедующая терпение и покорность.
7. «Октябрь», 1928, № 7, с. 184; С-1, т. 4, доп.

146. «Звезда», 1928, № 8, с. 55, без строф 6—7; Избр. 1933, без строфы 15, после строфы 12 — строфы 14, 16 и 13. Печ. по кн. «Работа над стихом», с. 97. *Гаршин* В. М. (1855—1888) — русский писатель. *Хипесница* — проститутка, обкрадывающая своих клиентов.

* **147.** Молодые стихи, с. 74; С-1, т. 2; Наша сила, без ст. 60—76; Избр. 1948; СП, т. 1, без загл. Печ. по СС, т. 2, с. 34.

148. С-1, т. 2, с. 10. Печ. по СС, т. 2, с. 10.

* **149.** С-1, т. 2, с. 12; Избр. 1938, без ст. 21—24, 45 и 48; Разнолетье, под загл. «Бодрая тревога»; С-2, т. 4; Избр. 1951. Печ. по СС, т. 2, с. 12, где Асеев вернулся к ред. С-2, т. 4.

150. С-1, т. 2, с. 15; Избр. 1947; Разнолетье, без ст. 13—16, 49—53. Печ. по СС, т. 2, с. 14.

151. С-1, т. 2, с. 18; С-2, т. 2; Разнолетье; Избр. 1953, т. 1, под загл. «Приходит лето»; СЛ (1959). Печ. по СС, т. 2, с. 16. *Нескучный* сад, *Серебряный бор, Воробьевы горы* — излюбленные места прогулок москвичей.

152. С-1, т. 2, с. 126. Печ. по СС, т. 2, с. 73.

153. С-1, т. 2, с. 169; Избр. 1951. Печ. по СС, т. 2, с. 100. *Аризона* — один из южных штатов США. *Олеонафт* — машинное смазочное масло.

154. «Молодая гвардия», 1929, № 2, с. 42. Печ. по СС, т. 2, с. 215. *Автодор* — Общество содействия развитию автомобильного транспорта, тракторного и дорожного дела (1927—1935).

* **155.** «Октябрь», 1929, № 2, с. 145, под рубрикой «Из поэмы „Три поколения“», без ст. 83—86; Избр. 1930; С-1, т. 4, доп., с разделением на три главы: 1 — ст. 1—37; 2 — ст. 38—76; 3 — ст. 77—119; Н. Асеев, Зоревое пламя, М., 1939, с разделением на две главы: 1 — ст. 1—37; 2 — ст. 38—119; Избр. 1951; Избр. 1953, т. 1. Печ. по СС, т. 2, с. 204. *Императорский университет* — Петербургский университет, основан в 1819 г. В 1846—1850 гг. там учился Н. Г. Чернышевский. *Гегель* Г.-В.-Ф. (1770—1831), *Фейербах* Л.-А. (1804—1872) — выдающиеся представители немецкой классической философии. *Стоит, объярмован позорной доскою.* Имеется в виду обряд «гражданской казни» Чернышевского. *Педель* — университетский смотритель.

156. «Журнал для всех», 1929, № 9, с. 7, без ст. 29; С-1, т. 4, доп. Печ. по СС, т. 2, с. 202.

157. Работа над стихом, с. 127. *И уйдет из семьи в Казань.* В 1887 г. В. И. Ленин поступил в Казанский университет. *Александр* — Ульянов А. И. (1866—1887), революционер-народоволец, казненный за участие в подготовке покушения на царя Александра III.

158. Работа над стихом, с. 145; С-1, т. 4, доп.; Памяти лет. Печ. по СС, т. 2, с. 170. *Симбирская даль.* В 1870 г. в Симбирске родился В. И. Ленин.

* **159—165.** Цикл возник в Избр. 1930, состоял из стих. 1—3, 5; Избр. 1947, стих. 1—5; Памяти лет, стих. 1—7 вне цикла. Впервые стих. 1—7 включены в цикл — СП, т. 1. Печ. по СС, т. 2, с. 252. В 1943 г. написаны, вероятно, заключительные строки цикла, посвященные Курской битве (лето 1943).

1. «Новый мир», 1926, № 1, с. 37, под загл. «Курские края»; Избр. 1930, загл. «Вступление» относится только к гл. 1, гл. 2 — в качестве самостоятельного стих. цикла; Наша сила, без разделения на части, под загл. «Курские края» и с подзаголовком «Вступление», вне цикла. *Потылица* — затылок. *Свинчатка* — плеть со свинцовым грузом. *Путивль, Суджа, Обоянь* — города бывшей Курской губ. *Тускорь* — река, протекающая через Курск. *Нижни Деревеньки* — поселок в Льговском районе Курской обл., известный своими ярмарками.

2. «Новые стихи» 1, М., 1926, с. 5, под загл. «„Курские края“. Отрывок из поэмы в стихах», ст. 1—12, 29—32; Избр. 1930; Избр. 1947.

3. Альм. «Охотничье сердце», 1927, с. 119; альм. «Земля и фабрика», кн. 1, Л., 1928, под загл. «Дед и бабка», включает ранний вариант стих. «Бабка», больше не перепечатывавшийся (др. ред.); Зоревое пламя, без строфы 6; Избр. 1951. В одном из писем Асеев рассказывал: «Первым живым поэтом, встретившимся мне в жизни, был мой дед Николай Павлович Пинский. Его фантастические рассказы о собственных приключениях должны были бы быть записанными... Например, о быках, дравшихся у шалаша, в котором дед заночевал. Быки дрались так яростно, что от летевших от

ударов их лбов искр загорелся шалаш. Или же о зайце, унесшем дедовы часы... Так вот, заяц, сиганувший через куст, на котором дед развесил во время привала часы, унес часы. Зайца этого потом, когда он из русака сделался уже беляком, все же настиг выстрел деда. Часы оказались в целости, но что удивительно — они все еще шли!» (См.: Дм. Молдавский, Николай Асеев, М.—Л., 1965, с. 10—11). См. также «Путь в поэзию», с. 54 наст. изд. *Казенная палата* — губернский орган министерства финансов России. *«Лебеда»* — штучное охотничье ружье, названное по имени чешского мастера, делавшего эти ружья. *Робин Гуд* — герой английских народных баллад, здесь: смелый охотник.

4. Альм. «Земля и фабрика», кн. 1, Л., 1928, с. 344, под загл. «Дед и бабка» (др. ред.); «Тридцать дней», 1941, № 6, с. 20; Избр. 1947.

5. Избр. 1930, с. 50; Избр. 1953, т. 1, под загл. «Мальчик». *Огненными вихрами сразу пять солнц играют.* См. «Путь в поэзию», с. 55 наст. изд.

6. Памяти лет, с. 53, без загл.; СП, т. 1. Автограф — набросок начала, под загл. «Гл. III. Детство. Ученик». Автограф ст. 41—72 с разночтениями. Автограф ст. 21—84, под загл. «II. Панорама расширяется». *Полторацкого номера*,—номера для проезжающих в гостинице Полторацкого в Курске. *Вот таков же и город Льгов, инде звавшийся Ольгов-градом* и т. д. См. «Путь в поэзию», с. 53 наст. изд.

7. Раздумья, с. 83, под загл. «Стихи детства», без ст. 77—80, 89—96, вне цикла; Памяти лет. Автограф — ст. 1—20. *То ли клики в военном стане* и т. д. — навеяно «Словом о полку Игореве».

166. «Новый мир», 1930, № 5, с. 5; Избр. 1948, без ст. 247—257. Печ. по СС, т. 2, с. 321. Написано на смерть Маяковского. *Всего ведь как несколько куцых суток ты звал меня в свой дом.* О последней встрече Асеева с Маяковским см. в «Воспоминаниях о Маяковском» главу «В последний раз» (СС, т. 5, с. 646—649). *Бесценных слов транжира и мот* — неточная цитата из стих. Маяковского «Нате!» *Мой дом теперь не там, на Лубянском, и не в переулке Гендриковом.* Последние годы Маяковский жил в Гендриковом переулке, в Лубянском проезде находился его рабочий кабинет. *Если же ты, Асеев Колька, которого я любил и жалел.* Ср. в «Юбилейном» Маяковского: «Правда, есть у нас Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя». *Под мраморной задницею мещанства.* Ср. в стих. Маяковского «О дряни»: «Намозолив от пятилетнего сидения зады, крепкие, как умывальники».

167. С-1, т. 4, доп., с. 156. Печ. по СС, т. 2, с. 190.

168. «Литературная газета», 1931, 20 июля. Печ. по кн.: Н. Асеев, Большой читатель, М., 1932, с. 79. *РККА* — Рабоче-крестьянская Красная Армия. *Ромб* — офицерский знак различия в Советской армии до 1943 г.

169. «Литературная газета», 1932, 11 сентября. Печ. по СС, т. 3, с. 209.

170. Н. Асеев, Обнова, Л., 1934, с. 20. Печ. по СС, т. 3, с. 105. Стихотворение «написано с полной уверенностью в праве высказаться на эту тему. Время было трудное, постоянно сообщалось о нападении и убийствах кулачьем рабкоров. Я был своего рода рабкором, постоянно печатаясь в газетах на самые острые темы. Кроме того, у меня были личные столкновения. Так что тема была не выдуманной, она просилась наружу. Я придал ей несколько романтический характер — столкновение двух соперников» (СС, т. 5, с. 401).

171. «Правда», 1933, 5 января, под общим загл. «Наброски поэмы»; Избр. 1947, в цикле «Кавказские стихи»; Разнолетье, без строфы 10. Печ. по СС, т. 3, с. 226, где Асеев вернулся к ред. газ. «Правда». Накануне 1933 г. Асеев дал следующее интервью: «Я уже в течение 8 месяцев работаю над сбором и проработкой материала к большой поэме о гражданской войне и партизанщине на Северном Кавказе. В этой поэме я хочу дать тип человека — незаметного, скромного коммуниста, на плечах которого была вынесена революция. Сложность материала, который я затронул в поэме, делает ее очень увлекательной. Поэма займет около 10 000 строк» («Литературная газета», 1932, 29 декабря). Этим и объясняется общее заглавие в газетной публикации.

172. «Новый мир», 1933, № 2, с. 90, в составе стих. «Селение христианское» (ст. 93—171), из остального текста возникли два других стихотворения: «Митинг в горах» и «Праздник с боем»; Высокогорные стихи; Избр. 1947, в цикле «Кавказские стихи». Печ. по СС, т. 3, с. 242. *Газыри* — металлические гнезда для патронов, нашитые рядами на черкеску. *Амханаго* (груз.) — товарищ. *Кацо* (груз.) — друг, приятель.

173. «Новый мир», 1934, № 11, с. 19, в цикле «Два стихотворения». Печ. по СС, т. 3, с. 252. Беловой автограф.

174. «Новый мир», 1934, № 11, с. 20, в цикле «Два стихотворения». Печ. по СС, т. 3, с. 254.

175. «Звезда», 1936, № 4, с. 16. Печ. по СС, т. 3, с. 256.

176. «Правда», 1934, 18 августа, без ст. 27—43; Высокогорные стихи. Печ. по СС, т. 3. с. 262.

177. «Известия», 1934, 6 октября, под загл. «Разговор с Краматорском». Печ. по СЛ (1959), с. 224. *Краматорский завод* — крупнейший завод тяжелого машиностроения. Осенью 1934 г. было пущено 13 его цехов. *Крупп* — владелец металлургических и военных заводов в Германии. *Шнейдер-Крезо* — владелец военных заводов во Франции. *Сквозная бригада* — объединение рабочих различных профессий, последовательно выполняющих операции всего технологического процесса.

178. «Известия», 1935, 1 марта, в цикле «Внесезонные стихи», без разделения на части; «Звезда», 1936, № 4, ч. 3 начиналась последней строфой ч. 2. Печ. по кн. «Высокогорные стихи», с. 64.

179. «Известия», 1935, 1 марта, под загл. «Двое неизвестных», в цикле «Внесезонные стихи»; «Звезда», 1936, № 4, в цикле «Роман позапрошлого года». Печ. по СС, т. 3, с. 274.

180. «Известия», 1934, 30 сентября, под загл. «Кавказ», без ст. 34—53; Высокогорные стихи; Разнолетье; Избр. 1953, т. 1, под загл. «Быль». Печ. по СС, т. 3, с. 221. *Картвели* — так называют себя грузины.

181. Высокогорные стихи, с. 14. Автограф стих. «Хор вершин» вместе со стих. «Рождение облака» под общим загл. «Высокогорные стихи».

182. Высокогорные стихи, с. 15. *Водопад Муруджу* — на реке Уллу-Муруджу в Домбае.

* **183—187.** «Звезда», 1936, № 4, с. 4, стих. 1—4 в цикле «Роман позапрошлого года», с подзаголовком «Весна 1932»; Избр. 1938, стих. 1—4 под загл. «Весна 1932», в цикле «Роман позапрошлого года». Впервые полностью — Высокогорные стихи. Печ. по СС, т. 3, с. 249. Автограф стих. 5 под загл. «Жестокий романс».

188. «Тридцать дней», 1941, № 6, с. 20. Печ. по СС, т. 3, с. 365. *Газыри* — см. примеч. 172.

189. Избр. 1947, с. 113. Автограф под загл. «Поэма войны. Вступление». Автограф под загл. «О стрекозе, стрелке и счастье» в тетради с надписью: «Николай Асеев. 1941. Написанное в Чистополе», дата: 1941.IX.9. Тетрадь открывается эпиграфом:

Дунут ветры победы —
в них дыханье вложи.
Будут песни пропеты
без бахвальства и лжи.

1941.X.12

190. «Красноармеец», 1943, № 12, с. 12, под загл. «1941—1943», без строфы 13; Пламя победы; Избр. 1947, после строфы 8 — строфы 10 и 9. Печ. по СС, т. 4, с. 21, где Асеев вернулся к ред. кн. «Пламя победы». Автограф строф 1, 3 в тетради с дарственной надписью С. Михалкова.

191. Самые мои стихи, с. 11. Печ. по СС, т. 4, с. 240.

192. «Гудок», 1945, 27 июля, под загл. «Там, где падали бомбы» (др. ред.); Избр. 1947, под загл. «Военные поезда». Печ. по кн. «Памяти лет», с. 173.

* **193.** Самые мои стихи, с. 21, ст. 1—77, без обозначения части, ч. 1 — ст. 78—105, ч. 2 — ст. 106—170. Печ. по СС, т. 4, с. 251. *Остаток забытого царства Булгарского.* Булгарское государство существовало в Среднем Поволжье и Нижнем Прикамье в X—XV вв.

194. «Красноармеец», 1943, № 15, с. 20, без строфы 10; Пламя победы; Избр. 1948. Печ. по СС, т. 4, с. 56. Посвящено важному событию войны, вошедшему в историю под назв. «Битва за Кавказ». Потерпев неудачу при попытке захватить Кавказское побережье с моря, немецкая армия стала рваться через Главный Кавказский хребет, заняла Черкесск, Моздок, приближаясь к *Клухорскому перевалу.* В январе 1943 г. наши армии перешли в наступление и отбросили немцев.

195. «„Боевая молодость". Стихи советских поэтов о комсомоле и молодежи», М., 1943, с. 74. Печ. по СС, т. 4, с. 65.

196—200. Самые мои стихи, с. 17. Печ. по СС, т. 4, с. 246. Автограф стих. 5, дата: 1941.X.5. *Тридцать четвертый стрелковый* — полк, в котором Асеев служил во время первой мировой войны. *Я столько и так про тебя писал.* К. М. Асеевой (Синяковой) посвящены книги «Зор», «Оксана», раздел «Будетляне» в кн. «Бомба», «Стальной соловей», «Избрань», она упоминается в ряде стихотворений, в поэме «Маяковский начинается» и многих других произведениях Асеева.

201. Самые мои стихи, с. 26.

202—204. «Тридцать дней», 1941, № 5, с. 3, стих. 2, под загл. «Раннее весеннее», вне цикла; «Литературная газета», 1946, 1 мая, стих. 1—2, под общим загл. «Май», вне цикла; впервые полностью — «Советская женщина», 1946, № 3, с подзаголовком «Три стихотворения». Печ. по СС, т. 4, с. 265.

205. Пламя победы, с. 3. Автограф без загл.

206. «Огонек», 1947, № 12, с. 24, без загл., в цикле «Рижское взморье». Печ. по Избр. 1951, с. 172. В СС дата: 1950.

207. «Огонек», 1947, № 12, с. 24, в цикле «Рижское взморье».

208. Н. Асеев, Тёшка, М.—Л., 1947. Печ. по кн. «Раздумья», с. 87.

209. Разнолетье, с. 157. Эти же строфы в несколько измененном виде вошли в состав стихотворения того же года «Всему народу» (СС, т. 4, с. 280).

210. «Дружба народов», 1955, № 2, с. 65, под загл. «Следя полет облаков». Печ. по кн. «Раздумья», с. 45. Два автографа с разночтениями.

211. «Огонек», 1950, № 37, с. 22, в цикле «В Абхазии». Печ. по СС, т. 4, с. 299.

212. Разнолетье, с. 161; СП, т. 1, в цикле «Времена года». Печ. по СС, т. 4, с. 307, где Асеев вернулся к ред. кн. «Разнолетье».

213. Разнолетье, с. 263, ст. 21—24 после ст. 40. Печ. по Избр. 1951, с. 131.

214. «Новый мир», 1951, № 8, с. 145. Автограф без загл.

215. «Огонек», 1953, № 9, с. 15, под загл. «Весенняя песня»; Раздумья; СП, т. 1, в цикле «Времена года». Печ. по Избр. 1953, т. 1, с. 166. Автограф под общим загл. «Подмосковные стихи».

216. Раздумья, с. 43. Псч. по СС, т. 4, с. 111.

217. «Огонек», 1953, № 42, с. 22, под загл. «Сентябрь». Печ. по кн. «Раздумья», с. 52.

218. Избр. 1953, т. 1, с. 167; СП, т. 1, в цикле «Времена года». Печ. по СС, т. 4, с. 309, где Асеев вернулся к ред. Избр. 1953.

219. Избр. 1953, т. 1, с. 163; СП, т. 1, в цикле «Времена года». Печ. по СС, т. 4, с. 310, где Асеев вернулся к ред. Избр. 1953.

220. Избр. 1953, т. 1, с. 164; СП, т. 1, в цикле «Времена года». Печ. по СС, т. 4, с. 311. Автограф, дата: 1950.

221. Избр. 1953, т. 1, с. 165; СП, т. 1, в цикле «Времена года». Печ. по СС, т. 4, с. 312, где Асеев вернулся к ред. Избр. 1953.

222. Раздумья, с. 46.

223. Раздумья, с. 48.

224. Раздумья, с. 55.

225. СС, т. 4, с. 315.

226. Раздумья, с. 7. Автограф. *«Страшная месть» и «Майская ночь»* — повести Н. В. Гоголя. В одном из писем Асеев писал: «А Гоголь? Да разве его словечки, обороты, весь строй его творчества, разве это проза? Ведь за что ни возьмись, пышет жаром зреющих колосьев; и вдруг — холод прошлого, могильный холод «Вия», «Майской ночи», «Страшной мести»! Откуда это столкновение доброго и злого, человечного и бесчеловечного, противучеловечного? Не забралась ли к Рудому Панько под свитку чудесная триада «единства противоположностей»? Не жалит ли она его необходимостью нового качества, нового прыжка в развитии истории человечества?» («Литературная Россия», 1966, 8 апреля, с. 22).

227. Раздумья, с. 19. Два автографа без загл.

228. Раздумья, с. 51.

229—231. Раздумья, с. 115; СП, т. 1, в цикле «Рижское взморье». Печ. по СС, т. 4, с. 115.

1. «Огонек», 1947, № 12, с. 24, без загл. (др. ред.), в цикле «Рижское взморье».

232. «Дружба народов», 1955, № 2, с. 66. Автограф строф 1—2 без загл.

* **233—237.** «Дружба народов», 1955, № 12, с. 65. Печ. по СС, т. 4, с. 324. Стих. 4 (др. ред.) и стих. 5, с разночтениями, под общим заглавием «О поговорках» напечатаны в еженедельнике «Литературная Россия», 1966, 16 сентября, с. 10. Автограф стих. 4 под загл. «О поговорках».

238. «Дружба народов», 1955, № 12, с. 67. Печ. по кн. «Памяти лет», с. 82. Три автографа без загл. *Вечный спор Ромео с Джульеттой о жаворонке и соловье.* Имеется в виду трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта», акт 3, сцена 5.

239. «Дружба народов», 1955, № 12, с. 67; Памяти лет, в цикле «Конец лета»; Лад, в цикле «Золотые шары». Печ. по СС, т. 4, с. 141. Автограф в цикле «Золотые шары».

240. «Огонек», 1956, № 3, с. 13, под загл. «Солнцеворот», в цикле «Поздняя лирика»; Памяти лет, в цикле «Конец лета»; Лад, в цикле «Золотые шары». Печ. по СС, т. 4, с. 142. Автограф без загл.

241. «Огонек», 1956, № 3, с. 13, под загл. «Зрелость», в цикле «Поздняя лирика»; СЛ (1959), без последней строфы. Печ. по кн. «Лад», с. 90. Автограф с разночтениями.

242. «Огонек», 1956, № 3, с. 13, под загл. «Небо в сильный ветер», в цикле «Поздняя лирика». Печ. по кн. «Стихи», с. 247. Два автографа без загл. с разночтениями.

243. «День поэзии», М., 1956, с. 7, после ст. 42 — ст. 51—59; СЛ (1959). Печ. по СС, т. 4, с. 198. Асеев считал это стихотворение одним из сильнейших. Об истории его создания см. СС, т. 5, с. 399—400. *Керженец* — левый приток Волги. Этот район в прошлом был центром раскольничьих скитов.

244. «День поэзии», М., 1956, с. 7; СЛ (1959). Печ. по СП, т. 1, с. 332.

245. «Литературная Москва», М., 1956, с. 242; Памяти лет. Печ. по кн. «Лад», с. 115. *А тому Новодевичий вид не по нраву.* Маяковский похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. *Чтобы всем бы хватало одеяла и ласки.* Ср. в поэме Маяковского «Хорошо!»: «Нельзя на людей жалеть ни одеяло, ни ласку».

246. Памяти лет, с. 160. *Пять сестер* — Зинаида Михайловна Мамонова (р. 1894), оперная певица; Ксения Михайловна Асеева (р. 1902, см. примеч. 196—200); Вера Михайловна Гехт (р. 1904); Мария Михайловна Уречина (р. 1898, см. примеч. 23); Надежда Михайловна Пичета (р. 1897), пианистка.

247. Памяти лет, с. 236, в цикле «Конец лета»; Лад, в цикле «Золотые шары». Печ. по СС, т. 4, с. 140. Автограф без загл., в цикле «Конец лета».

248. «День поэзии», М., 1957, под загл. «Счастье». Печ. по СЛ (1959), с. 6.

249. «Литература и жизнь», 1958, 9 мая, под рубрикой «Из стихов о Западе». Автограф под загл. «На тему о Гарсиа Лорка». *Лорка* Ф.-Г. (1898—1936) — испанский поэт, расстрелянный фашистами. *Андалузия* — обл. на юге Испании. *Валенсия* — обл. на востоке Испании. *Шел он гордо, срывая в пути апельсины* и т. д. Ср. стих. Гарсиа Лорки «Арест Антоньито эль Камборьо на Севильской дороге», переведенное Асеевым:

Беспечный, на полдороге
Нарезав лимонов спелых,
Он ими швырялся в воду,
Ее золотою сделав.

Беспечный, на полдороге
Он взят был почти задаром;
Ему закрутили руки
Крест-накрест назад жандармы.
. . . .
Меж тем лимонад жандармы
Пьют и вкушают отдых.
Его под вечер, в девять
Скрывают тюремные своды.

(СС, т. 4, с. 574—575)

В действительности Лорка был расстрелян при других обстоятельствах (см.: А. Гелескул, Федерико Гарсиа Лорка. — В кн.: Федерико Гарсиа Лорка, Лирика, М., 1965, с. 21).

250. «Литература и жизнь», 1958, 4 июля, в цикле «Из стихов о Западе». Печ. по СС, т. 4, с. 347. В стихотворении использованы мотивы незаконченного романа Чарльза Диккенса *«Тайна Эдвина Друда». Вестминстер.* Имеется в виду кладбище в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, где похоронен Диккенс.

251. «Дружба народов», 1958, № 8, с. 37. *Громобой* — см: В. А. Жуковский, «Двенадцать спящих дев» («Баллада первая. Громобой»).

252—256. «Комсомольская правда», 1959, 1 января, стих. 2—4; СЛ (1959), стих. 1—4. Впервые полностью — СП, т. 1. Печ. по СС, т. 4, с. 211.

1. СЛ (1959), с. 7; СП, т. 1. Автограф под загл. «Вступление».

2. «Дружба народов», 1958, № 8, с. 36, под загл. «Разговор звезд», вне цикла; «Комсомольская правда», 1959, 1 января; СЛ (1959); СП, т. 1. Автограф под загл. «Звездная повесть», вариант заглавия — «Звездный роман». *Звезда говорит со звездою* — ср. со стих. М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу. . .».

3. «Комсомольская правда», 1959, 1 января; СЛ (1959); СП, т. 1.

4. «Комсомольская правда», 1959, 1 января, без строфы 10; СЛ (1959), без строфы 9; СП, т. 1. *Шестое? Девятое чувство?* Ср. в стих. Л. Н. Мартынова «Седьмое чувство» (1952): «Тоньше и тоньше становятся чувства, их уж не пять, а шесть».

5. СП, т. 1, с. 353. *Эйнштейн* А. (1879—1955) — физик, создатель теории относительности.

257. «Октябрь», 1959, № 1, с. 122. Печ. по СС, т. 4, с. 153. Стихотворение обращено к Л. Н. Мартынову. *«Музыкальный ящик»* — стих. Л. Н. Мартынова. *Я сам писал про соловья стального.* См. стих. «О нем» и примеч. 85.

258. «Литературная газета», 1959, 14 апреля.

259. «Москва», 1959, № 7, с. 142.

260. «Известия», 1959, 7 августа. Печ. по кн. «Лад», с. 87. Автограф строф 4—6. Автограф под загл. «Время». Автограф под загл. «Семидесятилетнее» содержит набросок строф, частично вошедших в стих. «Микула». *Семидесятое лето.* Асеев родился 27 июня 1889 г.

261. «Известия», 1959, 25 октября. Автограф с разночтениями.

262. «Учительская газета», 1960, 2 февраля, в цикле «Грустные стихи». Печ. по кн. «Лад», с. 134. Автограф без загл., дата: 1959, 8 декабря.

* **263.** «Москва», 1963, № 1, с. 5. Печ. по СС, т. 4, с. 365. Автограф без строфы 4, дата: 1952. Автограф без загл., с разночтениями.

264. «Знамя», 1960, № 3, с. 110. Печ. по СС, т. 4, с. 218. *Зачем они зажигаются?* Ср. в стих. Маяковского «Послушайте!»: «Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?»

265. «Правда», 1960, 23 октября, под загл. «Птицы». Печ. по кн. «Лад», с. 18.

266. Самые мои стихи, с. 6.

* **267.** «Литературная газета», 1960, 9 января, без загл.; «Молодая гвардия», 1960, № 1. Печ. по кн. «Лад», с. 33. Автограф под загл. «Душа цветов» (др. ред.).

268. «Москва», 1960, № 1, с. 139. Печ. по кн. «Лад», с. 46. *Дыханье, дух, душа — одно ли это?* Ср. с трактовкой слова «вдохновение» в статье Асеева «Опыт и вдохновение» (1960): «Предполагается обычно отрешенность ото всего земного, полет воображения, не контролируемого рассудком, какое-то состояние восторга или транса, свойственного только в редкие минуты редким людям. А ведь стоит вдуматься в происхождение этого слова, как прояснится и его значение. Корень слова — «вдох» — первая половина полного человеческого дыхания. В народной этимологии «вдох», «душа», «вздох» — однозначны, все они составляют дыхание, а значит, и жизнь... Переносное же, образное значение прилагается к предметам или понятиям, одухотворяющимся через придание им дыхания» (СС, т. 5, с. 402—403).

269. «Москва», 1960, № 1, с. 139. *Царь-колокол и царь-пушка* — реликвии московского Кремля.

270. «Октябрь», 1960, № 10, с. 3. Печ. по кн. «Лад», с. 13.

271—273. Лад, с. 28. Печ. по СС, т. 4, с. 143. Автограф стих. 1 под загл. «Вечно вешние стихи», дата: 1961, август. Автограф стих. 2 под загл. «Простые стихи». Автограф стих. 3 без загл.

* **274.** «Литература и жизнь», 1960, 30 ноября. Печ. по кн. «Лад», с. 63. Автограф, дата: май, 1960. Два черновых автографа с разночтениями. *Сэр Вильсон* — Вильсон Р.-Т. (1777—1840) — британский посол в России, состоял при главной квартире Кутузова, сторонник наступательных действий против Наполеона. *Беннигсен* Л. Л. (1745—1826) — барон, уроженец Ганновера. Начальник главного штаба, за интриги и противодействие Кутузову в 1812 г. снят с этого поста.

275. «Молодая гвардия», 1961, № 1, с. 4. Печ. по кн. «Лад», с. 127. Автограф без загл., без строфы 7.

276. «Литературная газета», 1962, 20 февраля. Печ. по кн. «Самые мои стихи», с. 7. *Хлебников* — см. примеч. 9 и 82. В статье о нем Асеев писал: «Хлебников был одним из первых, отказавшихся от услуг и помощи буржуазного общества. Абсолютно бескорыстный и не заинтересованный в устройстве личных удобств, отказавшийся от семьи и от минимального комфорта, жил этот «странный» человек одним огромным будущим, ища для него выражения, пристально высматривая его зарождение в прошлом, изобретая для него ту «азбуку ума», которая могла бы объяснить в будущем сложные процессы языкового накопления опыта человечества» (СС, т. 5, с. 547—548). В стихотворении использованы евангельские образы. *Пророк, на торжище явившийся во храм...* — о торгующих во храме говорится в «Евангелии от Марка» (гл. 11, ст. 15). *Мытарь* (еванг.) — сборщик налога с торгующих; корыстный человек. *Я не отрекся, и петух не пел полуночь.* Иисус сказал апостолу Петру: «прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня» («Евангелие от Матфея», гл. 26, ст. 34). *А если мыслью и пылинки ты не сду-*

нешь — о вере, двигающей горами («Евангелие от Матфея», гл. 21, ст. 21).

277. «Литературная газета», 1962, 20 февраля. Печ. по кн. «Самые мои стихи», с. 7. *Бернс* Р. (1759—1796) — шотландский поэт, для его стихотворений характерны рефрены, подобные тем, какими пользуется здесь Асеев. См., напр., стих. Р. Бернса «Честная бедность» с рефреном: «При всем при том, при всем при том». *Все семь всемирных мудрецов.* Имеются в виду полумифические мудрецы Древней Греции: Фалес Милетский, Биас Приэнский, Питтан Митиленский, Солон Афинский и другие, которым приписываются краткие изречения практической мудрости.

278. «Знамя», 1962, № 1, с. 26, под загл. «Сестрам-садовницам», над заголовком «Нет на свете ничего прекрасней». Печ. по кн. «Самые мои стихи», с. 3. Автограф под загл. «Женщине-садовнице», дата: лето — осень 1961. Автограф без загл. *Феокрит* (III в. до н. э.) — греческий поэт эллинской эпохи.

279. «Знамя», 1962, № 1, с. 27, над заголовком «Нет на свете ничего прекрасней». Печ. по кн. «Самые мои стихи», с. 5. Автограф без загл.

280. «Знамя», 1962, № 1, с. 28, над заголовком «Нет на свете ничего прекрасней». Печ. по кн. «Самые мои стихи», с. 5. *Хемингуэй* Э. (1899—1961) — американский писатель.

281. «День поэзии», М., 1962, с. 41, под загл. «С кем ты знаком?». Печ. по кн. «Самые мои стихи», с. 9. Автограф под загл. «С кем ты знаком?», дата: 1962, 19 января. Автограф без загл. *Опекушин* А. М. (1841—1923) — автор памятника Пушкину в Москве на Пушкинской площади. *Из современников был я дружен* и т. д. Имеется в виду Маяковский.

282. «Правда», 1962, 14 апреля. Печ. по СС, т. 4, с. 375. Автограф без загл., дата: 1962.

283. «Литературная газета», 1962, 16 октября. Автограф.

284—285. Печ. по автографу. Эпиграф к стих. 1 — из стих. А. А. Вознесенского «Гитара», к стих. 2 — неточная цитата из стих. Ю. П. Мориц «Памяти Тициана Табидзе». Автограф стих. 1 под загл. «Гитара Андрея Вознесенского» с эпиграфом: «Ну, говори хоть ты со мной, гитара семиструнная. . .» — неточной цитатой из стих. А. Григорьева «О, говори хоть ты со мной. . .». *Гитана* — испанская цыганка.

286. «Москва», 1963, № 1, с. 4. Автограф под загл. «Памятка». *Ни кибитки да тройки* и т. д. Имеется в виду поэма Н. А. Некрасова «Русские женщины» (1871—1872), посвященная женам декабристов.

287. «Москва», 1963, № 8, с. 56. Автограф. *Триумфальная площадь* переименована в 1935 г. в площадь Маяковского. *А худой худому сродни.* Ср. письмо Асеева, объясняющего сближение с Маяковским тем, что оба «были уличными мальчишками, недоучками и провинциалами, вдруг попавшими в огромный город» (см.: Дм. Молдавский, Николай Асеев, М.—Л., 1965, с. 21).

288. «Литературная Россия», 1966, 16 сентября, с. 10. Печ. по автографу.

ПОЭМЫ

289. «Леф», 1923, № 4, с. 29; Избр. 1947, без подзаголовка. Печ. по СС, т. 1, с. 361. Гл. 1. *«Черный принц»* — английский корабль. Во время Крымской войны доставил одежду, боеприпасы, артиллерийские орудия, жалованье морякам, но затонул со всем грузом и экипажем в Балаклавской бухте 2 (14) ноября 1854 г. В сентябре 1923 г. в СССР началась экспедиционная работа по подъему «Черного принца», закончившаяся неудачей. *Ют* — кормовая часть верхней палубы на корабле. *Бушприт* — брус на носу корабля, выдвинутый за борт. *Фал* — снасть для подъема рей и парусов. *Траверс* — направление, перпендикулярное курсу корабля. *Редут* — полевое укрепление с наружным рвом и бруствером. *Рангоут* — система брусьев для поддержания парусов. Гл. 2. *Лот* — морской прибор для измерения глубины. *Вестминстер* — округ Лондона, где находятся правительственные учреждения. Гл. 3. *Бриз* — легкий ветер. *Дублон* — старинная английская золотая монета.

290. Поэмы, с. 5; С-1, т. 2, как отд. стих. напечатаны гл.: «Некролог» под загл. «Некролог старой Москве», «Бульварная», «После нее», под загл. «Цветной бульвар», «Прощальная речь»; Избр. 1930, как отд. стих. напечатаны гл.: «Некролог», под загл. «Старой Москве», «Бульварная», «После нее», под загл. «Цветной бульвар», «Прощальная речь»; «Москва — песня», М., [1934], как отд. стих. напечатаны гл.: «Некролог», «Бульварная», «После нее», под загл. «Цветной бульвар», «Прощальная речь»; Избр. 1938, гл. «Некролог», под загл. «Некролог старой Москве». Печ. по СС, т. 1, с. 370. В статье «Только деталь» (1925) Асеев писал о «городском лице омолаживающейся Москвы»: «Оно — старушечье, рыхлое, дряблое — вдруг сверкнет таким задором, так передернется вдруг в ухмылке, так подмигнет лукавой ресницей, что невольно остановишься: почудилось, что ли, что эта старуха стародавняя вдруг пошла двадцатипятилетней походкой, задорно сверкая кипенью зубов. Смотришь — она опять уже плетется Мертвым переулком в выцветшей наколке с стеклярусным ридикюлем» (СС, т. 5, с. 64).

Некролог. *Садовые* — улицы, проложенные на месте снесенного земляного вала и рва XVI в. Длина всех Садовых улиц вокруг Москвы около 15 км. *Плющиха* — московская улица. *Под завшонной сношенной шинелью.* В годы разрухи и гражданской войны (1918—1920) Москва была охвачена эпидемией сыпного тифа. *Что трамваи* и т. д. 24 октября 1921 г. В. И. Ленин подписал постановление Ма-

лого Совнаркома о выделении средств на улучшение санитарного состояния Москвы. В записке наркому здравоохранения Н. А. Семашко он писал: «В Москве надо добиться образцовой (или хотя бы *сносной,* для начала) чистоты. . .» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 53, с. 300). Трамвайное движение возобновилось только в 1921 г. и было очень нерегулярным. *Сивцев вражек да Коровий брод* — улицы Москвы.

Бульварная. Общая протяженность бульваров в Москве — 10 км. *Улицы Мещанские.* В Москве «целая семья» Мещанских улиц. «Здесь опять тишь, более деловитая, чем на Пречистенке, менее постная и обиженная. Это тишь домов, хозяева которых ушли на разживу» (СС, т. 5, с. 61). *Тверская* — см. примеч. 129. *Брестский вокзал* — ныне Белорусский. *Улица Пречистенка* — ныне Кропоткинская. *Улица Остоженка* — ныне Метростроевская. «Прилепились Остоженка с Пречистенкой. Подобрали животы своих особняков. Опустились морщинками и складками переулки и тупики. Такое было житье, спокойное. Теперь старость и тишина... Есть тишина кладбища в этих отмерших углах города» (СС, т. 5, с. 60).

Наследство. *Зажатый в провалах Мясницкой, в ущелье у Красных ворот* и т. д. Мясницкая — ныне улица Кирова. Красные ворота — см. примеч. 76. «Есть живая стройность в беспорядочном кипении Мясницкой. Что она тесна, ущелиста, переполнена — нет спору» (СС, т. 5, с. 60). «Каменные ущелья сжимают иногда больнее, чем чаща, и безвыходность заблудившегося путника бывает здесь беспомощней, чем в девственной глуши» (СС, т. 5, с. 9). *Пятницы и среды* — постные дни. *Чума на заре пировала глухой вальсингамовский бред.* Имеется в виду «Пир во время чумы» Пушкина. Герой трагедии Вальсингам поет гимн в честь чумы. *Отчаянной флейты сигнал.* «Читатель помнит, наверное, заунывные звуки флейты, сотрясавшие звериной тоской ущелья малоосвещенного Арбата и Петровки в первые годы нэпа? Флейта иногда заменялась скрипкой. Эти камерные инструменты боролись с каменным резонансом улиц, оплывая их жалостливыми воплями покинутости и безволья» (СС, т. 5, с. 17).

После нее. *Желтобилетная листва бульварная.* Намек на желтый билет — паспорт на бланке желтого цвета, выдававшийся в дореволюционные годы проституткам. *Расчет на золото, и на товарные, и на червонные.* В 20-е годы в связи с обесценением бумажных денег на чёрном рынке производились нелегальные сделки на золотые монеты царской чеканки; имел хождение также товарный рубль, обеспеченный хлебом. В октябре 1922 г. был введен советский червонец, обеспеченный золотом. *Вконец изруганный* и т. д. «Самым страшным был выходящий с Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинными, последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна завешивались изнутри... Здесь жили женщины, совершенно потерявшие образ человеческий, и их коты, скрывавшиеся от полиции... По ночам коты выходили на Цветной бульвар и на Самотеку, где их «марухи» замарьяживали пьяных. Они или приводили их в свои притоны, или тут же

раздевали следовавшие по пятам своих „дам" коты» (В. А. Гиляровский, Избранное в трех томах, т. 3, М., 1960, с. 96—97). «И блаженствовал трущобный мир на Грачевке и Цветном бульваре» (там же, с. 98).

Призрак бродит. В очерке «Охота на гиен» (1929) Асеев писал: «Он живет среди нас абсолютно законный и реальный, этот призрак больной фантазии былого... Почти фантом, почти призрак в своей недостоверности; почти неотличимый, неуловимый в своей обычности и похожести с первого взгляда на тысячи других людей. Вот откуда пошло в народе поверье о вурдалаках и упырях» (СС, т. 5, с. 26). *Китайгородская башня.* Белый город от Китай-города отделяла Китайгородская стена, имевшая 14 башен. В годы разрухи Китайгородские башни служили пристанищем для бродяг и беспризорников. *Он живет лишь думами о крысах.* Ср. очерк Асеева «Война с крысами» (1923) (СС, т. 5, с. 45—53). *Кутафья башня* — одно из предмостных сторожевых укреплений Кремля. Приземистое здание, высотою в 13,5 м.

Ее прошлое. *Лабаз* — помещение для торговли или хранения зерна, муки. *Селянка* — традиционное московское блюдо. *«Велядог»* — искаженное велодок (велодог) — тип револьвера. *Отрепьев* Г. (ум. 1606) — самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия Иоанновича. *Пугачев* — см. примеч. 55—56. *Разин* — см. примеч. 82. *Совбур* — советский буржуй. *Крематорий* в Москве начал функционировать в 1927 г.

Ее настоящее. *Тоуэр* (Тауэр) — лондонская цитадель, служившая некогда королевской резиденцией, а затем политической тюрьмой. *Версаль* — см. примеч. 59. *Кузнецкий мост* — улица, славившаяся своими магазинами. *Сорбонна* — Парижский университет, один из старейших учебных и научных центров Европы. *Швивая горка* — ныне Володарская улица. В очерке «Московские улицы» (1925) Асеев писал о ней: «Нет, честное слово, здесь на неведомых дорожках следы неведомых зверей. А уж про избушку на курьих ножках и говорить нечего. Она же на Швивой горке и сейчас, как сказано в точности, „без окон, без дверей"» (СС, т. 5, с. 60.) *Собачья площадка* — маленькая площадь в Москве, сейчас на месте ее проходит проспект Калинина.

Сны. *Я предлагаю имена: Завод Сталелитейнович, Забой Заботыч.* В эти годы Асеев увлекался техницизмом, что и отразилось в его стихотворениях, вошедших в кн. «Стальной соловей» (1922). *Святцы* — список святых и религиозных праздников в календарном порядке.

Прощальная речь. *Сбитень* — медовый напиток, традиционное московское блюдо. См. очерк В. Гиляровского «Чрево Москвы» (В. А. Гиляровский, Избранное в трех томах, т. 3, М., 1960, с. 172). *Взрывала ночью длинною из ржавых труб Неглинку.* «Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста тогда заливало при каждом ливне, и заливало так, что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это оттого, что никогда не чищенная подземная клоака Неглинки, проведенная от Самотеки под Цветным бульваром, Неглинным проездом, Театральной площадью и под Александровским садом вплоть до Москвы-реки, не вмещала воды, перепол-

нявшей ее в дождливую погоду» (В. А. Гиляровский, Избранное в трех томах, т. 3, М., 1960, с. 89). *Губная изба* — в старину помещение, предназначенное для арестованных. *Сусало* (сусальное золото) — тончайшая пленка, используемая для золочения.

291. «Бакинский рабочий», 1924, 22 сентября, под загл. «26»; «26», Сборник поэм и стихов памяти 26-ти бакинских комиссаров, Баку, 1926; Поэмы; С-2, т. 3. Печ. по СС, т. 1, с. 410. В СС дата: 1925. Посвящена 26-ти революционным деятелям Закавказья, расстрелянным 20 сентября 1918 г. «Поэма эта пользовалась большим успехом при чтении в аудиториях. В ней были сильные строки и страстная заключительная концовка. Но таких отдельных мест не хватало для сохранения поэмы во времени в целом. Почему? Потому что поэма эта не была для меня необходимостью... Она была написана по заказу газеты, а не по приказу души. И как бы ни перепечатывалась она и в журналах и в однотомниках, она все же не стала основной удачей в работе» (СС, т. 5, с. 401—402). Вступление. *Британская Индия маршем шлет своих офицеро́в.* Английские войска вошли в Баку 4 августа 1918 г. по требованию правых эсеров и меньшевиков, составивших большинство в Бакинском совете. *Сипай* — солдат колониальных войск Британской Индии. Путь. *Вот и нет советского следа* и т. д. 10 августа 1918 г. конференция бакинских большевиков вынесла решение эвакуировать советские отряды в Астрахань. *Прямо — через море — Красноводск* и т. д. В результате предательских действий команды пароход изменил курс и пристал в Красноводске, который находился под властью эсеровского правительства, опиравшегося на английские оккупационные войска. Смерть. *Перевал, Ахча-Куйма* — железнодорожные станции, между которыми в песках были расстреляны комиссары. Расстрел был совершен эсером Седых по распоряжению английского генерала У. Малесона и капитана *Реджинальда Тиг-Джонса. Телеграф в Ашхабаде стучит, стучит...* Интервентов поддерживало также ашхабадское эсеро-белогвардейское правительство. Кто предал. *Шаумян* С. Г. (1878—1918) — председатель бакинского Совнаркома. *Джапаридзе* П. А. (партийный псевдоним — «Алеша») (1880—1918) — комиссар внутренних дел бакинского Совнаркома. Заключение. *И в родном Баку вы погребены.* В сентябре 1920 г. останки расстрелянных были перенесены в Баку и похоронены на площади, названной именем Двадцати шести бакинских комиссаров. В 1924 г. обсуждался проект памятника погибшим революционерам.

292. «Русский современник», 1924, № 1, с. 89. Гл. 1 — под загл. «Тайна ночи», гл. 2 — «Рекорд быстроты», гл. 3 — «Механик»; Поэмы; С-1, т. 3. Печ. по СС, т. 1, с. 383. Гл. 2. *Таперша* — пианистка, аккомпанирующая немому фильму. *Корш* Ф. А. (1852—1923) — основатель крупнейшего в дореволюционной России драматического театра.

293. «Молодая гвардия», 1924, № 4, с. 5; «Октябрь в поэзии», Л., 1924, гл. «Вторая песня», под загл. «Каир»; Поэмы; С-1, т. 3. Печ. по СС, т. 1, с. 399. Первая песня. *Ладога* — Ладожское озеро в Ленинградской области. *Машук* — одна из горных вершин

Кавказа. *Где стальной играет соловей.* См. стих. Асеева «О нем» из кн. «Стальной соловей» (1922). Вторая песня. *Троя* — город в Древней Греции, связанный с легендарным именем Гомера. *Дувр, Гавр* — портовые города Франции. *Бизань* — нижний парус на бизань-мачте. Третья песня. *Вега* — звезда первой величины в созвездии Лиры. Четвертая песня. *«Эскадра старичья!»* — см. примеч. 106. Пятая песня. *Пироксилин* — сорт пороха.

294. «Леф», 1924, № 2, с. 5, с подзаголовком «Дневник в стихах» и эпиграфом (неточной цитатой) из стих. Генриха Гейне «Ich wollte bei dir weilen...» («Книга песен», раздел «Опять на родине», № 55):

Denk nicht, dass ich mich erschisse,
Wie schlimm auch die Sachen stehn:
Das alles meine Süsse
Ist mir schon einmal geschehn.

(Что б ни было, я стреляться
Не стану, ангел мой!
Ведь это все, признаться,
Когда-то уж было со мной).

Перевод В. Гиппиуса

С посвящением Алеше Левину; Поэмы; С-1, т. 3, гл. 7, 8, 9 объединены в одну главу; Наша сила, без ст. 1—57 в гл. 6 и без гл. 7; СП, т. 2, без гл. 1, 7 и 9, гл. 4 — без ст. 47—59, гл. 6 — без ст. 1—57, оставшиеся главы перенумерованы в другом порядке. Печ. по СС, т. 1, с. 386. Левин Алексей Сергеевич (р. 1893) — художник, примыкавший к Лефу, вместе с Маяковским работал в РОСТА. Гл. 3. *«Фауст»* — трагедия Гете. Вероятно, имеется в виду либретто оперы Ш. Гуно, написанное по мотивам трагедии. Гл. 5. *Хитрованцы* — обитатели ночлежек на Хитровском рынке в Москве. *Теми ж, ими же болтая об эпитетах в «Полтаве».* «Полтава» — поэма А. С. Пушкина. Здесь речь идет об академическом крохоборстве, ср. у Маяковского в стих. «Юбилейное», впервые напечатанном там же, где поэма «Лирическое отступление»: «Бойтесь пушкинистов. Старомозгий Плюшкин, перышко держа, полезет с перержавленным». Гл. 6. *А покамест сбивают биржи с гранитных катушек.* Вероятно, имеется в виду кризис, охвативший Европу после первой мировой войны. *Шейдеман* Ф. (1865—1939) — немецкий социал-демократ, на съезде СДПГ в июле 1924 г. выступил с антисоветскими выпадами, призывая сотрудничать с буржуазией. *Стиннес* Г. (1870—1924) — немецкий промышленник, о смерти которого в апреле 1924 г. сообщили газеты. *Макдональд* Д.-Р. (1866—1937) — один из основателей и лидеров лейбористской партии, глава первого лейбористского правительства (январь — ноябрь 1924 г.). *Пусть в Германии лица строги и Болгария в прах разбита.* Революционный кризис в Германии к концу 1923 г. закончился поражением пролетариата. В Болгарии в сентябре 1923 г. подавлено вооруженное восстание против фашистского режима Цанкова. *Мой дневник! Не стань анекдотом лорелейной грусти.* В немецкой легенде рассказывается о Лорелее, завора-

живающей пением рыбаков, которые разбивались о скалы у берегов Рейна. Гл. 7. *Мы долгов не платим и платить не будем.* В 1922 г. на Генуэзской конференции Великобритания и Франция потребовали признания Советским государством долгов царского и Временного правительств. Советская делегация по указанию В. И. Ленина отвергла эти требования, выдвинув контрпретензии о возмещении убытков, причиненных иностранной интервенцией и блокадой. Гл. 9. *И, когда колыхавшимся газом плыли беды* и т. д. В первую мировую войну Германия впервые в истории применила отравляющие вещества. *«Кодак»* — марка фотоаппарата.

295. «Красная новь», 1925, № 9, с. 133, гл. 7 и 8 объединены; С-1, т. 3; Разнолетье; Избр. 1951, гл. 1 — без ст. 25—32, гл. 8 — без ст. 9—16. Печ. по СС, т. 1, с. 418. Гл. 4. *Свердловец* — слушатель Коммунистической академии им. Свердлова; расформирована в 1936 г. *МОПР* — Международная организация помощи борцам революции (1922—1947). Гл. 7. *Но мы не забудем его нипочем — воронежского болота.* В районе Воронежа были разбиты кавалерийские корпуса Мамонтова и Шкуро; бои под Воронежем положили начало разгрому армии Деникина.

296. «Красная новь», 1927, № 10, с. 159, гл. «Две эпитафии», эпиграфы не полностью; «Октябрь», 1927, № 9, с. 127, гл. «Черный атаман», без эпиграфа; «Новый Леф», 1927, № 7, с. 11, гл. «Партизаны». Впервые полностью — Н. Асеев, Семен Проскаков, М.—Л., 1928, иллюстрирована фотографиями; Избр. 1938; Избр. 1951, гл. «Партизаны» — без ст. 34—45; Избр. 1953, т. 2, гл. «Черный атаман», без эпиграфа. Печ. по СС, т. 2, с. 331. Две эпитафии. *Колчак* А. В. (1873—1920) — адмирал, «верховный правитель» России, установивший в 1918 г. военную диктатуру в Сибири. *Путь мой искривлен рукой англичан.* Колчак после устранения от командования Черноморским флотом официально поступил на службу в британскую армию. *Если б мне снова, сломав свою шпагу, в Черное море бросить ее!* Под давлением Совета матросских и солдатских депутатов Колчак отказался от командования Черноморским флотом; при этом он «взял свою саблю и бросил ее в воду» («Допрос Колчака», М., 1925, с. 78). Черный атаман. *Черный атаман* — Анненков Б. В. (1890—1927), белогвардейский атаман, известный исключительной жестокостью; Анненков и анненковцы носили черную форму. *Чуни* — пеньковые лапти. *Кожух* — шуба из овчины. *Желтый лампас* — у уссурийских казаков. *Мы судим Анненкова.* Атаман Анненков в 1920 г. бежал в Западный Китай, в 1926 г. нелегально вернулся в СССР, был пойман и после суда расстрелян. *Брюллов* К. П. (1799—1852) — художник-романтик пушкинской эпохи, известен также как портретист. *Позапомнило их Семиречьице.* Карательные экспедиции Анненкова действовали в Семиреченской и Семипалатинской областях. Партизаны. *Елань* — оголенная возвышенность. *Мы ж хотим — без выдумок* и т. д. Строки подсказаны, по свидетельству Асеева, зачином «Слова о полку Игореве» (Писатели о себе. — «На литературном посту», 1927, № 11—12, с. 111). *«Что ты невеселый, наш товарищ командир?!»* Ср. в поэме А. Блока «Двенадцать»: «Что, товарищ, ты не весел?» *Семенов* Г. М. (1890—1946), *Калмыков* И. (ум. 1920) —

белоказачьи атаманы, действовавшие в Сибири. *Хорунжий* — чин в казацких войсках, равный званию подпоручика. *Дамблэ* (франц.) — идти на все, ва-банк. *Полк Ингерманландский* — драгунский полк, сформированный еще при Петре I (1704). ...*Румяной зарею покрылся восток.* Цитата из стих. А. С. Пушкина «Вишня». *Реляция* — донесение. *Мягкого опойка сапоги* — сапоги из телячьей кожи. П о е з д а. *Станция Зима* — на Сибирской железнодорожной магистрали между Красноярском и Иркутском. *Тесак* — короткая сабля. «В с т р е т и т ь с я н а с в е т е с у ж д е н о н а м в п е р е д и!» *Аргамак* — порода быстрых и легких верховых лошадей. *Корнилов* Л. Г. (1870—1918) — казачий генерал, один из лидеров контрреволюции. Вместе с генералом Алексеевым возглавлял Добровольческую армию.

297. «Новый мир», 1929, № 5, с. 22. *Шамиссо* А. (1781—1838) — немецкий писатель-романтик. *Чтоб нос путешествовал по проспекту, а тень отделялась от каблуков* и т. д. Имеются в виду повесть Н. В. Гоголя «Нос» и повесть А. Шамиссо «История Петера Шлемиля» — о человеке, потерявшем свою тень. *Гицель* — живодер.

298. «Звезда», 1937, №№ 2—4, 7, гл. 1—6, под загл. «„Маяковский“. Повесть в стихах», главы расположены в номерной последовательности, без названий. Гл. 1 с эпиграфом:

Тревожусь я о нем,
в щенка смирённом львенке.
Маяковский, «Юбилейное»

Гл. 2 с двумя эпиграфами:

...Надо мною
небо —
синий шелк.
Никогда
не было
так
хорошо.
Маяковский, «Хорошо»

Второй эпиграф тот же, что и в публикуемом тексте; гл. 3 — без ст. 95—164; гл. 4 — без ст. 109—116, 306—329; гл. 5 с эпиграфом:

Дай им,
заплесневевшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Маяковский, «Облако в штанах»

Те же главы в номерной последовательности, без отдельных загл. — «Октябрь», 1937, №№ 2, 3, 5, 8, под общим загл. «„Маяковский начинается“. Повесть в стихах». Гл. 3 имела второй эпиграф:

Лошадь упала,
 упала лошадь!

Маяковский,
«Хорошее отношение
к лошадям»

«Центр и окраины» (гл. 7) — «Литературная газета», 1939, 26 февраля, под загл. «Петроград», без эпиграфа. «Первая трагедия» (гл. 8) — «Октябрь», 1937, № 11, с. 70, без загл. и эпиграфа. «Впереди поэтовых арб» (гл. 9) — «Октябрь», 1940, № 3, с. 43, под загл. «Глава 9», без ст. 128—133, без эпиграфа. «Четырнадцатый год» (гл. 10) — «Октябрь», 1937, № 11, с. 72, под загл. «Четырнадцатый год. Глава 9». «Невский перед Октябрем» (гл. 11) — «Литературная газета», 1938, 7 ноября, под загл. «Митинг с Маяковским», без ст. 133—139, без эпиграфов. «Хлебников» (гл. 12) — «Сталинское племя», Киев, 1938, 14 апреля, под загл. «Маяковский и Хлебников» — ст. 9—16, 31—37, 87—102, без эпиграфа; «Литературная газета», 1938, 5 декабря, под загл. «Глава X. Хлебников», без ст. 1—8, 38—45. «Осиное гнездо» (гл. 13) — «Тридцать дней», 1940, № 3—4, с. 4, ст. 216—257, под загл. «О ямбе», без эпиграфа. «Разговор с неизвестным другом» (гл. 14) — «Новый мир», 1940, № 1, с. 170, под загл. «Разговор с другом о задолженности молодости». «Маяковский рядом» (гл. 15) — «Октябрь», 1939, № 1, с. 92, под загл. «Глава XIII»; «Смена», 1940, № 3, с. 16. «Косой дождь» (гл. 16) — «Известия», 1940, 12 февраля, под загл. «О любви», без ст. 137, 152, 218—235, 258—266, 274—287, без эпиграфа. «Площадь Маяковского» (гл. 17) — «Красная новь», 1939, № 10—11, с. 74, с эпиграфом:

Мне скучно
 здесь
 одному
 впереди —
поэту
 не надо многого, —
пусть
 только
 время
 скорей родит
такого, как я,
 быстроногого.
. . . .
Если б был я
 Вандомская колонна,
Я б женился
 на Place de la Concorde.

Маяковский, «Город»

«Эпилог» — «Тридцать дней», 1938, № 11, с. 65, под загл. «Новоселам земли»; «Огонек», 1939, № 9, с. 1, под загл. «Концовка пове-

сти „Маяковский начинается“». «Знаменосец революции» — «Октябрь», 1950, № 4, с. 76, под загл. «„Маяковский начинается“. Новые главы». Разделена на 4 главки. «Открытие Америки» — «Огонек», 1950, № 15, с. 9, под загл. «Дополнительная глава поэмы», с эпиграфом: «Эти нищие встают передо мной символом грядущей Европы, если она не бросит пресмыкаться перед американской и всякой другой деньгой» (Вл. Маяковский, Мое открытие Америки, 1925—1926 гг.). Впервые полностью — Н. Асеев, Маяковский начинается. Повесть в стихах, М., 1940, Роман-газета, № 3, с эпиграфом из «Вопросов ленинизма» Сталина; Н. Асеев, Маяковский начинается, Повесть в стихах в 17 главах с эпилогом, М., 1940, с иллюстрациями М. Синяковой-Уречиной; Избр. 1948 — без эпиграфа из «Вопросов ленинизма» Сталина; Избр. 1951 — впервые с дополнительными главами, гл. «Маяковский издали» — без ст. 233—240, гл. «Проба голоса» — без ст. 255—279, гл. «Отцы и дети» — без ст. 1—161, гл. «Впереди поэтовых арб» — без ст. 111—133, 209—216, без гл. «Хлебников», гл. «Разговор с неизвестным другом» — без эпиграфа, гл. «Знаменосец революции» и «Открытие Америки» — под рубрикой «Дополнительные главы»; Избр. 1953, т. 2 — с теми же сокращениями, гл. «Четырнадцатый год» — без эпиграфа, без дополнительных глав; Памяти лет — с теми же изъятиями и без дополнительных глав, гл. 1 — под загл. «Повесть в стихах»; сняты все эпиграфы; СП, т. 2, восстановлены эпиграфы по Избр. 1953, восстановлена гл. «Хлебников». Печ. по СС, т. 3, с. 387.

В архиве Асеева сохранились многочисленные черновые автографы, относящиеся к разным этапам работы над поэмой. Последовательность формирования текста не установлена. О работе Асеева над поэмой см. с. 41 наст. изд.

Маяковский издали. *Моноплан* — летательный аппарат начала XX в. *Конка* — трамвай с конной тягой. *И головы, масленные конопляным* и т. д. См. «Путь в поэзию», с. 53 наст. изд. *На дутых катили тузы по Тверской.* Имеется в виду извозчичья коляска на дутых резиновых шинах. *Тверская* — см. примеч. 129. *Иверская* — часовня около Кремля, в которой находилась «Чудотворная» икона Иверской божьей матери. *В лоскутное небо* и т. д. «Здесь слово «лоскутное» мне показалось особенно удачным, потому что оно передает и серое московское небо, и лоскутничество в тогдашнем искусстве, и «Лоскутную» гостиницу, которая тогда была в Москве, и одеяла, которые шили из лоскутов. Массу понятий заключает в себе этот эпитет», — писал Асеев, рассказывая об истории создания своей поэмы («Литературная учеба», 1938, № 4, с. 97). *Он взвил позвоночником флейту на споры.* Имеется в виду поэма Маяковского «Флейта-позвоночник» (1915). *Он явно из сказки* и т. д. Имеется в виду средневековая немецкая легенда о бродячем музыканте, который, играя на флейте, вывел из Гаммельна всех детей. *Пастырь Кронштадтский* — Иоанн Кронштадтский (Сергиев, ум. 1908). В 900-х годах был широко известен во всей России как проповедник. Основатель секты «иоаннитов», считавших его «самим Иисусом Христом» и поклонявшихся ему как богу. *Саровский инок* — Серафим Саровский (1760—1833), старец, канонизированный в 1912 г. Асеев говорит о богоискательстве в среде русской интеллигенции после поражения революции 1905—1907 гг. *Индусских учений обложки — в витринах.*

Речь идет об увлечении в начале XX в. буддизмом. *И тусклые блестки огарочьих лиг.* По-видимому, имеются в виду «лиги свободной любви», возникшие в годы реакции. Прозвище «огарки» идет, вероятно, от одноименного рассказа Скитальца. *Картины елеем выписывал Нестеров* и т. д. М. В. Нестеров (1862—1942), художник группы «Мир искусства», темы многих своих картин заимствовал из церковной и монастырской жизни. *«Медведь и отшельник»* — картина Нестерова. *Менады, наяды, дриады.* Менады — спутницы Диониса, бога виноградарства и виноделия в Древней Греции; наяды — нимфы, покровительницы сил природы; дриады — нимфы, покровительницы деревьев; намек на увлечение поэтов-символистов античностью и на стилизаторские тенденции художников «Мира искусства». Подробнее об этом см.: А. Ивич, В. Тренин, Маяковский начинается. — «Молодая гвардия», 1940, № 11. *Царь Федор Иваныч* — трагедия А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», первый спектакль Московского Художественного театра. *Шаляпинский туш.* Речь идет, вероятно, об инциденте 6 января 1911 г., когда Ф. И. Шаляпин во время представления оперы «Борис Годунов» вслед за хором вынужден был стать на колени перед императорской фамилией. *«Былое и думы»* — мемуары А. И. Герцена. *Остроумовы и Востряковы* — купеческие фамилии; братья Востряковы — совладельцы товарищества бумагопрядильной фабрики, один из них — член правления клуба автомобилистов, другой — член московского филармонического общества. *Владимирский тракт* — дорога, по которой этапом отправлялись в Сибирь ссыльные. *Китайгородская стена* отделяла Китай-город (с XVIII в. преимущественно торговый район Москвы) от Белого города. «Деньги, векселя, ценные бумаги точно реют промежду товара в этом рыночном воздухе, где все жаждет наживы, где дня нельзя продышать без того, чтобы не продать и не купить». (П. Д. Боборыкин, Китай-город. Собрание романов, повестей и рассказов, т. 1, СПб., 1897). *И красное знамя белесою чайкой на сереньком занавесе заменено.* Имеется в виду силуэт чайки на занавесе Московского Художественного театра. Футуристы и позже лефы резко отрицательно относились к Художественному театру, как к натуралистическому. См., например, статью Маяковского «Уничтожение кинематографом «театра» как признак возрождения театрального искусства» (1913): «Посмотрите работу Художественного театра. Выбирая пьесы преимущественно бытового характера, он старается перенести на сцену прямо кусок ничем не прикрашенной улицы. Подражает рабски природе во всем, от надоедливого скрипа сверчка до колышущихся от ветра портьер» (Маяковский, т. 1, с. 279). *Ликвидаторы* — оппортунистическое течение в РСДРП после поражения революции 1905—1907 гг., предлагавшее ликвидировать нелегальную пролетарскую партию. *Рванулась сухая, горячая речь.* Имеется в виду борьба В. И. Ленина против ликвидаторов, закончившаяся на Пражской конференции (1912) изгнанием меньшевиков-ликвидаторов из партии. *И Блок Незнакомку уводит во храмы Нечаянной Радости.* Незнакомка — персонаж одноименного стихотворения А. А. Блока; «Нечаянная радость» (1904—1906) — название книги стихотворений Блока. *Кубелик* Ян (1880—1940) — чешский скрипач. *Камергерский* проезд — ныне проезд Художественного театра, где с 1902 г. находится Московский Худо-

жественный театр. *Штокман* — главный герой пьесы норвежского драматурга Генриха Ибсена «Доктор Штокман» («Враг народа»). *Сольнес-строитель* — герой пьесы Ибсена «Строитель Сольнес». Эти пьесы ставились в Московском Художественном и других театрах того времени. *Гоген* П. (1848—1903) — французский художник постимпрессионист. *Матисс* А. (1862—1954) — французский художник-фовист. *Морозовы* А. И. и В. И. — крупные заводчики, владельцы большой коллекции новой французской живописи. *Вернисаж* — закрытое обозрение выставки, первый день ее открытия. *Малиновый звон* — особого тембра бой колоколов. *Сюда, к семихолмому Третьему Риму* и т. д. В легенде об основании Москвы, по свидетельству Н. М. Карамзина, говорилось: «Москва — есть третий Рим... и четвертому не бывать» (Н. М. Карамзин, История государства Российского, т. 2, СПб., 1889, с. 198—199). Отсюда же, вероятно, распространенное представление о том, что Москва, как и древнейшая часть Рима, расположена на семи холмах. *Языци* — народы. *О небе в алмазах бессильная грусть.* Ср. со словами Сони из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня»: «Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах...» *Двухпольная Русь.* Имеется в виду двухполье — система земледелия, распространенная в дореволюционной России. *Распутин* Г. Е. (1872—1916) — скандальная фигура последних лет царствования Романовых, сибирский мужик, имевший неограниченное влияние на царскую семью.

Знакомство с Москвой. *Кипела московская котловина, Россию прожегшая в Пятом дотла.* Имеется в виду декабрьское вооруженное восстание, центром которого была Пресня. *Кутаис* — город в Грузии. *Трехгорная мануфактура* — текстильная фабрика, на которой работала старшая сестра Маяковского Л. В. Маяковская. *Ханжонков* А. А. (1877—1945) — известный кинопредприниматель времен немого кино. *Неглинка-речонка* — речка в Москве, отведенная под землю. *Тéтнульд* — вершина Главного Кавказского хребта. *Рион* — река на Кавказе, на берегу которой расположен Кутаис. *Как к Хвамли прикованному Прометею* и т. д. Амирани (грузинский Прометей), похитивший с неба богиню небесного огня, в наказание, по одному из вариантов легенды, был прикован к скале близ селения Хвамли в Имеретии. *Впервой над Ламаншем взвивается Блерио.* Блерио (1872—1936) — французский пилот и конструктор монопланов, впервые перелетевший Ламанш в 1909 г. *Уточкин* С. И. (1874—1916) — один из первых русских авиаторов, на свой страх и риск построивший самолет и самостоятельно научившийся летать. *Отец схоронен.* В. К. Маяковский умер в 1906 г. *Джапаридзе Алеша* — см. примеч. 291. *Багдади* — село, где родился Маяковский. *И, сощуря глазенки, он солнце вбирает за нас.* Ср. в поэме Маяковского «Люблю»: «Жарился в кутаисском зное. Ворачивал солнцу то спину, то пузо — пока под ложечкой не заноет». *Он влазит в огромные жерла чуури* и т. д. См.: А. А. Маяковская, Детство и юность Владимира Маяковского («В. Маяковский в воспоминаниях современников», М., 1963, с. 39); чуури (груз.) — кувшин для вина. *Как «...суров был король дон Педро!» и как «...трепетал его народ!».* Неточная цитата из стих. А. Н. Майкова «Пастух». *Имеретия* — область Грузии, центром которой является Кутаис. *И девятьсот пятого залпами* и т. д. См. «Я сам», гл. «905-й год»: «Пошли демонстрации и ми-

тинги Я тоже пошел. Хорошо» (Маяковский, т. 1, с. 13). *Он помнит, как Гурия билась с жандармами.* Речь идет о гурийском восстании 1905 г.

Его университеты Ср. с назв. главы «Мой университет» в поэме Маяковского «Люблю». *«Отец нам в наследство оставил здоровье и образованье».* Ср. с воспоминаниями Л. В. Маяковской: «Помните, что, кроме образования и здоровья, я не оставлю вам никакого наследства» («О Владимире Маяковском», М., 1965, с. 68). *Бутырки* — московская тюрьма. Там в 1909—1910 гг. сидел за революционную деятельность Маяковский *Сдавали задешево комнатушку шумливым кочевьям студентов-грузин.* Маяковский в автобиографии «Я сам» называет Канделаки, Коридзе; А. А. Маяковская — сестер Туркия. *В Сущевской части* Маяковский оказался при первом аресте (см. «Я сам»). *И мир раскрывался ему — не жемчужною шуткой Ватто.* Образ из стих. Пастернака «Любимая — жуть! Когда любит поэт. . .» Ватто А. (1684—1721) — французский художник, мастер «галантных празднеств», изящных любовных сцен, расписывал также веера, табакерки и пр. *Стихи и брошюры, Некрасов и Бебель.* По свидетельству Л. Маяковской, Маяковский еще в Кутаисе читал Бебеля, а в 1909 г. в тюрьме — стихи Н. А. Некрасова. («О Владимире Маяковском», М., 1965, с. 108, 155). Бебель А. (1876—1913) — деятель германской социал-демократии и II Интернационала. *Билибин* И. Я. (1876—1942) — художник, примыкавший к группе «Мир искусства». *Собольи опушки, секиры, охабни: весь ложноклассический ассортимент.* Имеются в виду стилизации художников «Мира искусства», в том числе Билибина, под русскую древность; охабень — боярский кафтан с меховым воротником. *Так пусть уж живот подведет безработица.* Ср. в поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин»: «. . .а под витринами всех Елисеевых, живот подведя, плелась безработица». *Фонарь к фонарю. За душой — ни гроша. . .* Асеев писал: «Я представил, как Маяковский выходит из тюрьмы. У него есть стихотворение, в котором он говорит:

Фонари, фонари, фонари,
Надоела земля окаянная. . .

Я представил эту бесконечную перспективу московских улиц, по которым тогда блуждал еще неустроенный и безработный Маяковский» («Литературная учеба», 1938, № 4, с. 98). *Да падает лошадь, боками дыша.* Ср. со стих. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» (1918).

Проба голоса. *И — жаром займется Садовых кольцо.* Ср. в поэме Маяковского «Люблю»: «Меня Москва душила в объятьях кольцом своих бесконечных Садовых». «Помню только один его рассказ о том, как он, выйдя из тюрьмы. в первую очередь побежал осматривать Москву. Денег на трамвай не было, теплого пальто не было, было только одно огромное непревзойдимое и неукротимое желание снова увидеть и услышать город, жизнь, многолюдство, шум, звонки конки, свет фонарей. И вот в куцой куртке и налипших снегом безгалошных ботинках шестнадцатилетний Владимир Владимирович Маяковский совершает свою первую послетюремную прогулку по Москве, по кольцу Садовых — теперешней

линии трамвая „Б“». (Ник. Асеев, Володя маленький и Володя большой. — «Красная новь», 1930, № 6, с. 179). *Поедут по площади Минин с Пожарским.* Имеется в виду памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. *Спас на Бору* — церковь внутри московского Кремля, построенная в 1330 г. *Швивая горка и Сивцев вражек* — улицы Москвы. *И дружбу ведет с водосточной трубой.* Ср. в стих. Маяковского «А вы могли бы?» (1913): «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» *Чуйка* — длинный суконный кафтан халатного покроя. *Строгановское училище* — центральное художественно-промышленное училище в Москве, основанное в 1825 г. графом С. Г. Строгановым. С 1918 г. — Вхутемас. *Он рвет на рубаху московский закат.* Ср. в стих. Маяковского «Кофта фата» (1914): «Я сошью себе... желтую кофту фата из трех аршин заката». *Ему улыбаются маки на чайнике и свежестью светится с вывески сельдь...* Ср. в стих. Маяковского «Вывескам» (1913): «Влюбляйтесь под небом харчевен в фаянсовых чайников маки!» и в стих. «Уличное» (1913): «А сквозь меня на лунном сельде скакала крашеная буква». *Бурлюк* — см. примеч. 82. Маяковский познакомился с ним в сентябре 1911 г. Игорь *Северянин* (псевд. поэта Игоря Васильевича Лотарева, 1887—1942) был очень популярен в первой половине 1910-х годов. *Опаловой дымкой болото прикрыв.* Ср у. Северянина: «опалово-лазурная томленность», «опаловая влага реки», «туман опаловый». *Мастахин* (мастихин) — инструмент для удаления красок с холста. *Кит Китыч не вынес двух сразу Ион.* Сложный образ, соединяющий библейскую легенду о пророке Ионе, которого проглотила огромная рыба, но затем выбросила на берег, и намек на купеческих персонажей А. Н. Островского. Имеется в виду изгнание Маяковского и Бурлюка из Строгановского училища. *Прозелит* — новообращенный, приверженец нового учения. *...Багровый и белый...* и т. д. — цитата из стих. Маяковского «Ночь». *В нем — горечь недавних разгромов Японией.* Речь идет о поражении России в войне с Японией 1904—1905 гг. *Мой друг, величайший поэт современности* и т. д. Об этом подробно в автобиографии Маяковского «Я сам». *Политехникум, диспут* и т. д. Ср. в поэме В. Каменского «Юность Маяковского» (1931): «Политехнический взяли музей. Взяли! И там — с барабана эстрады грянули глотки лихих бунтарей» *На картинах без рам — бегущие сгустки людей многоногих* и т. д. Ср. со словами Д. Бурлюка: «Мы даем вам... динамическое построение картины, невиданную композицию красочных линий, сдвиги, разложение плоскостей, опыты конструктивизма, введение новых материалов в работу, мы даем вам напоказ всю лабораторию наших исканий... После Айвазовского и Репина увидеть на полотне бегущего человека с двенадцатью ногами, — это ли не абсурд» (См.: В. Каменский, Юность Маяковского, Тифлис, 1931, с. 19) *У критиков спазмы: «Табун без удил!»* Ср. названия сборников поэтов-футуристов: «Молоко кобылиц», М., 1914; «Рыкающий Парнас», СПб, 1914; сб. стих. В. Каменского «Танго с коровами», М., 1914, В. Хлебникова «Ряв!», Пг., 1914. *Каменский* В. В. (1884—1961) — поэт-футурист, выступал вместе с Маяковским. *Крученых* А Е. (р. 1886) — поэт-футурист. *Ненависть к сытым.* Ср. в поэме Маяковского «Люблю»: «Я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед продавая» *Шарахнувших в Пятом с потемкинских рей.* Имеется в виду

восстание матросов на броненосце «Потемкин». *«Русское слово» и «Речь»* — либеральные газеты, публиковавшие фельетоны, направленные против футуризма. *Взбешенного мелкого буржуа.* Неточная цитата из статьи В. И. Ленина «О „левом" ребячестве и о мелкобуржуазности» (Полн. собр. соч., т. 36, с. 313).

Отцы и дети. Для названия главы использовано заглавие романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». *А эти — по ней вчетвером колесили.* С декабря 1913 по апрель 1914 г. В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Каменский и А. Крученых ездили по России с выступлениями и лекциями. *«Дунька Рубиха», «Случай с контрáгентом в номерах»* — произведения А. Е. Крученых. *Натура ползучих, приплюснутых, плоских людей.* См. примеч. 25. *Джойс* Д. (1882—1941) — один из мэтров модернизма, автор романа «Улисс» (1922), на котором сильно сказалось влияние фрейдизма. *Педолог.* Речь идет о педологии — направлении в педагогической науке, переоценивающем зависимость развития детей от биологических и социальных факторов. Получила распространение в СССР в конце 1920 — начале 1930-х годов. *Немилов* — в журнальной редакции назван критик В. В. Ермилов (1904—1965), в двадцатые годы один из секретарей РАППа, заместитель ответственного редактора журнала «На литературном посту», в котором опубликован ряд статей против Маяковского. *«Красная новь»* — литературно-художественный и общественно-политический журнал (1921—1942) — главным редактором которого в 1932—1938 гг. был Ермилов. *Либединский* Ю. Н. (1898—1959) — писатель, один из деятелей РАППа. *А Вася Каменский — возьми да и свистни* и т. д. Речь идет о фрагментах из поэмы Каменского «Степан Разин». *Модный профессор речистый «явленье антихриста» выявил в них.* В статье Асеева «Не такое нынче время» об этом подробнее: «Устрялов в те годы читал лекции, в которых серьезно доказывалось, что Маяковский есть самый настоящий Антихрист, предсказанный в Писании. Правда, эти лекции читались не в Москве, — далеко во Владивостоке и Харбине, бывших тогда на положении заграницы. . .» (СС, т. 5, с. 388). *Комолые утюги!* См. стих. В. Каменского «Танго с коровами»; комолые — безрогие. *Полисы, дебет, кредит, баланс, казна* — терминология бухгалтерского учета. *Желтеют опавшие листья, что стряхивает с холста Левитан.* В первых публикациях: «стряхивают Розанов и Левитан». «Опавшие листья» — книга В. В. Розанова (1859—1919); имеются в виду также многочисленные осенние пейзажи И. И. Левитана (1861—1900).

Голос докатывается до Петербурга. *«Хотите — буду от мяса бешеный»* и т. д. — цитата из поэмы Маяковского «Облако в штанах»; подробнее об этом см. в статье Маяковского «Как делать стихи» (т. 12, с. 91—92). *«Это было в Одессе»* — неточная цитата из поэмы «Облако в штанах». *Гринвич* — нулевой меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию в Англии. *Одесский конфликт — лишь по «Облаку» ведом.* См. поэму «Облако в штанах». *Он был, как огромный натруженный грузчик, не знающий, как себя в лодке вести.* Лодка — один из распространенных образов в поэзии Маяковского, ср.: «Я в комнатёнке-лодочке проплыл три тыщи дней» («Хорошо!»). *И вот посреди островков и кварталов о невский гранит обломало весло.* Ср. в поэме Маяковского «Про это»: «Стой, подушка! Напрасное тщенье. Лапой гребу — плохое весло. Мост сжимает-

ся. Невским течением меня несло, несло и несло». *Летний сад* — парк в Петербурге. *Пик над Адмиралтейством* — знаменитая «адмиралтейская игла» над зданием Адмиралтейства в Петербурге. *По пушке выравненные, как на парад.* Ежедневно полдень отмечался выстрелом пушки Петропавловской крепости. *«Путиловский»* — машиностроительный завод. *«Гужон»* — один из старейших металлургических заводов Петрограда; вооруженные отряды рабочих этих заводов приняли активное участие в Октябрьской революции. *От Выборгской — до Дворцовой.* Выборгская сторона — пролетарский район Петрограда. Дворцовая — площадь, где расположен Зимний дворец, резиденция царя. *И здесь протекало детство* и т. д. Речь идет об Осипе Максимовиче (1888—1945) и Лиле Юрьевне (р. 1891) Брик, с которыми Маяковский был неизменно дружен. «Я встретилась с ним, когда мне было 13 лет. Это был 1905 год. В гимназии, в которой я училась, он руководил кружком политэкономии. Обвенчались мы в 1912 г.», — вспоминала о встрече с Осипом Максимовичем Л. Ю. Брик («Новое о Маяковском». — «Литературное наследство», т. 65, М., 1958, с. 101). *Собор, засосанный тиной.* Имеется в виду Исаакиевский собор, который постепенно оседает в топкий грунт. *И — вздыбленный Медный Всадник.* Речь идет о конном памятнике Петру I, который находится на площади, примыкающей к Исаакиевскому собору. *Лишь глаз ее круглых и карих больней по коже ожог...* Ср. в поэме Маяковского «Хорошо!»: «Круглые да карие, горячие до гари». *И под своды угрюмого равелина...* — см. примеч. 118—121. *Разведенные на ночь мосты.* «Мне нужно сказать, что люди развелись, — и мне помогает образ разведенных мостов на Неве», — писал Асеев, рассказывая о создании поэмы («Литературная учеба», 1938, № 4, с. 99).

Центр и окраины. *Кариатиды* — статуи, преимущественно женские, являющиеся конструктивным элементом здания. *Где гробовщик надумал в гости созвать мертвецов.* Имеется в виду повесть А. С. Пушкина «Гробовщик». *Астролябия* — геодезический прибор для измерения углов. *Выметнувший в туманы взлет корабельных ростр.* Речь идет о ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова; ростра — украшение колонны изображением носовой части древнего военного судна. *Выпяленный двуглавый в небе — орел остролапый.* По-видимому, речь идет об огромных орлах, украшавших решетку Зимнего дворца, снесенную после революции. *Радужная* — сторублевый кредитный билет. *Петроградская* сторона была районом доходных домов. *Выборгская и Нарвская стороны* — рабочие районы Петрограда. *«Вена»* — ресторан в Петрограде на углу Гороховой и ул. Гоголя. *Чавкала туша тупая* и т. д. Ср. в стих. Маяковского «Гимн обеду» (1915): «А если умрешь от котлет и бульонов, на памятнике прикажем высечь: «Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов — твоих четыреста тысяч». *Синежурнальная сволочь* — от названия иллюстрированного развлекательного издания «Синий журнал» (1910—1917). *Купринские опивки, пыль Леониду Андрееву слизывавшие с сапогов.* 1910-е годы — время большой популярности А. И. Куприна (1870—1938) и Л. Н. Андреева (1871—1919). *Идущего через хребты веков.* Ср. во Вступлении в поэму Маяковского «Во весь голос»: «Мой стих дойдет через хребты веков». *На войско, ведомое силой рубля.* Ср. в стих. Маяковского «К ответу!»: «Кто над

небом боев — свобода? бог? Рубль!» *Прасол* — торговец скотом; *шибай* — рассыльный при суде или волостной конторе; здесь: символ литературного торгашества и холопства. *И многие ль — больше и вровень с ним — значат, пошедшие более легким путем?!* Ср. в стих. Маяковского «Сергею Есенину»: «Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?»

Первая трагедия. *Ставили в Троицком впервые трагедию «В. Маяковский».* Первая читка и распределение ролей происходило в Троицком театре миниатюр; представление трагедии «Владимир Маяковский» состоялось 2 декабря 1913 г. в театре Луна-парк (бывшем театре В. Ф. Комиссаржевской). *Обломов* — герой одноименного романа И. А. Гончарова, символ лени, безделья, застоя. *Филонов* П. Н. (1883—1941) в сотрудничестве с И. С. Школьником (1883—1926) написал театральные декорации к трагедии. *Sturm und Drang* (немецк.) — буря и натиск, название пьесы немецкого романтика Фридриха Клингера (1752—1831), ставшее обозначением целого периода романтической литературы в Германии. Здесь имеется в виду русский футуризм. *И — противоречит порядку вещей.* Ср. вариант названия трагедии «Владимир Маяковский»: «Восстание вещей». *Ищите жирных в домах-скорлупах* и т. д. — цитата из трагедии «Владимир Маяковский». *А голос взвивался высоко-высоко: «„О-го-го“ могу!..»* Ср. в поэме Маяковского «Человек» (1916—1917): «„О-го-го“ могу — зальется высоко, высоко».

«Впереди поэтовых арб». Название главы — цитата из стих. Маяковского «Город». *Красивый, двадцатитрехлетний* — перефразированные строки из поэмы «Облако в штанах». *Сретенка* — улица в Москве. *Каданс* — музыкальный оборот, заканчивающий музыкальную пьесу. *«Сатирикон».* Имеется в виду «Новый Сатирикон» (1913—1918) — популярный сатирический журнал, выходивший в Петербурге. В 1915 г. там сотрудничал Маяковский. *Хоть впутался в ленты ермольевских фильм.* И. Н. Ермольев (1889—1962) — кинопредприниматель эпохи немого кино, ставил коммерческие фильмы. *Расширив глаза, он высматривал год* и т. д. Ср. в поэме «Облако в штанах»: «Где глаз людей обрывается куцый, главой голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год». *Шкловский* В. Б. (р. 1893) — критик, литературовед, прозаик, участвовал в Лефе. *Комедия превращалась в «мистерию»: он зря ее думал развенчивать в «буфф».* Ср. с загл. поэмы Маяковского «Мистерия-буфф» (1918). *И книгу надписывал подписью: Вол.* См., напр., дарственную надпись Б. Пастернаку на поэме «Хорошо!»: «Борису Вол с дружбой нежностью любовью уважением товариществом привычкой сочувствием восхищением и пр. и пр. и пр.» («Новое о Маяковском». — «Литературное наследство», т. 65, М., 1958, с. 63). *Огромным упорным Самсоном остриженным.* Самсон, библейский силач, потерял свою силу после того, как Далила срезала ему волосы. *Он речь от дворцов поворачивал к хижинам.* Ср. в поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин»: «Переходило от близких к ближним, от ближних дальним взрывало сердца: «Мир хижинам, война, война, война дворцам!» Имеется в виду лозунг революционной армии во время Великой французской революции 1799 г. Был очень популярен в России в октябрьские дни 1917 г. *Их пятеро было, бесстрашных головок.* См. примеч. 246. *Здесь начинали жить стихом.*

Неточная цитата из стих. Б. Пастернака «Так начинают. Года в два...».

Четырнадцатый год. Эпиграф из стих. Хлебникова «Ночь в окопе». *Самсонов* А. В. (1859—1914) — командующий второй армией, попавшей в 1914 г. в окружение в районе Мазурских озер. *Клук* А. (р. 1846) — немецкий генерал, командовал правофланговой армией, наступавшей на Париж. *Цеппелин* — жесткий воздушный дирижабль, названный по имени изобретателя. *Шлиффен* А. (1833—1913) — генерал-фельдмаршал, разработал стратегический план войны с Россией и Францией. Этот план лег в основу немецкой стратегии в первой мировой войне. *Я ехал в вагоне* и т. д. См. «Путь в поэзию», с. 58 наст. изд. *Про крест над Софией.* Айя-София — православный собор в Константинополе. Имеется в виду один из лозунгов империалистической пропаганды, призывавшей к захвату Константинополя. *Тевтоны* — германцы. *Сава, Морава* — правые притоки Дуная; *Русская-Рава* (Рава-Русска) — город на Волыни. Речь идет о местах боев в первую мировую войну. *Бризантный* — осколочный снаряд.

Невский перед Октябрем. *Тщедушная прядка на взмыленном узеньком керенском лбу.* Речь идет об А. Ф. Керенском (р. 1881), главе Временного правительства, известном многочисленными демагогическими речами («Главноуговаривающий»). *«Погибнет Россия!» — «Какая? Помещиков да купцов?!»* Ср. в поэме «Двенадцать» А. Блока: «Предатели! Погибла Россия!» *Дарданеллы* — пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Мраморное море с Эгейским; одной из целей империалистической политики России был захват этого пролива. *Кайзер* — Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941), император Германии и король Пруссии. *Вот дамочка, выкатив бельма* и т. д. Эпизод рассказан Асееву Е. Ф. Усиевич («Литературная учеба», 1938, № 4, с. 99—100). *Обводный* — канал в Петербурге, где расположены рабочие районы.

Хлебников. См. примеч. 82. Эпиграф — цитата из ранней ред. стих. Хлебникова «Гонимый кем, почем я знаю...». *А я гулял с ним по этой буре* и т. д. Ср. у Хлебникова: «Я вспомнил года, когда, как железные стрижи, пули, летя невпопад, в колокола били набат» (1922) (В. Хлебников, Неизданные произведения, М., 1940, с. 188). *Птолемей* (II в. н. э.) — древнегреческий математик и астроном; Хлебников, увлекавшийся точными науками, стремился найти математические закономерности истории. *Павлов* И. П. (1849—1936) — русский ученый-физиолог. *Так на холсте каких-то соответствий* и т. д. — цитата из стих. Хлебникова «Бобэоби пелись губы...» *Саади* (ок. 1180 — ок. 1215), *Гафиз* (ок. 1325—1389), *Омар Хайям* (ок. 1040—1122) — персидские поэты, прославившиеся высокой мудростью и бескорыстием. *Пришедший к нам из Казани, аудиторий зеленых студент.* В 1903—1908 гг. Хлебников учился в Казанском университете на математическом, а затем на естественном отделении физико-математического факультета. Весной 1905 г. Хлебников получил от университета командировку на Урал, откуда привез, по словам сестры, «бесконечные записи, где много места уделялось напевам лесных птиц» (Н. Степанов, В. В. Хлебников. — Велимир Хлебников, Избранные стихотворения, М., 1936, с. 12). Одна из его студенческих работ называлась: «О нахождении кукушки в Казанской губ.»

(1905). *Что толку описывать клюв лебедей!?* и т. д. Ср. в поэме Хлебникова «Зверинец» (1910): «Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а черно-желтый клюв — осенней рощице—немного осторожен и недоверчив для него самого». *«Да, миром владеет бездушный Кащей... Давайте устроим восстанье вещей!»* Ср. у Хлебникова: «Злей не был и Кащей, чем будет, может быть, восстанье вещей»; «Восстание вещей» — также один из вариантов загл. трагедии «Владимир Маяковский». *Он до пустыни Ирана донашивал* и т. д. В 1921 г. вместе с Красной Армией Хлебников проделал поход в Персию. *Дервиш-урус.* «В Персии его называли «Урус-дервиш» — русский дервиш. В Персии он питался тем, что выбрасывало море. В городах, если его не брали на попечение друзья, жил не лучше. В Энзели он продал рубаху и штаны за один туман, чтобы купить еду, оделся в мешки, но, встретив нищую, отдал ей тут же свой туман. Красноармейцы, матросы, крестьяне любили его братски, персы и курды тоже» (С. Городецкий, Велимир Хлебников. — «Известия», 1922, 5 июля). Дервиш (перс.) — странствующий монах, давший обет нищенства. *Он был Маяковского лучший учитель.* См. статью Маяковского «В. В. Хлебников» и примеч. 9.

Осиное гнездо. *«О дряни»* — стих. Маяковского (1920—1921). *Ильинские ворота* — в Москве, в настоящее время снесены. *Концесском.* В 20-е годы советское государство сдавало в концессию капиталистическим государствам отдельные предприятия. *Авербах* Л. Л. (1903—1939) — один из руководителей РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей), резко враждебной Лефу. Резкие отзывы Асеева о РАППе объясняются накалом литературной борьбы и постоянными нападками рапповцев на Маяковского. *Дал слово им и дело.* В XVIII в. «сказывать „Слово и дело государево“» означало доносить о государственных преступлениях, караемых смертью. Под них подводилось всякое словесное оскорбление величества и неодобрительные отзывы о деятельности государя. *АХР.* Имеется в виду Ассоциация художников революционной России (1922—1932), с 1928 г. — Ассоциация художников революции, натуралистические тенденции которой были неприемлемы для Маяковского и его единомышленников. *МАПП* — Московская ассоциация пролетарских писателей, московское отделение РАППа; незадолго до смерти Маяковский, стремясь расширить для себя творческую трибуну, вступил в РАПП; об этом см. «В последний раз», главу воспоминаний Асеева о Маяковском (СС, т. 5, с. 646). *«Попутчик»* — термин, возникший в журнале «На посту». Был направлен против старой художественной интеллигенции, принявшей революцию. Позже этот термин широко использовался РАППом. Маяковский часто повторял: «Я считаю себя пролетарским поэтом, а пролетарских поэтов ВАППа себе попутчиками» (т. 12, с. 338). *Прозаседавшихся чиновных бюрократов.* Имеется в виду стих. Маяковского «Прозаседавшиеся» (1922), высоко оцененное В. И. Лениным. *И прочих трехнедельных удальцов.* Образ навеян стих. М. Ю. Лермонтова «Два великана». *Петровка* — улица в Москве.

Маяковский рядом. *ГИХЛ* — Государственное издательство художественной литературы. *«Златая цепь на дубе том!»* Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». *И мелких статей небогатый улов бумажным венком — на гроб.* Ср. в стих. Мая-

ковского «Сергею Есенину»: «А к решеткам памяти уже понанесли посвящений и воспоминаний дрянь». *Арнольд* — Арнольд Григорьевич Арнольд (Барский), цирковой актер и режиссер. *С самим Ай-Петри шутил* и т. д. См. в стих. Маяковского «Крым» («И глупо звать его. . .»): «Развезувился старик Ай-Петри. Ай, Петри! А-я-я-яй!» *Гудки пароходные понимал.* См. стих. Маяковского «Разговор на одесском рейде десантных судов „Советский Дагестан“ и „Красная Абхазия“». *И с самым жарким из наших светил* и т. д. См. стих. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». *Барселона* — город в Испании; речь идет о гражданской войне 1936—1939 гг. в Испании. *И голос-сокол сойдет на низы* — неточная цитата из поэмы Маяковского «Человек».

Косой дождь. *Плыла любовная лодочка.* Ср. в предсмертных набросках: «Любовная лодка разбилась о быт». *Я хочу быть понят моей страной* и т. д. — строки из чернового варианта стих. Маяковского «Домой!». *В стихах его имя мое — не ваше — четырежды упомянуто.* См. «Юбилейное», «Массам непонятно», «Голубой лампас», киносценарий «Как поживаете?». *А петушок уж пропел давно!* — неточная цитата из стих. К. Д. Ушинского «Приглашение в школу». *«Про это»* — поэма Маяковского о любви (1922—1923). *Да он недоступен широким массам* и т. д. См. примеч. 113. *А он любил, как дрова рубил.* Ср. в стих. Маяковского «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»: «Любить — это значит: в глубь двора вбежать и до ночи грачьей, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи». *До пули в конце вниманье стиху вымаливая.* Ср. в поэме Маяковского «Флейта-позвоночник»: «Все чаще думаю — не поставить ли лучше точку пули в своем конце».

Площадь Маяковского. *Площадь Согласия* — одна из площадей Парижа. *Площадь Пушкина, Маяковского* — площади в Москве, прилегающие к улице Горького. *Триумфальная* — старое название площади Маяковского. *И — с Пушкиным рядом встали они!* Ср. в стих. Маяковского «Юбилейное»: «После смерти нам стоять почти что рядом. . .». *Становится — миром его родня.* Ср. в поэме Маяковского «Про это»: «Чтоб мог в родне отныне стать отец по крайней мере миром, землей по крайней мере — мать». *Кудринские вышки* — Кудринская площадь в Москве, теперь — площадь Восстания. *Как сдвоенный вензель печати ММ* — московское метро. *Сага* — жанр древнескандинавского эпоса (былина, легенда). *Мехико-Сити* — столица Мексики.

Эпилог. *Писательство — не искусство наживы* и т. д. Ср. во Вступлении в поэму Маяковского «Во весь голос»: «Мне и рубля не накопили строчки. . .».

Знаменосец революции. *Стране поручив свою звонкую участь.* Ср. в поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин»: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс». *Учил нас высокой ненависти* и т. д. Ср. в поэме Маяковского «Про это»: «В осень, в зиму, в весну, в лето, в день, в сон не приемлю, ненавижу это все. Все, что в нас ушедшим рабьим вбито, все, что мелочинным роем оседало и осело бытом даже в нашем краснофлагом строе». *Санкюлоты* — представители революционных народных масс в период Великой французской революции 1789 г. *Тьер А.* (1797—1877) — премьер-министр Версальского правительства, палач Париж-

ской коммуны. *Пер-Лашез* — кладбище, на котором похоронены герои Парижской коммуны. *Гвадалахара* — город в Испании. Одной из крупнейших в гражданской войне 1936—1939 гг. была Гвадалахарская операция 1937 г. *Он был бы отборных слов полководцем.* Ср. в стих. Маяковского «Сергею Есенину»: «Слово — полководец человечьей силы». *«Идиотизм деревенской жизни...»* — цитата из первой главы «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. *У них песнопевцем считался провитязь.* Ср. во Вступлении в поэму «Во весь голос»: «Приду в коммунистическое далеко не так, как песенно-есененный провитязь». *Березовый ситец* — см. стих. С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...». *Разбойничий свист* — см. стих. С. Есенина «Мне осталась одна забава...». *Корову подтягивал на пьедестал.* См. статью С. Есенина «Ключи Марии», где поэт протестует против «марксистской опеки», которая «строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове» (Сергей Есенин, Собр. соч., т. 5, М., 1962, с. 52); см. об этом также статью Маяковского «Как делать стихи?» (т. 12, с. 94). *Вандея* — департамент во Франции; в период Великой французской буржуазной революции была центром контрреволюционных выступлений. В контрреволюционный мятеж 1793—1795 гг. была втянута значительная часть зажиточного крестьянства. *Петарды* — пиротехнические бумажные снаряды, начиненные порохом. *Шутихи* — пиротехнические ракеты. *Да он моссельпромщик!* Ср. в стих. С. Есенина «На Кавказе»:

Мне мил стихов российский жар —
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельпроме.

Моссельпром — Московское объединение предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности. Об отношении Маяковского и Асеева к Есенину см. «Воспоминания о Маяковском» Асеева (СС, т. 5, с. 675—676) и статью «Сергей Есенин» (СС, т. 5, с. 557—569). *Он памятник строил курским рабочим, он голос рабочих Кузнецка слыхал.* См. стих. Маяковского «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского» и «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка». *Он рад был новой рабочей квартире, леченью крестьян в Ливадийском дворце.* См. стих. Маяковского «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру» и стих. «Чудеса». Ливадийский дворец — бывший дворец царской фамилии в Крыму. *«Вперед, время!»* — лозунг из пьесы Маяковского «Баня».

Открытие Америки. Ср с названием очерка Маяковского «Мое открытие Америки». *«...Моей революции старший брат»* — цитата из стих. Маяковского «Атлантический океан». *Атлантический пакт* — договор западноевропейских государств и США о создании НАТО, агрессивного союза, направленного против СССР и стран народной демократии. *Но от приторно-постной шестерки монахинь* и т. д. См. стих. Маяковского «6 монахинь». *То ли смрад от господ, принимающих ванны* и т. д См. стих. Маяковского «Сифилис». *Из-за пальм и бананов увидел он Вилли.* См. стих. Маяковского «Блэк энд

уайт». *«Раб», «лакей», «проститутка» — гнилые слова, уж давно потерявшие смысл.* Ср. во Вступлении в поэму Маяковского «Во весь голос»: «Выплывут остатки слов таких, как „проституция“, „туберкулез“, „блокада“». *Мексиканские широкополые шляпы* и т. д. См. стих. Маяковского «Мексика». *Дни ацтеков* и т. д. См. стих. Маяковского «Тропики», «Свидетельство». *Ларедо* — город на юге США в штате Техас. *Бродвей* — центральная улица Нью-Йорка. *Да, промышленность янки наладить сумел* и т. д. См. стих. Маяковского «Кемп „Нит гедайге“». *Бруклинский мост* — мост через р. Гудзон в Нью-Йорке. См. одноименное стих. Маяковского. *Он на фордовских мощных заводах.* См. статью Маяковского «Мое открытие Америки», раздел «Детройт». *Чикагские бойни.* См. ту же статью, раздел «Чикаго». *Морганы и Дюпоны* — богатейшие капиталистические семьи в США. *Эйр-кондишен* — кондиционированный воздух. *Судья Медина* в конце 1940-х годов — верховный судья США, проводивший жестокое преследование коммунистов на основании закона о регистрации коммунистов как агентов иностранной державы. *Ведь чистку такую* и т. д. Ср. в стих. Маяковского «Христофор Колумб»: «Я б Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл — вторично».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ

Асеев Николай Николаевич

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 736 стр.
Тем. план вып. 1967, № 377

Редактор *Л. С. Гейро*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректоры *Ф. Н. Аврунина*
и *Ф. С. Флейтман*

Сдано в набор 14/VIII 1967 г. Подписано в печать 11/XI 1967 г. Бумага 84 × 108 1/32, № 1. Печ. л. 23 + 5 вкл. (39,14). Уч.-изд. л. 39,21. Тираж 40 000 экз. Зак. № 1183.
Цена 3 р. 77 к.

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение, Ленинград,
Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3

